

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: Л. П. Челнокова

3/2018

Содержание

ПРОЗА

Александр ДЕНИСЕНКО. Любить полным ответом. Рассказы.	3
Владимир КУНИЦЫН. Две женщины. Рассказы.	25
Иван ВАСИЛЬЕВ. Горчаков в городах. Рассказ.	44
Валерий ХАЙРЮЗОВ. Бараба. Повесть.	62
Сергей КУЗИЧКИН. Рая, Ада и чистильщик. Рассказ.	107
Святослав ЕГЕЛЬСКИЙ. Музыка за стеной. Рассказ.	125

ПОЭЗИЯ

Станислав ЛИВИНСКИЙ. Белый дым. Стихи.	21
Александр ИБРАГИМОВ. Одна вторая. Стихи.	35
Сагидаш ЗУЛКАРНАЕВА. Прощание с пернатыми. Стихи.	59
Красный проспект. Мартин МЕЛОДЬЕВ, Надежда ПУЗЫРЕВСКАЯ, Лариса ПОДИСТОВА. Стихи.	104

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор КОСОУРОВ. Все возвращается. Главы из книги.	130
Андрей ПОДИСТОВ, Лариса ПОДИСТОВА. Музыка и человечность. Песня жизни Алексея Бороздина.	156

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Мария КИТАЕВА. опередивший время. О двух самых известных произведениях А. Ф. Писемского.	176
---	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Тамара ДРАНИЦА. Иркутский портрет.	187
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

Александр ДЕНИСЕНКО

ЛЮБИТЬ ПОЛНЫМ ОТВЕТОМ

Р а с с к а з ы

Млекопитательница

Едва перевозка ткнулась в припаромок и приехавшие сошли на берег, из толпы вызеилась Анна Демьянова, сорвала косынку и, намотав на кулак, хряско ударила Модеста в переносье. Модест сплюнул под ноги, потянулся за упавшим картузом. Здоровенный обвисший рюкзак его, державшийся на одной ляжке, соскользнул с плеча, тяжело прянул наземь. Из-под завязки толчками потекла темная кровь.

— Вона как! — прошелестела бабка Агафья. — А рюкзаки... сухие?

— Целлофаном проложены, — пояснил участковый, терпеливо дожидаясь, пока деревенские мужики обмолят Модеста и его напарника — длинноногого жердяя, не успевшего снять рюкзак и оттого раскачивавшегося от ударов из стороны в сторону.

Наконец он замертво рухнул в береговую крапиву, придавленный коровьим мясом, озарившим сорочку большими цветами. Собаки, обнюхав забрызганную траву и землю, с виноватым наклоном головы отходили в сторону; мужики аккуратно курили, поглядывая на другой берег, вдоль которого к перевозке бежали зареченские парни с дрекольем. Тетя Клава, родная тетка Модеста, черпала калошей воду, лила на его шерстяную грудь, на размолоченный сапогами рот, из которого шла кровавая пена.

— А надо бы на вилы, — вытирая руки об штаны, рассудительно предложил колхозный моралист, моторист и милитарист Илья Мандеев. — Зло не должно торжествовать.

— А на хрена их, собственно, к нам пригнали, корову-то они завалили зареченскую — пускай их там и линчуют.

— А не в этих ли торбах Василисина телка в прошлом годе в город уехала?

— Ага. С демьяновским переярком...

— Да с коровой колхозной, с Ночкой...

— Эка вспомнил. Ее же молнией убило.

— Убить-то убило, а рядом ножичек валялся, — опять прошелестела бабка Агафья. — Аль забыли? Самую малость Илья-пророк промашку дал...

Растолкав коровокрадов, милиционеры повлекли их к клубу. На дороге в большой бесплатной пыли лежала пара крутолобых бычков, быстро и почтительно вставших и с какой-то неподвижностью во взоре рассматривавших всю кавалькаду из собак, мальчишек и остальных жителей деревни, посередь которых горбатились под тяжестью парного мяса городские добытки.

Возле клуба стоял председательский «Урал» и милицейский «газик», притартавший из района красномордого поросенка и молодую телочку, которые должны были прохрюкать приговор и вонзить рожки. Всю мелюзгу, в том числе и нас с Коляном, заворачивал с порога завклубом Терещенко — человек с большими, шелковыми глазами и в туфлях на босу ногу, пропивший в прошлом году радиолу «Родина», бархатные занавески, портреты Косыгина и Микояна и ненадеванные сарафаны из художественной самодеятельности.

— А ваша тетя Валя из сельпа с бутылкой шла, еще, поди, половина осталась, — иезуитски доложил Колька, и тотчас шелковые глаза Терещенко наполнились невыразимым страданием, кадык пришел в движение, ноги бросились из клуба, но тут же замерли перед угрюмо входящими милицейскими сапогами.

Со страху за Микояна и Косыгина Терещенко, улыбаясь половиной лица, обращенной к милиции, стал свирепо выталкивать нас из клуба. На улице, опершись на палочку, стоял участник Гражданской войны Козодоев с белогвардейского цвета козую, которым тетка Дарья Турчанинова, набирая воздуху в двухпудовую грудь, рассказывала, как Колька Воробьев, вернувшийся из пограничных родов войск и приходящийся якобы племянником ейной золовке, узрел из окна пригородной двух мужиков, таскавших в кучу валежник в глухой лесной балочке, о чем сразу же сообщил поездным милиционерам. Те, значит, к машинисту, да как выскочили на переезде, да с наганами туда, скрутили ворюг да споначалу в район, а уж оттеля к нам — показным, значит, судом судить за все злодеяния. Дарья набрала побольше воздуху и, прожигая взглядом козу и деда, свистящим шепотом сообщила, что расстрел будет производиться за клубом возле кочегарки в девять часов с завязанными платком глазами.

Мы с Коляном кинулись домой поесть и, намазав хлеба с маргарином, помчались в тальник за поджигом*. Колька так спешил, что едва успел обогнуть новую училку Амалию Григорьевну Лерман, но при этом не заметил черную кошку, бабку Волобуеву с пустыми ведрами и одноглазого чужака, шедшего от тальника к перевозке. Тотчас же за нами увязался одуревший от жары бычок с репейным чубчиком, тащившийся до самого тайника, где, к нашему ужасу, мы увидели огромную жирную свинью,

* Поджиг, поджига — самодельное огнестрельное оружие, заряжаемое через дуло.

заканчивавшую раскорчевку нашего заветного места. Бычок терпеливо ждал, пока мы отдубасим свинью, и, примкнув к ней, понесся по крапиве.

Через полчаса Колька заявил, что поджиг, скорее всего, в животе этой подлой свиньи и в любую минуту может выстрелить, но когда мы выбрались из тальника, то увидели, что свинья валяется в лопухах, а над ней стоя дремлет глупый чубчик. Подкравшись, мы начали бросать по пузу грязью и камешками, однако оно не взрывалось, и мы, согнутые горем, поплелись домой за рогатками, причем в первом же проулке я вяпался в коровью лепешку, а Колька был схвачен матерью и посажен нянчиться с сестренкой.

...Солнце уже свалилось за сельсоветский тополь. Отвязав Жучку, я пошел встречать скотину. Едва мы вышли за огороды, как появился тальниковый бычок и как ни в чем не бывало поперся за нами к бродику. Искупавшись, мы легли в траву. Сквозь побуревшие стебли тысячелистника, просевшего под тяжестью наполненного медовым светом шмеля, далеко-далеко я увидел маленького коня и маленькую телегу, на которой беззвучно вез зеленку маленький дядя Толя Шилов. Бычок закрыл глаза и стал спать, подергивая во сне ушками, а я взял соломинку и начал поднимать ему кверху белесоватые реснички, но ему было лень баловаться и он смаргивал соломинку и старательно сжимал и прижмуривал веки, пряча осоловевшие лиловые глазки. По краю поляны от реки пробирался через муравью погруженный в какие-то думы преступного вида сельсоветский кот.

Я тоже задремал и с еще теплой, чуть остывшей печки близко-близко увидел лиловые глазки мокрого, дрожащего бычка, только что принесенного батей из стайки, и фыркающего, как спички, кота Васю, с вытаращенными шарами застывшего выгнуто-вогнутое колесо перед незнакомым господином, который, покачиваясь на мягких расплзающихся копытцах, грохался об пол, запутывался в веревочке из старых чулок, но уже через минуту поддавал головой, выдувая сопли и засасывая вместе с маминой ладошкой густое молозиво; чуть погодя, оглядев всех бессмысленными правдивыми глазками, начинал прудить — ай-ай-ай! — жевать и мусолить мамин подол, а она, тревожно оглядываясь на дверь, наспех накидывала на себя шаль с фуфайкой и раз за разом выбегала из теплой кухни, куда раз за разом входил озабоченно-веселый отец со старым лоскутным одеялом, из которого торчали мокрые ножки, и опять начиналось все сначала. Едва мама переступала через порог, бычок куда-то исчезал, а на его место отец тут же приносил другого...

Потом откуда ни возьмись появилась пришедшая за парным молоком Амалия Лерман и спросила, за что я люблю Родину. Я ответил, что за то-то и за то-то. «Надо отвечать полным ответом», — сказала Лерман, и я сказал, что люблю Родину полным ответом за маму, за бабушку, за отца, за корову и за деревню. И какое это счастье — родиться в деревне. И жить в ней. И гонять телят на водопой. И пасти цыплят и кричать

на коршуна. И смотреть, как ласточка лепит гнездо под крышей, а Васьког становится на дежурство, ждет, варнак, когда малыш вывалится. И как весной коровушка наша выходит из хлева на волю и не успеет еще воздуха в ноздри набрать, а синички-веснянки уже хозяйничают у нее на спине, теребят-чешут шерстку. И как бабушка Вера вербой провожает ее на луга, где уже носятся взапуски ошалевшие от вольного воздуха молодые телята с пробитыми ушами и красными тряпочками. Бабушка строго-настрога наказывает нам с сестренкой не скакать и не бить палкой по земле, потому что она сейчас брюхата, скоро травку родит. И вот она рождается и за день поднимается до закладной жерди в прясле. И от ее густоты не видно земли. А землю эту, Амалия Григорьевна, Бог дал бесплатно, вот только покосов не дают, приходится пешкодралом за семь верст идти, на лесопосадки, змеиные полосы выкашивать и из каждых пяти копен четыре отдавать в колхоз. Ну да ничего. Бог, Амалия Григорьевна, труды любит.

«А тот, кто всюю жизнь пьет молоко от чужих коров, тот этого не разумеет, — прошелестела вдруг во сне бабка Агафья. Она строго взглянула на нас обоих, встала на колени лицом к лугу и, перекрестившись большой сыромятной рукой, ласково зашептала: — Коровушка! Матушка ты наша родимая! Кормилица ненаглядная! Мать детства нашего, Млекопитательница! Прости ты нас, голубушка, за все, дай деткам молочка!.. Вот такой тебе будет наш полный ответ, Эмалия, — сказала бабка Агафья, вставая с колен. — Приходи ко мне вечером с банкой. Пора скотину встречать...»

Тут я проснулся и увидел, что Воронок уже спустился с мостка и теперь с натугой шел в горку, таща за собой в деревню целый обоз прохладных облаков. С языка сомлевшей Жучки на траву капала светлая слюна, и она время от времени склоняла набок голову, с какой-то вопросительной и быстрой умностью обглядывая то пешеходного жучка, то божью коровку, натолкнувшихся на слюнку. Внезапно она подняла ушки, уловив в бескрайней шелестящей тишине чьи-то шаги, но вскоре дружелюбно виляла хвостом, здороваясь со штанами деда Данилы.

— Глядишь, Толян Шилов опять на коровку под задницей возов семь-восемь натаскат, да на Воронка центнеров сорок, да на остатнюю скотину... У меня допрежь две коровки было, да на Семен день, как поженился, тещь коня справного привел. На счастье семейного быта. Да все по-доброму, все умственно, с поклонами, с уздечкой через полу, как надоть. Я, значит, на коленях стою, кормлю Игренью пшеницей из рукавицы, а Арина моя у ворот тещу встречает, та ей буренушку для внучат ведет. Порядок, Саня, был. А уж на Власия все бабы, бывалоча, с утра иконы лобызают, тащат в церкву маслица первосвежайшего, выпрашивают у Власия коровьего счастья, чтобы, не приведи господи, ведьма до смерти не задоила, как у Зинки Маленковой. Опять же, соседка ваша, Ермолаиха, баба вроде с толком, да не в то место он ей втолкан: вон ее



комолая трехлетка валяется, на Егорьев день по росе шастала, ноги-то и сели, опять же, бельма пойдут. Худо, брат. Нет уж, пусть уж будет по-старинному, как мать с отцом поставили. Старики чай не меньше нашего знали. Что молчишь? Докладай, как там в томской земле жизнь идет? Пошто вернулись?

— Сбежали, дедушка. Комар заел, мошка, гнусь болотная.

— Я твоего батьку досконально знаю: годка через три опять золоту землю искать поедет. А у вас, паря, новая учителька — Эмалия Лермонтова. Мучительница младших классов. Она вышагивает, к Стаксам за молочком подалась. У их завсегда... А ты кого встречаешь?

— Коз да Беляну. Отец у Зыряновых купил.

— Да эта пеструшечная порода еще от Ехремихи идет, у ей все телки как лоскутно одеяло, — присела передохнуть бабка Дуся Лосева, идущая из забоки* с кислицей. — Здоров, что ли, мужики! Кому кости моете? Мне Васятка Усольцев, как его Марья померла, таку же пестру телку стельну продал. К брату в городище подался, в казенный дом. Их там в каждом доме по три деревни натолкано.

— Живой, нет ли?

— Живой, слава богу, как не живой? Федор-то мой надьсь его в городе встренул, неделю гужевались. Сторожем работает.

— И чего сторожит?

— Да памятник сторожит. Кирову. А в остатние дни киряет. Начинает в пятницу — белую, во субботу, значит, красную, по рубль шестьдесят две, в воскресенье — пиво по пятьдесят копеек, а утресь в понедельник газводу по три копейки. А бывает, вдруг в баню пойдет. Но ежли пива там нет, домой с сухим венником вертается. И Никишка Студабекер там же, слесарем заделался. Тоже горькую пьет. Лисандра-то его как камбала об лед бьется — и оладьев испечь, и на работу прибечь, дети как бурьян растут. А он как напьется, какие-то медали точит да сам себя награждает: «За муки», «Ветеран ЛТП», «За победу над Шуркой Липатовой»... Да еще таким же алкашам за бутылку точит. Орденоносец... А все оттого, что скотину не держат.

— Ты это брось, Евдокия! — рассвирепел вдруг дед Данила. — Я деревенских не дам паскудить. Язви вас забери, чесалки языкастые.

— А Модест?! За три года в городе злодеем стал. На живую скотинку, на кормилицу, топор поднял.

— Эт другое дело. Не садись, блондин, на ворона коня. Не по ему это дело. Вон из клуба повалили. Как думашь, на поруки или к высшей мере?

— За коровушку — к высшим меркам их всех! Да если б не коровушки, разве ж одолели бы Гитлера-паскудника? А ты, прости господи, всяку хреноту про блондинов тростишь. С души воротит...

* Забока — лесок или кустарник вдоль речки.

— Ну не дуйсь, Дусь! Я за коровушку это ворье сам бы литовкой порубил. Помню, моя Алена запряжет коровку нашу, Зорьку, в легки саночки да через бор, через переезд везет сыночка нашего с соседскими в сосновскую семилетку за четыре километра. Эх... А ты что, Евдокия, во все сине обрядилась?

— Да в забоке мушкары туча, комарья, а на синий цветочек, слышь-ка, ни одна муха не сядет. Василек всегда чист как слеза. А ну, Алексан, взгляни, не стадо ль гонют?

— Колхозное. Наше с переката тянется. Никак вас кличут, баб Дусь.

— Да это Катька Алексеева мужика своо ищет. Да здесь он, Катюха, здесь, с утра еще в конопле лежит. Утресь схлестнулся с Пронькой, тот ноне при чекушках: бык евоный у Сысоихи корову с телкой покрыв да у Дуленкиной калитки намедни землю пластал. Бык, значит, вкалывает как каторжный, а Пронька его труды на горло переводит. Седни кричит твоему: «Да ты знаешь, кто я такой? Я офицер госбезопасности! Я здесь всех давно пасу!» А твой как зачал стихи читать, да как закричит с каким-то воем в голосе, а под конец даже заплакал.

Катерина с хворостиной кинулась в коноплю:

— А ну, вставай, идол! Ты когда свое питье бросишь? Я тебя вместе с буквами твоими в печке сожгу!

— Замолчь, доярка, дочь доярки! Я есть русский поэт. Бесценный дар природы. А все русские поэты принимают. Для сообразительности. Пушкин так вообще не просыхал. Казимир Лисовский. И ихние бабы хоть бы что. Одна ты у меня такая. Задвинулась в своей молоканке на оброте. Срываешь зло на нашем брате. Пойми, что я тебе не враг. Дай на похмелие трояк.

— Всем давать — не успеешь вставать. Встречай скотину, Пушкин. Казимир. А я в бригаду, мой кумир.

— Надоть всем этим пьяницам на лоб жирный штамп ставить, заверенный собесом, и с этим штампом не пускать в сельпо. А бабам-алкашихам дополнительно ставить фингал под глазом и бить вожжами возле райкома партии.

— Задушил алкоголизм весь марксизм и ленинизм.

— Маркс сам, того... Вроде был марксистом, а писал про капитал. Это как?

— Дописались уже. Денег совсем не плотют. За проезд за лодку вздрючили, за электро три шкуры дерут. Эх, жизнь-злодейка, сплошная телогрейка, пойду немного утоплюсь аль чуть-чуть повешусь... Никак и вправду коровки наши идут, Евдокия?

Стадо уже поднялось на пригорок и, растекаясь по лугу медленной лавой, пошло к деревне навстречу встречальщикам. Поодаль от всех с хворостиной стояла Модестова тетка Клава, поджидая свою ладную, аккуратную Красулю, на ходу хватавшую луговой донник.



— В бане, что ли, она ее с мылом моет? — вздохнула Матрена Истомина.

— Черти ее по ночам моют с маргарит-травой, — прошелестела Агафья. — Знамо дело, кто в нетопленной бане среди ночи парится...

— И что за зверско существо ты воспитала? — накинулся вдруг на бабу Агафью подъехавший Проня-пастух. — Опеть твой козел над молодежью измывался, а перед обедом мне в газету катышей навалил, прям на Пленум ЦК. А в прошлый раз весь Президиум обгадил. Ну мыслимое ли дело? Ежели вдругорядь в администрации али в органах узнают...

— Плевала я на твоеную админисрацию и на твои органы. Поболе твоих видали. Нашел чем бабу пугать. Надоть скотину пасти, а не ваяться под кустом с газетками. Прохиндей...

Проня, не ожидавший такого отпора, крутанул коня и, узрев Кольку, поманул кнутом:

— Скажи батяне, чтоб чекушку готовил... А ты, Александр, беги на Гриву, мамку встречай с покоса, еле ташшится. Холмогорку вашу я сам загоню, тебе с ее ухажером не справиться, — кивнул Проня на громадного быка, неотступно следовавшего за Беляной.

— Саша, Сашенька, что ж ты детушек-то бросил? Покормил ли? — Мама сняла платок и, пока я прилаживал на плечо литовку, отерла мне пот с лица.

На лугу, куда мы спустились, прямо посреди тропинки лежал утренний береговой бычок, и когда мы обошли его по росе с двух сторон, он остался лежать, будто в лодочке, которая с каждым шагом уплывала от нас в туман.

Козы толпились у крыльца, поодаль от Беяны, которая не замычала, как обычно, и не потянулась к маме, а только болезненно переступала и оглядывалась назад, пока мама доила ее, а я заравнивал лопатой ямки у ворот.

Ночью мне приснилось, что у наших ворот бродит бычок с золотыми рогами, и когда я внезапно проснулся, в комнате было светло от молодого месяца, уставившего свои золотые рожки поверх занавески. От маминых рук пахло молоком. Кончиком платка, в котором она уснула от усталости, я вытер слезинку, стоявшую в уголке ее глаза, и едва прикоснулся к подушке, как тотчас же явился золоторогий бычок и стал канючить, чтобы я отвел его домой. Мы пошли по улице. Бабушка Васёна вынесла корочку хлеба, но взять бычка отказалась: уж больно ноги тяжелы стали, по три пуда каждая, где ж я на него, милоч, сена напасусь?.. В соседнем дворе вообще пусто: Вавила Кокорев свою буренушку за три литра самогонки продал. Чуть наискосок, в доме у Прони-пастуха, ни одного огонька: спит пастух, спит офицер госбезопасности, где рука, где нога, где буйна голова... Тишина. Слышно только, как в катухе* у Гавриила Попова секут

* Катух — хлев для мелкой скотины.

соломку овцы, да вот беда: ворота на засове... У Ефима Огнева жена в город убегла, чужие сковородки лизать, не до бычка ему... Во дворе у бабки Агафьи — корова Милка, козел Тишка, коза Марта, в доме, под угодником Николой, спит пес Ленька, а под гобеленом «Охота на олень» — котята Манька да Ванька. Перебор... У Никиты Глушакова ограда до краев заросла без животины гусиной травой, ромашкой: у меня, братцы, ни кола ни двора, ни вола, ни мила живота, ни образа, чтобы помолиться, ни хлеба, чем подавиться, ни ножа, чтоб зарезаться. Ступайте с богом... Пошли было к Терещенко, но он, извиваясь меж лунных пятен, робко и застенчиво пер из клубной кочегарки два полных ведра угля к дому Амалии Лерман. У Амалии сена совсем не оказалось, тетя Клавдия сказала, что уезжает жить в райцентр, а Колькина мать заплакала и сказала, что скоро помрет и что Кольку с сестренкой надо отправить в город к дяде Вите, а коровку она возьмет с собой в райские кущи.

Так прошли мы по всей деревне, лишь немного постояли у молоканки, прямо от которой начинается на небе Млечный Путь. В конце концов мы опять вернулись домой, и бычок улегся под навесом рядом с большой и теплой Беляной. Рожки его потухли, исчезли они и над занавеской.

...Когда я проснулся, мамы уже не было. Она ушла на покос.

«Юных надежд моих конь»

Вот и конец зиме-зимской. Весь больничный двор заполнен голубым съедобным воздухом, словно его за ночь навозил на гнедой лошадке «нехороший человек» — прозванный так старожилками палаты за нерадивость, тупость, жадность, пьянство и лицемерие молодой полутатарин, что развозит по больничным закоулкам казенные харчи и белишко. Тележка поскрипывает, постанывает, среди татарского лица блестит золотой зуб, с морды Гнедухи свисают красные куски капусты — стало быть, на первое нынче борщ. К вечеру, однако, зарядил дождь, и я, притомленный тазепамом, мягко выплыл в больничный дворик, приблизился к Гнедухе, обнял ее за шею.

— А Катя Вандакурова-то умерла, — вздохнула она. — Давай я тебя в деревню отвезу. Ребятишек поглядим: ты своих, я своих... Не поедешь, значит... Ну, так отвяжи меня, под навес пойду. Слышь, Сань, а мы б за два дня доехали...

— ...Это как ехать, — прорывается сквозь сон одышливый сосед по койке Иван Борисович, разматывая на ночь очередную дорожную историю. — У меня вот случай был: гнал машину из Москвы. Выехал на трассу, как дал «газону» за девяносто, слышу, прочихался он и попер — только пауты после дождичка от лобового отскакивают. Остановился протереть, а как в кабину залез — их там видимо-невидимо, и давай меня жрать, и, что характерно, даже запахом бензина пренебрегают. Ну, доскакал до Урала, слышу, задний мост заплакал. Что делать —



вышел на трассу, а там ведь тогда всего, что душа пожелает, валялось, не то что сейчас. И правда: цоп, бутылка при дороге торчмя стоит. Нюхнул — солярка. А, думаю, с автолом смешаю — какая-никакая, а смазка. До Омска дотяну, а там у меня родня, она меня хоть чем с ног до головы обмажет... Порядок, значит. Однако чую, километров через пятьсот начало меня клонить, а у меня закон: пятьсот прошел — остановись. Хорошо, братцы, когда чаек есть, а еще лучше кофе. Как примешь — глаза как у волка, и еще — пятьсот! А можно и чай. Чай — милое дело. Выйдешь, ревматизм разомнешь, покуришь и — за баранку. А если ничего нет, так встану среди дороги и, если уж совсем немоготу, как закричу со всей силы!

Однако, не доезжая Омска, сподобился. Зарюхался по самую ось, мать-перемать. Глядь, на мое счастье, мужик верхами с топором. Кобыла под ним пышная, не в пример нашей Гнедухе лазаретной, а сам сухонький и, что характерно, на Косыгина шибает. Нарубили осинок, подгатили, он кобылу в сторону, а сам — за задний борт. И так минут сорок. Я ему — трояк и полуботинки новые, московские... Вижу, потемнел Косыгин, обиделся, но от борта не отлипает. И что ты думаешь — выползли ведь. Это он свою фуфайку под колесо стравил. Сидит, из носа кровь каплет. Ну, прощай, говорит, и не обижайся. Кобыла-то у меня жеребая, на третьем месяце. А третий месяц у баб — самый трудный.

— Так я его знаю, — встречается дядя Паша Жуков, облитерирующий атеросклероз, — у нас в Кружилихе точь-в-точь такой экономический мужик был. И фамилия Косыгин. Ты в каком ездил-то?

— Да где-то в шестьдесят пятом.

— А, нет... Нашего-то раньше посадили. А уж лошадей любил, мать моя родная! Однажды поехали с ним в бригаду, где молодняк зимовал. Корму задали, давай вертаться. Смотрим — стая волчья. Стоят улыбаются. А мы без винтовок. Давай креститься: свят, свят — ушли. А один остался. Отощал, бока ввалились. А нам и охота подойти, и робостно. Коля сбегал в околок, вырубил жердину, и так — на буксире — на скотный двор. Ребята не верят. А председатель нам по двадцать трудодней и овцу. Да на кобеля паек добавили. И что ты думаешь? В ту же ночь они с нами поквитались: сторож был глухонемой да заснул, а они в кошаре уже штук пятьдесят положили. Кобель пробил стекло грудью и — к сторожу. Тот за топор и давай между овцами кружить. На одного петлю накинул. Потом дня три к лошадям не подходил, отмывался. А вскорости и сам заболел. Цыганкой. Кушать стал безразлично. Рассеянно. Ведро налей — ведро съест, не налей — неделю не спросит. А красивый мужик был. Георгий. Чем-то на Лукьянова похож. Лошади вокруг него так и стояли. Как бабы. На кладбище пришли, а они тут как тут, ищут его, мордами всех расталкивают...

После войны ребята, которые живые остались — а это ж считанные пальцы, — что ж они на них вытворяли! Бывало, наставят ящиков, в ко-



торых зерно возили, яруса в три и как дадут — как птички! А за ними пацаны деревенские, курвы, уцепятся, словно клещуки, и — через бричку! Да-а... Раньше, ребята, чудесные кони были, особ перед войной. Военком приедет, бывало, да еще уполномоченный Савцилло, давай шустрить, выбраковку делать фондовскую. Так дядя Ульян, председатель наш, все пути под замком держал: не дай бог увидят, что нога потерта или еще чего. А Георгий, что помер-то, страшный лошажник был. И от него жеребчик остался — рыжий впрожелть, с темным таким ремнем по хребту. Дядя Коля его в хате запирали и занавески задраивали, хотел на племя оставить, да тут кто-то донес Савцилле, Косыгина скрутили — и в бричку. Тогда Валя Бунина легла под Савциллу, чтобы дядю Колю спасти, старухи самогону поднесли с дым-травой, да просчитались: он, жеребец, еще лютее стал — вместе с дядей Колей и председателя увез на веки вечные, и жеребчика того. Так втроем и сгинули... А сколько лошадушек на войне полегло, от ран скончалось... Наш брат-то хоть застонет, голос подаст, глядишь — в лазарет, че отрежут, че пришьют, а коняге бедному — дуло в ухо, глаза в сторону — и все. И никто про них не вспомнит, ни медали тебе, ни креста, ни памятника. А какие кони были! Я об них до сих пор жалкую...

— А для меня самое страшное — это когда их по городу на машинах везут на убой, — горестно вздыхает сестра Антонина. — Что ж вы, мужики, предатели, закона не добьетесь в ЦК КПСС?

— И в ВЦСПС, — вставляет член большого отраслевого профсоюза, сердечник Венья Родионов, стараясь припарковаться к высокому переднему борту Антонины. — Ну и весна нынче, Антонина Аркадьевна! Прямо щепка на щепку лезет.

— И то правда. Самое время порты спускать. Готовьте седалища, казаки. Уколю.

— Ой, — солидно вскрикивает склонный к гиперболизации желудочник Денисьев, — опять больничий прописали. Вот бы нашенького управляющего сюда, страсть как уколы любил.

— Помер, что ли?

— Да нет. Не успел. Уснул.

— Это как?

— Он два года покрутился у нас, две машины опять же нагрузил да подался другой колхоз подымать, «Путь к социализму». А у нас был «Путь к коммунизму». А полюбовница его, Наташка Белогрудова, фельшерица, то исть не стерпела, ширк на коня, на лошадь Проживальского — а она, мужики, только в нашей деревне проживает, малюсенька така, но ходкая, — да во степи догнала дружка своего. «Уезжаете, Алексей Ильич?.. Без прощанья, без банкета, значит, а мы уже и шеи вымыли, — говорит. — Сколько сейчас время, Алексей Ильич?» — «Семнадцать пятьдесят восемь». — «Значит, через полчаса вы умрете. Я вам вчера, любовь моя, на прощание вместо витамина В6 медленный яд кураре ввела...»

— Ну ты и трепло, Денисьев! Проживальский...

— Вот крест свят! Феномен. У нас в Осокино не такое бывало. Однажды прибегает в деревню гривач, трехлетка, в носочках белых, и давай в калитку к Белобородовым тыкаться и ржать. Бабка Зина вышла и упала. На етом жеребчике ее Никита еще в Гражданскую уехал. Я сам сыздетства с лошадьми, а такого чой-то не упомяну. Теперича еще случай был: прилетает как-то с центральной усадьбы Валера Гатальский, ездил зубы пломбировать. Приезжает оттеля и всю деревню, ешкин свет, на дыбы поднял: грит, Никита Сергеевич Хрущев из Москвы в нашу деревню выехал, по горсети сказали. А у нас гроза была пожарная, столб свалило. Из города, грит, уже шляпы и костюмы на усадьбу завезли, клуб с мылом моют, с «Кармен», а бабы всю ночь пельмени лепят, да чтоб на хрущевскую голову похожи были. А у нас тут тишь болотная. У Самсонихи синяк под глазом — придется в погреб, во избежание. Неужель опозоримся?! Как давай шустрить, всю деревню взбаламутил. Я, грит, лично берусь обучить лошадь Проживальского на колени опускаться и улыбаться. И что ты думаешь — ведь точно, обучил!

— Ну трепло, ну трепло!

— А я Кузьмичу верю. Я вот в одной итальянской газете самолично читал, что один итальянец, Перуджино, в цирке на коне по канату ездил. А этот, как его... Калигула, уж на что страшный человек был, а как увидит коня, сразу смиренный становится. Одного гнедка так полюбил, что даже сделал членом сената, на собрания с ним в сенат ходил. И что характерно, оба, говорят, умерли в один день от разрыва сердца.

— Брось. Кони сердцем не болеют. Спроси хучь у доктора. Рассудите нас, Яков Моисеевич.

— У лошадей, Заварзин, вообще крайне редки сердечные расстройства... Английский врач Лейджон объясняет это следующим образом: лошади не пьют, не курят, придерживаются строго вегетарианской диеты, часто бывают на воздухе, много занимаются полезным физическим трудом. Хотят ли они быть людьми? Я сильно сомневаюсь. А вот у Хлебникова есть поэма о лечении людей глазами животных, особенно коней, которые излучают целебные токи.

— Предлагаю испытать меня на Гнедухе, — зевает Веня Родионов. — А тело потом — в банку со спиртом.

— А у нас старики рассказывали: как начали у мужиков коней отбирать, так матюхинские бабы, а у них семейство было огромное, уполномоченному все руки изгрызли, а Федор Андреевич, хозяин-то, под шумок задом-задом да во двор, к вороному, в гриву поплакал, крест ему свой повесил да в собственный колодезь-то вниз головой.

— Ну и зачем ты это рассказал? Невпопад. Ну, так как насчет Гнедухи, Яков Моисеевич?

— Завтра, Вениамин, завтра. Распрягайте, хлопцы, коней. Антонина Аркадьевна, гасите свет.

...И сразу же за стеклом, мгновенно изменившись в лице, заметалась рябина, хватаясь ветками за оконную крестовину, заструился кудрявый весенний дождь, тяжело вздыхая и всхрапывая, облитая лунным светом, помолодевшая Гнедуха вытянула шею, вглядываясь туда, где за городской заставой широкая и дружная вешняя вода уже просасывает лед, где вербы примеряют белые платья, где на пригорках уже готовы вспыхнуть голубые, лазоревые и бело-розовые цветы, торопясь на день рождения подснежника.

— Ну что же ты, выходи, — шепчет мне Гнедуха, прижавшись звездочкой к стеклу, но я, проваливаясь в тяжкую лекарственную истому, почему-то вижу бегущих по деревенской слякоти лошадей в железных туфлях, и свадебных коней с наборной шорной упряжью в четверне, летящих под смех колокольчика и еканье селезенки мимо двух слепых лошадок, которым городские парни на мотоциклах прошлогдней весной выкололи глаза, и стоящего возле них на коленях с шапкою в руках конского угодника поэта Николая Шипилова, чье большое и нежное стихотворение «Юных надежд моих конь» мужики с перекурами грузят на телегу, а затем влекут к Московскому тракту, что проходит напрямик через нашу больничную палату, которая тоже подрагивает, готовая стронуться с места, а в ней, хрипя и постанывая, разметались во сне мужики.

— Сейчас, мужики, сейчас, — шепчу я им, перетаскивая их на телегу. — Домой, мужики, домой, на родину, — шепчу я им, затягивая на своей шее хомут и подпрягаясь к Гнедухе. — Гайда, милая.

— Гайда, милый.

Не забывай былые дни

— Здравствуй, дядя Афанасий!

— Здравствуй, Саня, я тебя еще издали идентифицировал: деревенские всегда вприпрыжку с электрички бегут — в родные палестины! — и обязательно на горбу что-нибудь тащат, припасы из мегаполиса, а ты, я вижу, налегке — стало быть, ненадолго?

Он протягивает мне руку из нержавеющей стали и уважительно притискивает, проверяя мою, выражаясь его слогом, «городскую дактилоскопию».

— Лет пять, однако, не был?

— Да вот, вырвался на денек, сны замучили: каждую ночь деревенский дом снится, приволье наше. Сейчас спрыгнул с пригородной, вижу, земля уже с утра успела прихорошиться, нарумяниться... Как живете, дядя Афанасий?

— Да какая ж это жизнь, мон шер? Не жизнь, а одна сублимация. Посуди сам, писча у нас скудной стала: сельпа нет, сельмаг тоже на амбарном замке. Соскучились по селедочке, по сыру, по консервам, по початкам сладким — бананам, значит, по огненной воде — водяре, что шире Волги раньше была. Бабы скоро бунт поднимут: даже в райцентре нет ни кисеи,



ни бумазеи, ни мыла душистого, ни полотенца пушистого и, что особенно огорчительно, нет в продаже изделий № 2 — говорят, всё расхватывают шахтеры для запаковки взрывчатки. Будто лучшего резинового средства сохранить ее во влажных забоях, окромя презерватива, нет — да разве бабам это объяснишь? Им вынь да подай. Ты в городе имей в виду, приглядывайся, у нас в райцентре если и выкинут, то только в одни руки. Но нет худа без добра: бают, что отменили налог на яйца. Вот стыдобище: моя читала в газете «Труд», что нигде в мире нет такой дискриминации, чтоб с бездетных внаглую деньги драли. А сколько миллионов женщин не дождалась мужьев, женихов, а сколько еще не могут иметь детишек «по-женски», многие готовы последние деньги отдать, лишь бы родить.

— Я, дядя Афанасий, в этом не копенгаген.

— Так тебя это не коснулось. А вот мне, когда после ФЗУ пришел на заводе получать первую получку, кассирша говорит — распишись и поясняет, мол, с тебя здесь за бездетность высчитали. Я говорю, что мне всего пятнадцать лет семь месяцев, еще не целованный. А она: ничего, ширинка есть, значит, мужик...

Зато при Советах этих изделий № 2 на всех хватало. О, времечко было! Да и в деревне полегше жили, а сейчас... Уж хучь бы кто-нибудь из богатых выкупил деревню нашу из буржуазно-капиталистической системы жизни. Вот опять же, в газете писали про такую же деревеньку, принадлежавшую самому генералиссимусу Суворову, да кто-то из потомков проиграл деревню в карты вместе с бабами и мужиками, а у того, кто выиграл, брат оказался дошлый, башковитый — взял да и выкупил у брата ее, и деревенька при нем задышала, расцвела. Голова...

— У него и фамилия была — Головин.

— Вот видишь, Александр: голова Головина понимала самую головизну.

А у нас лишь городские «русачки» поддатые на машинах мотаются, так и смотрят, что спереть, стebнуть — от них один урон и на душе досада. И чего прутся? Вон прошлой осенью к бабе Васёне въехали, ты же помнишь, хата ее к комаровской дороге прямо впритык стоит. И вот под вечер возится она с чугунком у печки, и вдруг — тарарах-бабах! — в ее кухоньке появляется капот машины. Улеглась пыль, значит, городские из кабины вывалились, еле на ногах стоят: а как тут, ик, на Кузбасс... ик, проехать? Васёна, ты же знаешь, не робкого десятка, на фронте хлеб пекла солдатам, отставила ухват и отвечает: как-как, вон зал проедете, потом через спальню и напрямик!

У тех ума хватило спрятиться, а бабка — в сельсовет: холода на носу, надо залатать дыру-то, да дров — топиться, да и помыться, хотя бы на святые праздники. Баню-то общую, кагальную давно развалили. Подала заявление, ждет-пождет. И дождалась еще одной напасти: подкапывает к ее хибаре машина, молодые парни спрашивают, нужны ли старухе дрова — березовые, колотые. Васёна, значит, засуетилась, просит

у Господа Бога здоровьица председателю сельсовета, а парням предлагает по десятку яиц: уважили вы меня, а вот горькой у меня нет, извиняйте. Те говорят: кушай, бабка, свои яйца сама, оченно они для здоровья полезны, а нам гони по шесть червонцев, а нет — топись газетами. Оревуар, почтенная...

Вопрос: неужели в городе можно столько дров напилить-нарубить? Вопрос, как говорится, повис в космосе. Хорошо, еще суседи сколотились, помогли ей с дровишками, сельсовет несколько комлей крученых закинул, а зима сам знаешь какая была. Так она сдогадалась свою буренку на ночь в избу запускать — спастись от холода. Та надышит — и обемим, голубушкам, тепло. И что характерно, коровушка, умница, ведет себя в доме исключительно аккуратно, никуда не ходит, смиренно лежит посредине комнаты под абажуром, слушает радио: депутатов, Аллу Пугачеву. Но юмористов, сатириков и КВН долго не выдерживает — ее нежных лиловых глаз уже не видно: спит.

Правда, на крещенские подпростыла ее хозяйюшка Василина Васильевна, которой Георгадзе вручал в Кремле медаль за надои молока. Кашель замучил; моя смородины ей относил, малины, зверобою. Она ж теперь одна как перст. К дочке ее, Олесе сероглазой, года два назад какой-то залетный летчик прилетел, совершил, так сказать, аварийную посадку. А через годик от этого экипажа остался лишь диспетчер бабка Васёна. Как гласит глухослепонемая народная молва, отремонтированный на бесплатных харчах воздушный ас, завидев округлившийся Олеськин халат, дал по газам и растворился в бескрайних сибирских хайвеях, а за ним и Олеся подалась в город ремонтировать свою судьбу.

— Ох, дядя Афанасий, сколько мудреных слов я слышу: сублимация, идентификация...

— Это меня Дашенька, внучка моя детсадовская, младшая, натаскиват. В прошлый раз, когда родители привозили ее на кислород, говорит: «Дед Ах-Фанасий, в вашем сельпомаркете байды е?» — «Какие байды?» — «Ну эти, фенечки...» — «Э-э... э-э-э... фенечки?» — «Ну да, фенечки... е?» Тут я, Саня, подрастерялся, а она мне: «Ну есть или нет йо-йо?» Вот где, дорогой, наш великогоучий! Оказывается — шарик на резинке. Сами потом смастерили с ней. Пойдем до хаты, я свежего чайку с можжевельником заварил. Посидим покалякаем, погутарим... Сидай на лавочку ось туточки. Все давно уж повыбрасывали, а у нас с Леной рука не поднимается. Ишь как отполирована... на ней и все наши дети выросли. Недаром раньше говорили: семеро по лавкам.

— А вот передайте бабушке Васёне лекарств простудных: у меня, любителя порыбачить, пошастать по заводам, по бродам, они всегда в рюкзаке с перцовкой лежат. А еще, говорят, в древних хрониках короля Артура описан рецепт наивернейшего средства от кашля: надо выдернуть волосок из своей головы, вложить его между двумя ломтями хлеба с маслом, скормить собаке — и кашля как не бывало.



Афанасий внушительно помолчал, поглаживая выгнувшегося полуюсь у его колени мохнатого сибирского котяру.

— Эт не для Васёны, у ей ни кобеля, ни масла, а вот мой Жулька — большой любитель махорки: найдет мой окурочок — и тут же в рот. Уникум! И не кашляет.

— Да вы что? А он, случайно, у вас не пьет?

— Как не пьет? За милую душу. — Тут дядя Афанасий выразительно кашлянул, взглянул на мою сумку. — Я ему, как захворает, наливаю в ложку разведенной водки, и к утру мой Жу уже на ногах.

При слове «водка» Жюльен заметно оживился и вспрыгнул хозяину на колени.

— А на Николу че учудил: пошли мы погулять в рощу, калины мороженой захотелось да сосновых шишек для самовара набрать. Собираю в пакеты и вдруг слышу из-за сугробчика шум борьбы. И что ты думаешь — оглядываюсь и вижу, что мой Жуля тащит мне, прихрамывая, зайца! Представляешь, с прокушенной ногой все-таки задушил косога. Во сибиряк! Во добытчик! Я ему за этот трудовой и боевой подвиг всего минтая скормил, что городска сноха привозила.

— О, дядя Афанасий, за это дело надо нам премироваться и Жулю поощрить.

Я потянулся к сумке, достал водку, перцовку и продукты. Подсели к столу. По леву руку стоял комод с кружевной накидкой, с радиолой «Родина», старинным лафитником, полусъеденной солдатской ложкою, пуговицами с кителя. Вверху простенький гобелен, молодые портреты Афанасия Ильича и жены его Елены Васильевны, красавицы. Внизу домотканый коврик. В углу на подставочке Николай-угодник, Чудотворец.

Дядя Афанасий принес стаканы, капусту с морошкой, огурцы. Перехватил мой взгляд:

— Эта икона от утвари из Михайлово-Архангельской церкви осталась, где потом клуб стоял. Батюшку, отца Федора, ты, наверное, не помнишь, он и до войны, и после служил. Страшный матюгальщик был. После службы всегда зачитывал сводки Совинформбюро, а потом лично от себя крестил германцев на чем свет стоит. Бабули наши, почтенные старушки, не выдерживая, начинали пятиться к выходу. Так он, Саня, вослед, уже с паперти, оправдывался, что так им и надо, злыдням херманским, и что даже такие известные отцы, как царев духовник Феодосий Яновский, неистовый протопоп Аввакум, иеромонах Илиодор, мечтавший создать на Руси православный Ватикан, не чурались многоэтажной речи, вплоть до знаменитого «морского загиба», от которого краснели даже гренадеры. Тут отец Федор переводил дыхание и посылал вослед бабулям последнюю «многоэтажку», после которой те усердно накладывали на себя дополнительный, очищающий крест... Добрейшей души человек был и умница. Давай, дружок дорогой, помянем земляка нашего.



Дядя Афанасий рукою с сизую пороховой наколкой покрестился на Николая Чудотворца, отвесил поклон. Я тоже подошел, приложился. Рядом с солдатской ложкой лежали медали, и на одной из них я прочитал: «Господи! На тя уповахом, да не посраим земли Русской».

Хозяин пояснил:

— Дедовская, за оборону Севастополя в Крымской войне. Рисконный был... слишком рискованный. Заядлый охотник. На медведей ходил. А друзья, знаткие медвежатники, отговаривали: не ходи, Савельевич, со роковой — он роковой. Да не послушался. Медведя взял чисто, с одного выстрела. Разжег костер, стал свежевать, да споткнулся в спешке и упал прямо на нож. Не дополз до дому...

— Я про подобную историю где-то читал или слышал.

— Вот я и говорю: приметы надо соблюдать. Мы не первые землю топчем.

— А эти — ваши?

— Мои и моего дружка фронтового — ЗИСа-58. На двоих, я так считаю. Сколько раз он меня спасал-выручал! Бывало, откажет бензонасос — ставлю канистру с бензином на крышу кабины и ехаю. Кабина фанерная, немцами продырявленная, крылья деревянные, и выпускали тогда, Саша, «Захары» без переднего тормоза. Да и фару ставили только одну левую, «студебеккерскую», — но всю войну на себе дружок мой вытащил. От сейчас мы его вспомняем, Иваныч. Еленушка с утра щец изладила, аккурат под перцовую.

— А где она?

— С утра еще на край села наладилась, к подружнице своей закадычной Екатерине Серебряковой: опять схлестнулись, богомольщицы. Катька-то совсем на церкви задвинулась, коровенку и ту продала, считай, задарма. Мне, грит, без надобности: кто постится — тому скотина не нужна, нет смысла держать. Да и выгодно: ни сена косить не надо, ни чугуны ворочать. Николай-то ее, при спокойном нраве своем, и то не выдержал, сбежал.

— Куда сбежал?

— Да в погреб. Третий год уже в погребе обретается. Я тут сунулся к нему с чекушкой — так у него там чин чинарем, прямо как во фронтовой землянке: нары деревянные, керогаз, чайник облупленный, да еще похвастался, что Родька, сын, обещал из города привезти какой-то кабель со счетчиком трехфазным. А мне так кажется, что у него самого на религиозной Катькиной почве, видать, тоже что-то с фазой в голове: говорит, что фельдшер в райцентре, когда зубы дергал, будто бы сказал ему, что у него большая черепная коробка. А Колька-то в растерянность пришел: если она такая большая, то и мозгов в ней больше, чем у других, а куда их использовать, ежели он всю жизнь с трактора не слезал? До того с этими большими мозгами додумался, что за бутылкой мне и говорит: я, грит, потому в погребе сижу, что люди обречены на страдания... А еще коммунист!



— Дядя Афанасий, так ведь коммунисты-то на Руси были еще с XVII века: в Полесье, например, был храм для монахов-коммунистов, родом они из Северной Италии. Это сейчас вступают в партию, а раньше запросто записывались в орден коммунистов.

Афанасий крикнул:

— А у Кольки-то ордена фронтовые над нарами висят... Что-то водку, Иваныч, стали хуже делать: в голову не бьет, из опилок-нефти, что ли, гонят, и цвет какой-то нездоровый, бачишь? А-а, давай за коммунистов! И за деревню! Все ж таки поболее порядку было. Я и сам второй год мечтаю в деревне партию создать. Для счастливой чудесной жизни. По справедливости. И против мошенничества. Ха! Видел ты, какие хоромы на месте церкви негоциант-управленец отгрохал — будто театр светятся... Ежели надумаешь — записывайся. Будем негоциев негодных бить вожжами возле терема. А не покушайся на Божье. Без Бога в душе — уже не человек.

— А потянешь, дядя Афанасий? Все-таки ты не Ельцин, не Ленин...

Ильич задумался, опер серебряную кудрявую голову на ладонь.

— Представляешь, моя-то с Катькой, женой коммуниста, книгу пишут: «Конституция Святой Руси». Поглянь, сколько тетрадок исписали, вот поглазей. — Он протянул мне взятую с этажерки школьную тетрадку.

Я открыл наугад: страницы были расчерчены на какие-то разделы, параграфы. Под параграфом № 277 прочитал: «У нас почему в стране проституции-то не было? Потому что садили редьку, брюкву, репу, капусту да свеклу. А сейчас? У Матрены в огороде баклажаны, сельдерей, брокколи, цукини, кольраби, патиссоны, шпинаты, пастернаки, мангольды, мандельштамы, болгарский перец, которые вызывают нестерпимый аппетит, разжигают похоть и ненормальные интимно-эротические отношения между полами...»

Параграф № 278: «Каждый гражданин РСФСР имеет право сменить себе все болезненные и наглые фамилии, такие как Чахоткин, Гузеева, Малофеева, Гнилозубов, Серикова, Кункина, а также длинные отчества, как Алимпонимфродистовна...»

Параграф № 279: «Все страны мира навалились на нас со своим барахлом, как Антанта на Ленина. Ленин сам ничего не писал, некогда было, написала за него отвратительная мировая масонская Антанта: 50 томов по 500 стр. = 25000 стр. Лев Толстой писал с детства до девяноста лет, и вся семья была в писарях! И что же: в “Войне и мире” 50% — на французском несерьезном языке: ля-по-те-силь-ву-пле-тру-ля-ля... Плохо, отшень плохо, Лев Николаевич!»

— Да, Ах-Фанасий Ильич, нам тут без перцовки, точно, не обойтись.

— Вот и я тоже так думаю, а таких тетрадок штук двадцать... Давай, пока моя Жорж Санд не вернулась, тяпнем... Ля-пу-ля, тру-ля-ля...

Кот Жюльен, учуяв водочный аромат, усиленно терся о наши ноги, намекая, что он крайне недоволен тем, что его обнесли и не пригласили «на троих», однако непредсказуемую перцовку победителю косоного мы дать не решились, опасаясь, как бы он сам не закосел.

— Ух, вот эта у тебя крепкая! От это мне любо! От это ладно! — Афанасий захрумтел огурцом, задумался, потом раздвинул занавески: — Смотри, Саня, сколько звезд ясных высыпало, у вас в городе таких нет. Иди-ка сюда, видишь вон ту, отуманенную, в легком ореоле — это звезда нашей деревни, звезда Отрада. Каждую ночь выходит на дежурство, оберегает, баюкает деревню, как мама.

Он снял со стены шестиструнку, по пути погладив рукой портрет жены Елены.

— По молодости собрались мы как-то на Святки в ее просторном доме — молодежь довоенная, человек десять, целая гурьба. Ребята горячие, задорные, почти все — ворошиловские стрелки, осоавиахимовцы, влюбленные в хозяйку, в Елену. А она, легкая, быстрая как огонь, соорудила огромный ароматный пирог. Выложила на стол, оглядела всех и тихо говорит: «Когда замешивала тесто, стряпала, кольцо старинное, что дед Архип еще дарил, потеряла...» Разрезала пирог на части, перекрестилась: «Кто найдет — за того и замуж пойду». Сердце мое затрепетало, когда она косанула на меня черными глазами. Все потянулись к пирогу, а я оробел от этого взгляда, руки не слушались. И достался мне последний кусок — тот, что ближе всех ко мне лежал...

Он тронул струны:

Не забывай былые дни —
Те дни взаимности и лада
И в чарку русскую плесни
Вина луны из палисада.

Мы вспомним вновь былые дни —
Они нам помощь и услада.
Мы на земле с тобой одни,
И нам с тобой других не надо.
Мы на земле с тобой одни —
И это есть моя отрада.

На прощание он вышел проводить меня на последнюю, полночную электричку. Мы обнялись, и он снова прижал мою ладонь своей крепкой особой стариковской крепостью рукой:

— Не забывай былые дни...

Станислав ЛИВИНСКИЙ

БЕЛЫЙ ДЫМ

* * *

Человеку снится сон,
будто он уже не он.
Жуткий сон в потеках воска,
что без лошади, без войска,
с непокрытой головой
он лежит, ну как живой,
под горой у Пятигорска.

Только дырочка в груди
с аккуратными краями.
Только свет в конце пути
в свежевыкопанной яме.
Упадет на землю листик
и обнимется с травой.
Вот набросок черновой,
остальное сам домысли.

Как теряется тропа,
потакая злему року,
и брюхатая арба,
переваливаясь с боку
на бок, медленно ползет,
и перебегает кот
перед всадником дорогу.

Как прозрачна и легка
говорливая река.
И ожившие вершины
на горбах издалека
снег везут и облака.
И горяночка с кувшином
дразнит сердце казака.



* * *

Да что б ты знал о чуде Рождества,
когда бы не прабабкины слова,
пропахшие навозом и овином?²
И сколько нас, не помнящих родства,
Иванов, Александров, Валентинов!

Наш бедный мир, он так похож на хлев.
Нарежем лук, преломим черный хлеб
и рыбу, запеченную в духовке.
Друзья, прекрасен будет наш вертеп!
И спирт, как на параде, в поллитровке.

Все будет так! Все будет только так!
И мы с тобой, и в сердце кавардак,
и дым столбом, и грязная посуда.
А ночью все завалит снегом так,
что утром ахнешь: вот оно и чудо!

* * *

Жить на выезде где-то у *танка*.
Две речушки — Ташла и Мутнянка.
Кто додумался так их назвать?²
И на три, как сказали б, калеки
куча банков, сплошные аптеки,
чтоб лекарства в кредит покупать.

Развлечений — жениться, надраться
и на собственной свадьбе подраться.
Хорошо, есть еще Интернет.
Или так: попроситься к соседке
под предлогом ремонта розетки,
если дома родителей нет.

Выпадать начиная в осадок,
разменяешь и пятый десяток,
сам ходячий уже анекдот.
Здесь и там — и везде на полставки —
ожидает от жизни прибавки
и дежурный жуешь бутерброд.

Август

Воздух, с самого утра
доведенный до кипенья.
Громко выдохнешь: «Жара» —
исчезая вместе с тенью.

Высох бедный виноград
и причудливо изогнут.
Рядом тополь, как солдат,
на все пуговицы застегнут.

Обмелевшая река
и брюхатая корова.
И такие облака,
что не вымолвить ни слова.

* * *

Вполне пристойное местечко —
турецкий банк, завод и речка,
избушки только портят вид.
В одной из них окно горит.
Там обручальное колечко
старушка в рюмочке хранит.

Ее сынок, прикольный малый,
разбавив местный колорит,
нагрянул в гости к нам с Ямала.
Деньгами в городе сорит.

По кабакам да ресторанам —
за тех, чьи образы чисты,
за них, исчезнувших в тумане,
за их прекрасные черты.

Они застряли в прошлом веке
и там остались навсегда,
снимая баб на дискотеке,
срезая с вышек провода.



Я тоже, спец по небылицам,
ловил красавиц на живца
и длинный ноготь на мизинце
отращивал, как у отца.

Ножом тушенку ел из банки,
как раб, закованный в кирзу,
и под «Прощание славянки»
глотал колючую слезу.

Я тоже с юностью прощался
и бред какой-то лепетал,
но в белый дым не превращался
и никуда не улетал.



Владимир КУНИЦЫН

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

Р а с с к а з ы

Рыжая

Прибило к ней толпой, толпа — руку не вырвать! Переваливается, ползет, как нажравшийся удав. Боюсь толпы. Вроде не паникую, а психика страдает.

У нее пунцовая щека, губы откровенно пухлые.

Рыжая.

Щека фарфоровая, с туго натянутой, как у молодого яблока, кожей. Через кожу — пунцовый костер. А из-под черного берета а-ля Че Гевара — три завитых стружки волос с медово-медным отливом.

Наверное, и веснушки у нее где-нибудь на плечах. Да и на коленках. Что-то в ней узнаваемое. Память ничего не находит, а все же какой-то далекий-далекий привкус узнаваемости есть.

— А ведь вы выросли на моих глазах! — говорю в берет Че Гевары.

Маленькое ухо, как у жеребенка, стригануло туда-сюда, но глазом не повела, держит профиль строго по маршруту общего, прямо скажу — жутковатого течения куда-то. Только вот густые, слишком темные для рыжего человека ресницы, как китайский веер, делают двойной взмах — сморгнула!

— Я видел, как в два года вы пытались убить бабочку. Нечеловечески огромной книжицей Барто! Агнии. Как медным подносом. Подняли ее над головой двумя ручонками, ну чисто топор, и — а-а-ах!

Она быстро взглянула, и в зеленовато-желтых глазах ее мелькнула — ей-ей! — симпатия.

А я увидел нас со стороны. Мужик за пятьдесят с якутским гаком и девица лет двадцати — двадцати двух. Не просто девица, а рыжий пожарище, буйство красок и оттенков! Я же еще чувствую через ее плечо, уперевшееся в мое предплечье, что она не человек просто, а атомная станция: дай ей волю — осветит и согреет своей чудовищной энергией всю Россию как минимум до Урала! Вряд ли она знает об этом, а я уже догадался, потому что меня ее энергия слегка потряхивает изнутри. Вот прямо как с мороза да к раскаленной печи!

— Платъице на вас было синее в ма-а-аленький белый цветочек. Сшитое, не магазинное. Великоватое немного... Вы меня слышите?

— Слышу, — сразу отвечает она.

Грудной голос, воркующий, как у голубей, когда они вытанцовывают свое грумм-грум-грум.

«Вот!» — радуюсь я, будто руководитель космического полета, получивший подтверждение о стыковке челнока с орбитальной станцией. В том смысле, что — «есть контакт!».

Хотя... что же, не понимает она, что ли, какой я на этой орбите старожил? Еще когда отвалились от моей ракеты возносящие ступени! И что впереди? Затухающие витки по тающему кругу? Ну и, конечно, нырок в плотные слои атмосферы... если бездарно злоупотреблять космическими аналогиями.

— И еще припоминаю. Вам было пятнадцать-шестнадцать. Вы сидели в парке на скамейке. На спинке скамейки...

Пока я это выговаривал, толпа как-то внезапно иссобачилась и развернула меня к ней грудью. Теперь я нелепо двигался вперед боком, подволакивая носки ботинок. Она усмехнулась. А я сказал ей прямо в ухо:

— Вы были похожи на рюмку. Там. На скамейке. Неимоверно тонкая у вас талия. Графически — конус острием вниз, в... основание. Как вам слово?

— Какое? — голубиной, нижней октавой.

— «Основание», разумеется. Я колебался произнести, сомневался — вдруг сочтете за двусмысленность?

— Сочла, — опять усмехнулась она. И при этом интонацией дала понять, что нет, не сочла.

А между тем у меня (стыдно признаваться) в жизни был и «рюмочный период». Между вторым и третьим браком. «Рюмочный» — это когда острее реагируешь на форму, а не на содержание. От отчаяния. Все никак не удавалось мне благополучно вписаться в узел нерушимого межполового союза. И вот тогда решаешь для себя — а пусть хотя бы красивая будет, с талией, например, как рюмка!

Первый брак, как у большинства молодых идиотов, оказался «гормональным». Это значило официально овладеть женщиной и не выпустить ее из постели, пока вдруг однажды утром, глядя на нее спящую, не обнаружишь, что у нее совершенно подло, вероломно, оскорбительно и унизительно прямые, как веник, ресницы. Или еще хуже: во сне у нее не до конца смыкаются веки — и ты с содроганием впервые внимательно рассматриваешь в ночи белеющую полоску, этот выпирающий из-под век обморочный глазной белок, который тоже незряче, слепо рассматривает тебя, но не видит. Ужас!

И вот тут задаешься наконец-то серьезным вопросом: а кто эта женщина, что прямо сейчас существует во сне под твоим одеялом? И это конец «гормонального брака»! И драма. Женщины-то в отличие от нас,

идиотов, не переживают гормональный шторм щенячьего полового периода, а сразу могут полюбить, родить и, если б их воля, всю жизнь свою связать с первым — господи боже мой! — встречным-поперечным.

Драма развода и — непреклонная, незрячая жестокость. Ты бросаешь и женщину, и ребенка (если нажил), с пафосом, с «благородным» негодованием обманутого: вместо любви тебе подсунули китайскую подделку, контрафакт. Что она, сама не видела, что не тянет на твою вечную любовь? Самозванка! Прочь с глаз!

И вперед, в будущее, к подлинной великой любви! С чистой совестью, потому что любовь ведь, как говорят, искупает все и уж тем более досадные ошибки псевдолюбви. Короче, полная моральная деградация, чего лукавить.

...Ей идет этот черный берет. Он по-пацански заломлен набок, и медная стружка волос переливается на черном фоне своими живыми, без химических добавок оттенками, словно от ветра. Ее плечо упирается в мою грудь прямо у сердца.

— Вы, конечно, знаете, что у Будды было сорок зубов? И перепонки между пальцев рук и ног. Знаете?

— Не обязательно.

— Что?

— Все знать необязательно.

Усмехается. Миролюбиво. Губы как спасательный круг, полные одинаково и сверху, и снизу. Кольцо. Пухлое кольцо губ. Ну, овал. Да, овал — точнее. Ужасно красивые губы, если так можно сказать.

Ни разу не встречал рыжую женщину с тонкими губами. Все они, что ли, полногубые? Впрочем, не важно.

Толпа тащит нас вязко, всех сразу, как слипшиеся в мешке карамельки. Не понимаю, как я тут оказался? Как-то незаметно раз — и все, не вырваться. Все-таки паникую, что ли?

И она, наверное, так же влипла. Но — спокойна, хотя ведь рыжая и горячая, как, например, солнце. Как сто, тысяча солнц! Даже грудь мне жжет ее плечо. И смотреть на нее жарко, как в мартеновскую печь.

— Не страшно?

— Чего — не страшно?

— Толпы этой не боитесь?

— А чего ее бояться?

«Непуганая!» — отмечает мозг и по-товарищески вспоминает, как в девяносто третьем году бежали мы, телеработнички, в Останкино по легко простреливаемой «трубе», как называли подземный тоннель, соединяющий два корпуса по разные стороны улицы. Наверху толпа уже начала шторм технического центра АСК-3, куда я и бежал под улицей Королева из основного корпуса. Вся страна запомнила по телевизионной картинке этот техцентр: военный грузовик таранит его стеклянные двери. Тогда погиб человек — вышел из монтажной покурить, говорят, просидел все события в наушниках и — попал под шальную пулю...



— Хорошо, что не знаете.

Нас сдвигало к лестнице. Это стало понятно по тому, как рядами исчезали впереди головы, точно их срезало невидимым серпом. И меня затревожило дополнительно — к уже сформировавшимся страхам. В рюкзаке за ее спиной виднелась обложка книги. Знакомая обложка.

— Я думаю, вы Ахматову должны любить.

— Это почему? — Вот уже и живости любопытства прибавилось в ее голосе.

— А потому что:

Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.

А потому что:

Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Я почувствовал, как она будто окаменела. Толпа с опасным, угрюмым шорохом и покашливанием все ближе подползала к лестничному спуску.

Рыжая девушка подняла на меня глаза в первый раз и посмотрела прямо и внимательно. Но в глубине их зеленой золотистости промелькнула нежность.

Я, защищаясь от этого совершенно открытого взгляда, прочитал тихо еще, почти ей в ухо, сам физически ощущая, как щекочет ей ухо мой шепот:

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

— Вы знаете мои любимые стихи... — прошептала она, и я вдруг, словно проснувшись, осознал ситуацию.

А ситуация заключалась в том, что я случайно встретил женщину, которая способна внезапно влюбиться в незнакомого человека — всего за поэтическое совпадение. А сам я готов упасть к ее ногам за один только этот взгляд, в котором полыхнула прямая и благородная душа, поангельски открывающаяся на духовную близость, способная броситься ей навстречу бесстрашно!

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Я разглядывал ее ресницы, переживая молчаливое ее признание в забытом уже молодом волнении.

Молча. Она тоже молчала, но теперь нервничала, слегка прикусывала пухлую губу. Потом сказала:

— Не молчите. Скажите еще что-нибудь.

— Восемьсот пятьдесят четыре.

— Что это значит?

— Я не знаю.

Она улыбнулась. Потом засмеялась. Мне понравилось, как она смеялась.

Нас вытащило на гребень лестницы, и мы увидели, как внизу толпа начинает распадаться, крошиться и утекать в боковые русла.

Внизу нас оторвало друг от друга. Какое-то время еще нес нас поток параллельно, а затем мы оказались нос к носу и уже никто нас даже не задевал, а обтекал неопасно, будто мы были на отмели.

Она поправила рыжий локон над беретом, и на пальце ее сверкнуло обручальное кольцо. Опустила руку, я скользнул за ней взглядом и еще увидел, что ее будущему ребенку уже месяцев пять, наверное. Она своим рассеянным взглядом словно бы желала рассеять и мой изменившийся взгляд, но это стало невозможно.

Так мы молча постояли, может быть, полминуты, может, минуту даже. Однако никто из нас не смог больше ничего сказать. Просто вдруг одновременно мы протянули руки и задержали ладони вместе. Это прикосновение я никогда не назову рукопожатием. Это была нежнейшая ласка из всех, которые знала моя рука до этой встречи. Мне и сейчас становится горячо в груди, во всем теле горячо, лишь только я вспомню ее пылающую огнем ладонь...

Стыд

Долго не решался рассказать об этом. Да и случай, на первый взгляд, простой, были стыдобушки понагляднее! Но вот почему-то этот маленький стыд не уходит, подкидывается памятью столько лет, к месту и не к месту, и даже снится иногда, но как-то странно всегда улетает, как бумажный самолетик, в побочные дверки, коридорчики, щели за шкафами и растворяется в ассоциациях и вариантах, как лейтмотив в музыкальной импровизации.

А было, собственно, так. Я впервые заявился гоголем в родной Тамбов после семейного переезда в Москву, где отец пустил карьерные корни. Не тринадцатилетним щенком, каким уезжал, а матерым москалем, успевшим бурно пережить несколько премьер только что открывшегося Театра на Таганке и бешеные ажитации вокруг начальных международных кинофестивалей 1961, 1963 и 1965 годов! Событие для Москвы — сопоставимое с VI Всемирным фестивалем молодежи и студентов в 1957-м, приятно оглушившим СССР, как ласковой дубиной, — после ядерной-то зимы сталинского культа, если выражаться языком плаката!

К этому же списку выдающихся событий в моей столичной жизни стоит прибавить и то, что я впервые наблюдал салюты на Ленинских горах (ныне — опять Воробьевых), прямо от пушек, стоявших вблизи смотровой площадки. Праздничные пушки грозно рывкали в сторону Лужников, и однажды опаленная картонная полусфера от разорвавшегося над головой шара, похожая на сванскую шапочку, упала с глухим стуком на асфальт рядом с моей ногой. И я первый сцапал ее в руки! Другие зеваки, конечно, стали за нее, еще горячую, хвататься завистливыми пальцами, словно это золотой слиток удачи, шмякнувшийся с неба. Да ведь, может, так оно и было? Впрочем, меня занесло.

Итак, мама перед отъездом строго наказала навестить в Тамбове Екатерину Акимовну, передать ей подарок («вот сверток!»), а также неразглашенную денежную сумму в заклеенном почтовом конверте. Заклеенном не по причине недоверия ко мне, легкомысленному первокурснику, а поскольку «так полагается» по приличиям, принятым среди культур-мультикультурных персон.

Я и без маминых напоминаний разыскал бы свою любимую нянечку Екатерину Акимовну! Вот она и была моей личной, как у самого Пушкина, Ариной Родионовной! Потому что с младых лет, пока мама моя, учительница русского и литературы, систематически потчевала знаниями чужих детей, дабы выкормить меня, а затем еще двух моих младших братьев, — Екатерина Акимовна потчевала меня: сказками того же Пушкина, огромными книжечками с картинками, собственными правдами и выдумками, а также народными преданиями и суевериями, от которых, особенно на ночь, стыла в жилах кровь и перебегали по всему телу сладкие пупырчатые мурашки!

Я считал ее своей родной бабушкой настолько крепко, что, когда неожиданно приехала из Сибири в Тамбов папина мама, моя настоящая бабушка Пелагея Ефремовна, в девичестве Попова, а не Куницына, — я не принял ее категорически!

Настоящая бабушка Пелагея Ефремовна — высокая, статная, с прямым пробором совершенно не седых, как у Екатерины Акимовны, а темных волос, в подвязанном под твердым подбородком платке — полюбила сидеть на кухне и наблюдать за тем, как хлопчут у плиты и стола мама и моя нянечка. Сидела молча, как мне казалось — строго, я даже запомнил темно-коричневый цвет ее шерстяной кофты, черную длинную, почти до пола, юбку с глубокими по бокам таинственными карманами.

Однажды она подозвала меня к себе, долго-долго опускала руку в этот свой бесконечно глубокий карман и наконец извлекла из него желтый квадрат чайного печенья. И протянула как бы не даря, а делясь, на что я тут же отбежал за дверь. А потом осторожно выглянул в щелочку — что она делает? Не гневится ли? Однако ничего не произошло, и даже ничего не заметила мама, только Екатерина Акимовна, улыбаясь, покачала головой, но по-доброму, как все, что она делала. Я имею в виду «все» — в возможном диапазоне философического смысла.

Право, трудно сказать, за что может полюбить маленький мальчик старую чужую женщину, чтобы еще и благодарно вспоминать ее всю жизнь? Уж больно далеко они отстоят друг от друга во всех измерениях. И тем не менее факт любви налицо. И он даже теснит пресловутое предствление о «зове крови», который я совсем не ощущал в себе, исподтишка наблюдая, как молчит моя родная бабушка, в глубокой задумчивости поправляя на голове платок.

Мама, конечно, не помнила тамбовского адреса Екатерины Акимовны, как вообще не запоминала деталей, зорко при том контролируя главное движение бытия. И посему сказала: улица Кронштадтская, а адрес подскажут в церкви.

Я помнил Кронштадтскую улицу, почти что деревенскую, наверное древнюю. Я даже помнил ее еще без асфальта, в волнистых, перепутанных колеях от телег, с золотистыми островками конского навоза, с тенистыми деревьями вдоль домов, отделяющими тротуары от проезжей части, низкими деревянными домами, заборами, посеребрившими от дождей воротами, тишиной, зноем. Няня водила меня к себе один-два раза; я знал, что к ней надо спускаться по ступеням в полуподвал: там была ее маленькая, как келья, комната, и рядом, и наверху над ней жили люди, целыми семьями, а сколько — бог знает.

Но дебютный день в Тамбове пролетел в стиле миссисипского джаза! Первым, кого я увидел из окна остановившегося вагона, был друг моего тамбовского детства Вова Масеев. Он стоял, картинно опираясь на новенький мопед, и сулил этот потрясающий факт только одно: нас ждут впереди непредсказуемые приключения! Не стану тратить время на описание попутной встречи с паном Концевичем, которому я жаждал набить рожу целых пять лет — за фашистские его унижения моего детства. Я описал это раньше, в «Страшной мести Концевичу»*.

Продолжу с того момента, как мы сели на Вовин мопед, оставив вонючку Концевича на углу нашего бывшего дома, и понеслись с ветерком прямо в сосновый Пригородный лес, в пионерский лагерь, где только что закончилась смена, одни дети разъехались, а другие еще не заехали, и весь лагерь был отдан на растерзание пионервожатым, среди лучшей половины которых у Вовы были не просто знакомые девчонки, а, как он выразился еще на привокзальной площади, «роскошные белые лошадки разврата».

По прибытии на место я вдруг осознал всю фантазийную пикантность происходящего: это был тот самый пионерлагерь, где я провел однажды все лето, отбарабанил две смены подряд. Тот самый лагерь, перед которым я побрил наголо голову, а потом тайно натирал ее через день кубиком сливочного масла из столовой в тщетной надежде укрепить корни жиденьких волос. Натирал, пока кто-то наконец не выдержал и не заорал, привлекая всеобщее внимание: от кого это не пойми чем пахнет?!

К тому же это был лагерь, из которого я пытался неудачно сбежать, и еще — именно в этом лагере случилась во вторую смену самая страшная

* См. «Сибирские огни», 2017, № 1. — Прим. ред.

гроза в моей жизни: в ту грозу шаровой молнией убило девочку из соседнего отряда и притянуло, как магнитом, к железной кровати заику Павлика Нечаева. Он от страха спрятался под нее, а гроза со всей злобной дури, как адский снаряд, влетела в электрические пробки нашего корпуса! Павлика извлекли наверх — он был фиолетового цвета, ему сделали искусственное дыхание, привели нашатырем в сознание, а в помещении почему-то глобально заблагоухало протухшими яйцами.

Вот куда привез меня Вова Масеев, не подозревая плохого и надеясь только на хорошее. Пока я предавался трогательным детским воспоминаниям, он деловито доставал из мопеда упитанные бутылки с кубинским ромом и портвейном, заботливо обернутые в его синие треники, как тогда называли спортивные штаны одинакового для всех фасона и цвета. «Огнетушители», или «фугасы», как опять же в те счастливые годы ограниченного ассортимента прозывали крупную стеклотару, ходили при этом на грудничков в ожидании кормления.

Да, груба ты, жизнь, в изыскестве своем! После довольно-таки строгого перехода от просто тупых танцев к танцам «грязным», отдающим удушливым кубинским ромом, вожатые пионеров, покорно ведомые другими вожатыми, а также отборные пришлые гости разбрелись попарно по всей территории лагеря, занимая по ходу движения огромные в своей ночной пустоте палаты. По целой палате на двоих! Никогда более не пережитая роскошь спальных пространств! Я суеверно провел шаткую спутницу мимо своего бывшего корпуса, боясь смешать несовместимое.

Мы проговорили с красивой девочкой до утра, оба желая и оба боясь близости, а когда за окном, прожигая насквозь сосны, полыхнул солнечный меч и воткнулся прямо между наших постелей, мы с каким-то радостным облегчением бросились к Цне, прыгнули с песчаного косогора, затормозив пятками у самой воды, и только тут сообразили, что не в чем нам идти в воду, и принялись покатываться со смеху, как будто только этого и ждали все время — вот этого глупого смеха на берегу реки, у которой прошло наше общее с этой девочкой детство...

Масеев, встрепанный и недовольный, завел мопед, с досадой махнул рукой на мой интимный вопрос, и мы несолоно хлебавши покатали в Тамбов. Джаз волшебной от самих ожиданий ночи отлетал назад, путался в клубах густой черноземной пыли, его относил к реке, и река подхватила его угасающие такты и спрятала их навсегда. Для себя, а может, и для Миссисипи — кто знает эти реки?

Мы заехали на Кронштадтскую улицу со стороны Базарной, так, как я впервые с няней сюда и пришел в глубоком детстве. Мне казалось, что я вспомню дом сам. Но не тут-то было: улица пряталась сама в себе, пряталась хитренькой похожестью домов. И мы проехали ее всю, прямо к Покровскому собору на Кронштадтской площади. Он как бы венчал улицу, но и город тоже: собор стоял на высоком берегу и был далеко виден тем, кто подъезжал к Тамбову с юго-западной стороны. Это был

единственный на весь город храм, возобновивший постоянное служение с 1943 года. Именно здесь собиралась крестить меня Екатерина Акимовна в 1953 году, тогда же появился на свет средний брат Михаил, и нянечка уговаривала маму крестить сразу обоих, но маму остановил страх погубить карьеру партийного отца.

В Покровском соборе, куда я зашел один, стоял полуденный тихий сумрак; первая же женщина радостно поняла, о ком я спрашиваю, и не просто назвала адрес, а вызвалась проводить нас до дома Екатерины Акимовны. Из ее рассказа по дороге я узнал, что милая моя бабушка совсем слепа, едва слышит. Что в церковь ее на службу сопровождают специально, что она тут, в храме, опекаема самим батюшкой и что люди многие ее чтут как почти что святую — за духовную радость от общения с ней.

Я спустился в прохладу полуподвала и безошибочно угадал, где ее дверь. Дверь отворилась, нянечка стояла передо мной, маленькая, совершенно белая, и было сразу понятно, что она не видит меня, — но лицо ее мало изменилось для меня. Я и раньше видел в нем только ее доброту. Она и сейчас, не поняв еще, кто пришел, всем обликом выражала доброжелательный интерес и приветливость. Я назвал ее. Она всплеснула руками, вся озарилась, протянула вперед руки, я подставил ей лицо, голову, и она с такою радостью стала меня оглаживать, причитая: «Вовочка! Вовочка! Вовочка!», что я чуть не расплакался, как в младенчестве, совершенно сокрушенный ее ничуть не ослабевшей ко мне любовью.

В крошечной комнате было идеально чисто и опрятно. Сказывалась опека батюшки. Стояла аккуратно застеленная кровать, маленький стол под светлой скатертью и вещевой комод с иконами на нем и лампадкой — что еще требуется для приготовления себя к вечной жизни?

На все это в окошко рассеянно смотрел день. Окно было вровень с тротуаром, и в него могла заглянуть путешествующая по улице собака, гуляющая кошка, мог еще заглянуть любопытный ребенок. Взрослому человеку окно было неинтересно, потому что пришлось бы вставать на колени, чтобы разглядеть того, кто живет тут, почти под землей. Сам я видел отсюда, из подвального окна, половину колеса масеевского мопеда, прислоненного к стене дома, шатающиеся туда-сюда его бордовые китайские кеды с белыми резиновыми кружочками по бокам.

Няня стояла передо мной, смотрела поверх невидящими, дымчатыми глазами. Маленькая, с какой-то удивительно светлой от седины головой. Спрашивала и спрашивала обо всем, а когда речь зашла о младших братьях, протянула к моей голове руку, погладила ее и сказала: «У тебя самые мягкие волосы, Вовочка. Я всех помню!»

Потом няня начала рассказывать о своей жизни, о церковных заботах, подробно, обстоятельно... А я начал думать о том, что уже злится Масеев за окном — давно заметил, как нетерпеливо дрыгал Вова ногой и даже пытался пнуть колесо мопеда. Да и самому мне, что скрывать, как-то заскучалось от бабушкиных, таких далеких от меня новостей. Ма-

сеев по дороге предложил заехать в баню, и я сейчас вспомнил об этом и затамился еще сильнее.

Сообразив, что нянечка не видит меня, я осторожненько встал со стула, ловко обошел ее, продолжающую говорить так же, как до того. На цыпочках сделал два шага к окну и посмотрел в него вверх, на улицу, как в перископ подводной лодки — тут же за стеклом возникло неестественно большое, гримасничающее лицо Вовы, который чиркнул ладонью себя по горлу и закатил глаза, изображая святого Себастьяна.

От неожиданности я отпрянул и оглянулся: няня стояла спиной ко мне, на том же месте, что-то говорила моему пустому стулу. На какую-то долю секунды это даже показалось смешным. На сотую секунды мне это было все же смешно, да, я это точно помню! Но следом меня сразу же словно обварило, окатило кипятком! Будто сам Георгий проткнул сердце раскаленным добела копьем, проткнул, как последнего гнусного змия! Еще и провернул копье!

Какой стыд испытал я тогда, когда увидел всю эту картину со стороны!

Обмирая и не дыша, пробрался я мимо слепой нянечки обратно на позорный стул и с облегчением возликовал, что бабушка — слава богу! — не заметила моего отсутствия. Наверное, по этой причине, что не заметила она ничего, как-то быстро испарился и мой стыд. Мы еще не доехали с Масеевым до бани, как он испарился совсем. Так мне казалось тогда.

И вот однажды, спустя много лет, он вернулся. Я думаю, вернулся во многом из-за «картинки». Не всякий же стыд может похвастаться такой яркой, образной, завершенной по смыслу картинкой. И этот, в общем-то, маленький стыд стал вновь себя предъявлять, когда и бабушки давно уже нет на свете, и сам я оброс таким количеством более свежих и увесистых стыдоб, что даже удивительны его претензии на исключительность!

Но я вижу опять — этот пустой стул и согбенную над ним, как вопрос без ответа, спину моей любимой нянечки. Вижу всегда так, как было — от окна.

Она потеряла мужа в Гражданскую, потеряла своего штабс-капитана Сычева почти сразу после свадьбы, красивого и навсегда молодого офицера, белую дворянскую русскую косточку. И не искала другого. Никогда. Бежала еще в двадцатом из Саратова в Тамбов, прячась от классово-справедливости «товарищей», далеко не всех пускающих в земной коммунистический рай. Его фотокарточку она и показала мне как главную тайну своей жизни! И не буду лукавить — смутила мое советское сознание.

Вероятно, я усложняю задним числом смысл моего маленького и надоедливового стыда. Но что с этим поделать? Вина растет вместе с душой.

Что-то дорогое она говорила тогда, сокровенное для себя. Может, хотела, чтоб я запомнил и понял что-то важное. А я — проморгал, пропустил ее последние слова, обращенные ко мне, мальчику, которого она любила.

Александр ИБРАГИМОВ

ОДНА ВТОРАЯ

* * *

Октябрь... Как в гулкую раму,
Поставлен с утра небосклон.
Так тихо... как будто по храму
Проходит душа босиком.

И лишь у реки... за холмами,
Будто в иную страну,
Три мужика ломами
Проламывают тишину...

Завещание

Ни звезды, ни креста
надо мной... — ничего.
Ржавой тенью куста
Лишь придавит плечо.

Коршун выпьет мой глаз...
карий радостный мой,
Тот, которым я вас
Узнавал, звал домой.

Взвой, ночное зверье,
рви меня на куски.
Тело телу вернет
Вой всевышней тоски.



Пусть медведь выест пах...
и, свернувшись в прыжок,
Пусть мне выпустит страх
Рысь из вещей кишок.

А затем муравьи
защекочут меня —
Приготовят мои
Кости... вновь для огня.

И дожди прорастут
сквозь меня... и трава
Алой зеленью вдруг
Вам предъявит права.

Копошится росой
вечной пашни ломоть.
Утром мальчик босой
Разомнет мою плоть.

И лепить без молитв
меня будут затем,
Яблоко разломив
Сладко сжатых колен...

Будет тело стонать,
как прикажет рука,
Чтобы мастер мог мять
От ступни до соска.

И, повернутый лбом
к свету из борозды,
Я увижу мой Дом
Возле Отчей звезды...

Смотрю из окна и вспоминаю Хокусая

Майский снег
осыпался вчера и розовеет сегодня
на шиферном склоне крыши
и твоей — сердечком — ладошке.
Это на Фудзи цветущие вишни.
И милость Господня —
всеинеизбывна, как на столе моем
хлебные крошки.

Поэтам-эмигрантам

Ничего никому не докажешь.
Ничего. Никому.
Слово выдохнешь, но не доскажешь —
Сгинешь где-то в Крыму.

Или вышвырнет до Стамбула,
Аж под самый Париж.
То ли это судьба подмигнула —
Промелькнула, как стриж.

Не ухватишь пальцами воздух
Шелестящих страниц.
И запнулся мальчиший возглас —
Мой наивный крик-блиц.

Ничего никому не ответишь.
И при чем здесь ответ?
Просто дверь приоткроешь — приветишь
Зимний
луч напросвет.

Георгию Иванову

Гляжу из бора на закат,
Как ты из-за границы, брат,

На петербургские дома,
От желтизны сходя с ума,

Сквозь ветви жгучие, как смоль,
Уже прозрачней стала боль

И призрачней миробоязнь —
За казнь розовеет казнь.

И все темнее древний бор,
Откуда мы глядим в упор

Сквозь розовеющую мглу
На ленинградскую иглу

И на кораблик золотой,
Пронзенный царскою тоской,





Сквозь строки невозможных лет,
Которых не было и нет,

Сквозь землянику нищих строк,
Земной обозначая срок.

* * *

Голубой катафалк осени...
Наверное, так начинается это —
Зеленый кузнечик распят на укосине
Последними лучами света.

Дочка моя принесла молоток,
Колючие гвозди, сжав в ладошке.
Змеиным язычком прошипел цветок
И уполз по дорожке...

Юная мама рядом смеялась.
Сквозь деревья катафалк голубел.
Может быть, это мне показалось:
Кто-то сверху на нас глядел...

Капля крови стекла по мизинцу
И божьей коровкой улетела вверх.
И я, привыкая к вашим гостинцам,
Понимал и прощал всех.

* * *

Фазилю Искандеру

Как будто прозрачным железом
Облиты деревья... Снега
Отметят изодранным срезом
Пустынные берега.
И замерло ржавое стадо
У кузницы... Чудится звон.
В щетине колхозного сада
Разбросаны комья ворон.
И дальше... — сверкнувшие мощи
Проселка уводят вдоль скирд.
И воздух, твердеющий к ночи,
Корундовым кругом блестит.

* * *

Когда Александр Блок узнал, что погиб «Титаник»,
Он просто отодвинул пустой стакан,
Встал, поднял серебряный подстаканник
И произнес: «Есть еще Океан...»

* * *

На твоих коленях огонь...
Это просто рыжая кошка.
Положи на нее ладонь
И вот так посиди немножко.

От крыльца по снегу ведет
Неизвестно куда тропинка,
Да на изгороди живет
Кверху дном забытая крынка.

А под нею замерзший куст,
И калитка кого-то кличет...
Ты в окошко смотри... и пусть
На коленях огонь мурлычет.

Древня

Вселенной пеной не спеша
Взбухало облако... Древня,
Как чья-то древняя душа,
В подушку собрала поверья
Щепотками немых старух...
И, как из подпола, по небу
Бульжный прокатился стук.
И муха проползла по хлебу
Зеленая... И снова тишь...
И кто-то пальцами по крыше
Забарабанил. В сенцах мышь
Таилась тише серой мыши.
И ослепительным бичом
Над Томью щелкнуло... Телега,
Загромыхав над кедрачом,
Рассыпала орешки снега...



И солнце... Кони на лугу
Сверкнули крыльями! Ребята
Молчали, скрючившись, в стогу,
Старинным ужасом объаты.
Была суббота... Из избы
Шли бабы с ведрами до бани.
И старики у городьбы
Трясли козлиными словами...

* * *

Прозрачной каплей паучок
по камню скатится... Тревога
охватит лес. Глядит сучок,
как человеческий глаз, на Бога.
И капли крови на кустах
шиповника... Песчаный запах.
И, как в разобранных часах,
кузнечик зябко тикал в травах.

* * *

«Слишком быстро время струится,
Чтоб искать и терять...»
На ладошке прозрачная птица
Хочет звездочку расклевать.
И струятся деревья к небу,
И листва струится к земле,
Наши руки струятся к хлебу,
Переломленному на столе...
Из царапины кровь струится.
Поцелую ранку твою
Тихо-тихо... чтоб эта птица
Нам допела песню свою.

Из поэмы «Одна вторая»

...И домик крошечным кузнечиком
На косогоре зеленел —
О чем-то добром и извечном
В запечной тишине звенел.

И догорала темнота,
И лезло солнце в щели ставень.
Со стен смотрели Ленин-Сталин
И фотография Христа.

И было просто... страшно просто,
Как будто кто-то просто был,
И сеял просо, и просил
Не задавать ему вопросы...

Лучился в доме полумрак,
И вспыхивали пылинки...
Но как Иисус на фотоснимке
Мог оказаться?... как же так?

Старуха звякнула ведром,
И мы услышали с Галиной
Над затаившейся долиной
Густой и августовский гром.

Вот-вот — и грянет сенокос.
В три пальца просвистит, проказник:
Призыв на беспощадный праздник —
И все придут... — вот в чем вопрос.

И все с собою принесут
Смертельно взвихренные косы.
И мы идем — простоволосы —
С повесткою на Страшный суд!

И деревенская старуха —
Рябая, точно от гвоздей,
Сквозит созвездием костей
И поххатывает глухо.





Она та самая... она
На боевой сенокосилке...
И сталинградские опилки
Покорно заметет страна.

И однокрылый дух вражды,
И одноглазый выдох злобы
Взывают из ее утробы,
И скалятся в ответ вожди.

Ахилл, Тимур и Ганнибал,
Наш Святослав и вечный Цезарь...
И каждый рвал врага и резал
И ничего не понимал.

Взрывался в каждом вражий дух
И убивал себя друг в друге.
И боевые буги-вуги
С культяшкой выплясал пастух...

И над Мамаевым курганом
Свингующий взлетает визг!
Сверкают косы вверх и вниз,
И лезвия гудят Ураном...

Разверст до звезд военкомат —
Как местный раструб мясорубки...
Чтобы мальчишечьи обрубки
Ползли-червились на закат...

Единой бритвой правят нас:
Со мной Сережа, Миша, Саша —
Вся школьная поляна наша
Цветущая... — и без прикрас.

Тысячелистник, зверобой,
Ромашки и белоголовник...
Прихрамывающий подполковник
Нас поведет в последний бой!

И мы встаем в единый ряд
Перед безвинною травой...
Вслед за старухой рябою
Войдем в пронзительный обряд!

Старуха мастерит из нас
Космический гробоугольник,
Чтоб трепетал пырей и донник
И наш еще июньский класс...

Сверкнули вожжи для вождей
И хладнокровных полководцев,
Но не напиться из колодцев
С кровоподтеками дождей...

И мы сверкаем в лютой пляске,
В едином выдохе: за Ро...
В Берлине выпало зеро —
Зеро сверкнуло на Аляске...

И Журавлинские откосы
Дрожали в мареве реки.
И старики-фронтовики
К атаке отбивали косы...

Мы отдыхали среди них.
И замирали, повторяя:
Любовь всегда — одна вторая.
Одна — на всех и на двоих...

И на любви, как на войне.
Мы целовались, умирая,
Пытаясь добежать до края,
Ступни кровавая по стерне...



Иван ВАСИЛЬЕВ

ГОРЧАКОВ В ГОРОДАХ

Р а с с к а з

1.

В родной город Горчаков прибыл без пяти полночь и сразу попал в такси, а потом его долго и некрасиво уговаривали выпить водки, потом он выпил и все они, собравшиеся вокруг стола: бывший чекист, преподаватель по классу балалайки, пара бизнесменов, один из которых поэт-самоучка, тренер по фитнесу, риелтор-газетчик и еще несколько неопределенных личностей — все они думали, что теперь из уважения к ним он обязан сразу запьянеть и начать браться, а он все не пьянел и смотрел на собравшихся настырно, ему было скучно, он отвернулся в длинный профиль.

Пили в большом доме о двух этажах, но наверх не лезли, чтобы спьяну не повыбивать балясин, как кегли, и не переломать косолапых ног.

Лысоголовый Гаврюша, горчаковский проводник с бородатой грудью нараспашку, пил вдогонку за уже порядочно захмелевшими собратями, да так сладко, будто малиновый сок. Остальные уже доходили до того, что заговаривались: слова звучали несинхронно движению губ. Один из них, поэт, проглотив бесчувственную стопку, выводил в коридор каждый раз нового человека — изливать душу. И, судя по обилию выводов, души в нем налито было много, настоящий паводок души, и он старался, чтобы Горчаков обязательно вынес из этих душещипательных душеизлияний хотя бы кружечку или мисочку, чтобы где-нибудь когда-нибудь упомянул эту речь о пролитой душе. Из нее получалось, что владелец этой души то меркантильный, то честный, то непростой, то открытый, то... — и каждый раз он демонстративно выворачивал наизнанку очередной карманчик своей души, высывая из него напоказ какую-нибудь крошечку, выражавшую щепоть упомянутого им достоинства, а если и недостатка, то все равно как бы благородного.

Когда Горчаков вернулся из этой «душевой», большой розовый мужик, учитель-балалаечник, по пояс голый и по уши пьяный, рассказывал политический анекдот, изображая его в лицах:



— А давайте простим Сидоркова!

— Как — простим?! Он же государственный преступник!

— Ну и что?

— А что люди скажут?

— Какие люди?

— Ну, народ...

— А... ну, скажут... это... Закон что дышло: куда повернешь — туда и вышло.

— Ха-ха-ха...

По контрасту с этим через несколько минут началось настроение «хочется поговорить с березками», когда десятерых полусонных мужиков бессознательно потянуло друг к другу: облапив соседские плечи, они затягивали и обрывали песню, ибо настоящая национальная принадлежность по крови вылавливается именно на песне. И Горчаков тоже подтянул мужикам, как это было однажды в студенчестве, когда запели «Баньку» Высоцкого и он, хоть и не был так пьян, как сейчас, все равно заплакал, будто песня от начала до конца была про него, мальчика из хорошей семьи, студента философского факультета, а не ээка времен культа личности, о котором пелось в пьяной песне и к которому он испытывал привязанность и генетическое чувство вины.

...Горчаков вышел из гостей под утро и, шатаясь, побрел через угрюмый, сырой город пешком. К домам примешивалась тишина, подсохшая в тошнотворный салатный сумерк. На мягких шинах пробежал автомобиль. Звонким, скачущим обиженным дискантом без эха во дворе залаяла собака.

2.

Радиоточка из соседнего двора разбудила Горчакова позывными «Маяка», вслед за которыми и начался новый день: голоса во дворе; где-то на окраине мира осатанелой струной завелся мотор пыли; потом небрежное и частое, как шлепанцы по пяткам, хлопанье дверей; потом, ближе — воробьи, тонкие, царапающие проводки их возни на крыше; и вот он сам — лежит и дышит, и кровать жестко *поскрыпывает* под ним в левом нижнем углу, словно его дыхание входит и выходит, как через калитку, через этот уголок.

Горчаков сел и почувствовал грубоватое свежее белье на себе и на кровати, запах замятой чистой ткани, на вкус чуть горьковатый от холостяцкого одиночества. Он вышел под ведро ледяной воды из колонки, обтерся подготовленным суровым полотенцем и, оседлав скрипучий старый, с козлиной дрожью, велосипед, натоцк выехал из общего двора.

Горчаков проехал, на ходу выпрямляя руль, сбоку пятиэтажек, мимо пожарной части с остатками каланчи, проехал через двор, где уживались церковь и начальная школа, затем там, где обломился асфальт, его понесло

под уклон к реке, и железный лошак под ним зашатался, но выдюжил и передней шиной пошел жевать песок колес.

Родные, постаревшие, застиранные дождями и засушенные до морщин, заполосканные небом до пресного цвета обноски и пеленки — вот так ему виделись переулки и домики детства, развешанные на бельевых веревках памяти. Он вспомнил, как из горьких стручков акации, отплевываясь, вырезал зубами свистульку. Вот здесь его встречал молчаливый садист классом старше с красивыми голубыми глазами: поймав после уроков и зажав голову между ног, тот постоянно его избивал. А первоклассник, вырвавшись, все не мог уйти и зачарованно смотрел и смотрел в васильковые глаза василиска.

Там, на перекрестке, который отсюда не был виден, но нащупывался всей логикой его памяти, стоял давний знакомец, которого он посвящал в свои пятилетние загадки, когда мама вела его за руку из детского сада и они вместе отстаивали положенные две минутки, — а он загадывал: на какой счет тот мигнет зеленым: на «раз» или «два»? Все тот же самый Светофор Светофорыч. И если он заберется переулком выше, а потом втиснется в узкий просевший тротуар, то увидит уходящие в землю окна детсадовской нянечки, с которой они всегда здоровались, когда отец вез его на багажнике велосипеда.

Горчаков с разбегу окунулся в реку, слился с ее прохладным телом, на мгновение оглох и ослеп и вынырнул, оставив позади отрывок Вселенной, который никогда не сможет процитировать. На другом берегу испуганно затаились разбуженные кувшинки.

По канту трав за перевернутой головой Горчакова сокращался электрическим замыканием стрекот кузнечика. Матовая облачность уравнивала положение дня в некоторый час. Было так: посреди трав плыло большое облако; секунды расщеплялись на миллионы соринки, дрожали в кузнечиковом треске; плыло крупное облако; Горчаков закрыл глаза, уснул, пробудился, ничего не помнил; память снова, как утром, через слух входила в него — его собственное существование и звуки всего мира: тот же самый треск, и душистый зной, и то же облако — почти там же, не шелохнулось.

...Вечером к Горчакову пришел Гаврюша, подвыпивший, и стал укорять его за неприветливое поведение на вчерашней пьянке. В ложбинке под носом у Гаврюши скопился потный конденсат, а на лысом глобусе головы сидел комар, который, подумал Горчаков, может быть, чуть больше реального мозга Гаврюши. Вот он сидит, этот комар, как полновластный, воткнувшийся в голову транзистор, и управляет волей и мыслями этого большого человека. Гаврюша пенял, что, мол, перед тобой вчера собрался местный истеблишмент, равноапостольные отцы города, а ты так некультурно себя вел, почти не пил и молчал (хотя, прощаясь, Горчаков вдогонку слышал не трепетные диалоги об искусстве, а взапуски рыгавшие от перепоя пасти). Горчаков положил Гаврюше в ладонь мятую сотню и сказал прийти завтра.

3.

Город был двухэтажный. Под лестницей Горчаков нашел кладовку с грубыми самоделками из крупно ошкуренной глины — полузаброшенный переулок над взрезанным поролоном оврага. За ним — влажный, мусорный яр, покрытый стекляшками, трупной тканью тряпья, краеведческим эндемиком местной газеты, обернувшей полки; матовый фарфор столетней просфоры. На кухне, совпавшей с рядами рыночных прилавков, он выгреб из шкафчиков до десяти ведер воспоминаний — где и что происходило в разное время.

Вот здесь был магазин «Соки-воды», памятный тем, что в нем в его детстве продавали мороженое, а напитки разливали из похожего на стеклянный элеватор перевернутого конуса; рядом стоял тир, и здесь он впервые в своей жизни, пяти лет, совершил покупку.

Горчаков брал складной стульчик и бродил по городку. Если ему что-то нравилось, то он раскладывался, удобно усаживался и смотрел на дома, перспективу улицы, на пейзаж облаков, выехавшую из-за угла машину; потом вставал, схлопывал стул и шел дальше. И так целый день.

4.

Квартирная карьера Горчакова скатывалась под пригорок, начавшись десять лет назад в столице, в однокомнатной, взятой в ипотеку. У него был автомобиль, нестабильная офисная работа и стабильная домашняя жена. Будучи менеджером разговорного жанра, имея подвижный, ерзающий характер, он прыгал из офиса в офис, ожидал, вот-вот — и следующее место окажется более гостеприимным или прибыльным или начнется что-то новое и вся его будущая веселая жизнь наладится сама собой. Каждый раз это «или-или» растягивалось на полгода-год, лопалось внезапным срывом: он уходил «по собственному», сбегал под откос куда-нибудь в провинцию, к старой деревенской родне, и надолго замолкал. Рыба в пруду, которую он ловил и жарил, сообщала ему исконное молчание, в ее вкусе была терпеливая травяная тишина осоки и лунно-белладонный аромат. Потом он возвращался, восстанавливаясь в разговорном жанре, в квартире, в жене. Однажды, когда был пойман особенно ядовитый и молчаливый карась, Горчаков среди ночи позвонил ей и молчал, молчал в трубку, пока не покатались короткие гудки.

Ему удалось неплохо разменяться и приобрести комнату, как он давно хотел, в центре, в маленькой, очень тихой коммуналке на Чистых прудах. Один сосед обычно уже с утра не вязал лыка, другой был сорокалетний академический тихоня, работавший в Акустическом институте. По вечерам тот у себя в комнатке приглаживал ровную звуковую волну радиоприемника, шипение мирового эфира, — и диванная тишина постепенно вытягивалась в форточку и проникала в город, который медленно



и благодарно, словно больной, которому сделали укол обезболивающего, затихал вслед за этим. Горчаков лежал навзничь на надувном матрасе без подушки и, как ему казалось, минерализировался в порядочного бездельника. Ничто в тишине не сообщало ему, чем бы он мог заняться в жизни.

За три года Горчаков сменил семь мест проживания. Ему нравилось срываться, сбегать, бросать якорь посреди недели в нетопленном ночном городе, покупать новое жилье, где еще не выветрился запах духмяной изнанки чужой жизни, где тени на кухне ложились по памяти, независимо от новой обстановки, где старые вещи еще не успели заметить подмену и поэтому считали его пока своим, добродушно близорукие, ластившиеся под ладонь, бедро, спину. А ему нравилось: чужая походка, которой он уходил с утра; новая незамысловатая работа; аллея, в которой распивали вечерами пиво; холодная майская новизна улицы, которой ему хватит еще на некоторое время. Здесь он становился самим собой, то есть незнакомцем. Это было повторение детского ощущения первооткрытия, когда он узнавал про себя и про мир нечто чужое, абсолютно новое, не равное ничему предыдущему: ужас перед миром и самим собой. Для его психологии это было самым питательным кормом, какой-то *бытийственной похотью*, от которой он увеличивался, свободонравно распаялся и обалдевал.

Потом вещи замечали подмену — что их используют, заимствуют для чужой жизни, — и начинали мстить, становились неудобными, неласковыми, угловатыми. Горчаков ронял вилку, цеплялся за притолоку в прихожей, стучался, протискивался. Терял ночной покой. Ворочался. Не мог уснуть до бледных утренних облаков. Вещи — тупые, меццанские, недоброжелательные — прогоняли его на работу, на выходные, на поезда в новые города, в места такие разреженные, вакуумные, словно его засасывало в них — бежать, обживаться и снова бежать.

Однажды в марте он уже несколько дней жил в интригующе прохладной гостинице. Деревянный одноэтажный городок, застывший в полусне поздних советских десятилетий, со следами дореволюционного купеческого прошлого. В центре драмтеатр с коринфскими колоннами. Новодел налоговой — новорусский кирпичный теремок девяностых, притершийся к бетонной горадминистрации с узкими окнами на мусорные задворки. На рынке местная разновидность прилавков без навеса — как бы ларьки-кабриолеты. Жители, по которым проходит граница между городом и деревней. Все очень совпадает с собирательным представлением об идеальном, «платоновском» Урюпинске.

Были те же низкорослые домишки, то же беззастенчивое обращение на «ты», та же тоска, когда хочешь найти в этом навечно знакомом месте радостно узнанное незнакомство, а натыкаешься на ужас дежавю. Но только в этот раз было повторение другого рода: это был его родной город, город детства, нестриженой юности, любовного бескорыстия и безвозмездности, влюбленного бессребреничества.

Он подошел к школе — и узнал ее, к местам первых детских прогулок — и в них была большая копия его воспоминаний, к тысячам других знакомых — они как будто состарились, пока стояли в очереди к вечерней вечности, и теперь, прервав разговор, обернулись на него и не узнали, не расступились, чтобы дать ему прежнее, наследуемое им место. Вы за кем были? Вас тут не стояло!

Переулки. Дома. Телевышка. Непросыхающая лужа в дорожной выбоине, сотворенная сразу неизменной, как мы видим Джоконду, не предполагая, что у нее было детство. В щенячестве он измерял глубину этой лужи сапогом. Вот раздвоенное дерево возле магазина. Электрическая подстанция из кирпича, возле которой, возвращаясь из школы, всегда прощались.

И тогда с поразительной ясностью в какую-то трещину прозрения, порвавшуюся внутри него, пришел чужой голос и сказал: «Что-де ты, Горчаков, бежишь по кругу? Зачем ищешь новое среди старого?» Неужели его могли так обмануть? Неужели он настолько потерялся, что уже не ориентируется в своей жизни и памяти? Конечно, это был чужой город, мастерски смонтированный из его воспоминаний и ложного дежавю посреди настоящей чужой обыденности.

Воспоминания, которые он считал незыблемыми, чем-то вроде коллекции бюстов, расставленных в краеведческом музее в порядке династического старшинства, оказались театром восковых фигур, оплавленных и наскоро перелепленных варварской рукой. Все еще переезжая между городками, он стал чаще задумываться, где бы окончательно осесть, подобно тому, как пыль, соблазненная заморским ветром, сначала носится в воздухе, а потом постепенно оседает на свое старое место.

Маятниковая цикличность жизни, солнце и луна, рассуждал он, в очередной раз пересекая мост над Волгой, — это как два полюса коромысла, на котором несут ведра с молоком, а в молоке увязло время, сбилось в масляный ком прошлого, и теперь в самый раз остановиться, пока не поздно. Пока масло не скисло, его надо мазать на морщинистую, просохшую одиночеством горбушку мужской жизни.

Гаврюшу Горчаков воспринимал как проводника в свою окончательную жизнь, проводника к себе домой. Вергилий-Гаврилий, здоровенный, наполовину спившийся дворник, безвозрастный дитя-отщепенец преподавателей местного вуза, специалистов по Данте, свел его с продавцом дома на окраине — накрененного, похожего на тушу мамонта особняка с обширной верандой и игривым мезонином. Дом постоянно сдавался уже двадцать лет и страдал из-за этого ревматизмом петель и сколиозом лестниц. Туша особняка продавалась явно под снос. Ежедневно от него уходила в небытие щепотка трухи, и любой ураган мог положить ему конец. Словом, горчаковские деньги были вложены в айсберг, который плывет по теплоту Гольфстриму к неизбежному фиаско.

Гаврюша, пока Горчаков только наезжал в город, встречал его на вокзале и водил к продавцам недвижимости. Своего мнения у него никогда



не было, был он абсолютно тихий и безмятежный, исключая чувствительный кадык, который вздрагивал, словно гасил в себе зевоту или улыбку. Горчаков пристально смотрел на проводника и представлял, что где-то в глухой провинции его большой, тургеневской головы специально отведен уголок, в котором всегда мог поселиться совершенно примитивный, обскурантистский паучок, упрямо, уверенно занимающий место для своих паутин — дремучих рассуждений. Гаврюша никак не реагировал на продолжительные взгляды Горчакова, он понимал только прямое к нему обращение.

5.

Перебирая старые вещи в кладовке, Горчаков наткнулся на плотную мешанскую подушечку, сотканную из ткани текстуры грубой и пестрой, как циновка, опыленную чувством горечи и первой встречи с достоевичиной. Когда-то она красовалась на диване в гостиной, словно ленивый кот, потягиваясь перед хозяйкой.

Та хозяйка была пенсионного возраста, преимущественно с нулевым выражением лица, в одиночестве иногда менявшимся на самодовольное, а перед людьми — на плаксивое. За стеной обычно слышались ее стенания и недовольства, она то уныло попрекала мужа, то начинала невнятно, угрюмо кого-то осуждать: как же это он так будет жить и из чего он будет ей платить, где будет работать, если все время сидит дома и ничего не делает? С ужасом Горчаков понимал, что речь о нем, студенте-квартиросъемщике. Ужас был не в теме монолога, некрасивых интонациях, а в том, что если встать в коридоре и мысленно убрать стену между комнатами, то станет видно, что Горчаков сидит буквально в двух шагах и слушает эту неправду о себе и понимает, что хозяйка об этом знает. И даже более того, специально так говорит, чтобы он слышал. Как же это так можно? Ведь он здесь, он все слышит, он не подушка, он живая душа, которая дышит и все понимает. И что тогда она говорит о нем, когда он уходит из дому? Горчакова до глубины души потрясла пошлость происходящего, достоевичина, которую ему без предупреждения, незаслуженно, ни за что вот так преподнесли: не хотите ли свежей достоевичинки, молодой человек, про вас?

Через час, пустой и тихий, хозяйка стучалась к нему в холодную комнату и, тяжело охая, кручинясь, протягивала ладонь, наполненную самой мелкой монетой. Со страхом и кислой плаксивостью она жаловалась на жизнь, на инвалидность, на то, что ничего не видит, не может даже насчитать денег на хлеб. Горчакову лезли в глаза горькие слезы негодования, потому как он глубоко все это понимает: и про старушек-процентщиц, и про эти ваши копеечки, которые вы насобирали, чтобы попрекнуть меня, как будто это я виноват, что денег у вас почти нет и что вы это самое последнее «почти» не в состоянии разглядеть.



Горчаков молча, тревожно набрал сумму из монет, выжидаяще посмотрел. Хозяйка, согнувшись, испуганно ушла, не понимая, что он, Горчаков, еще такого задумал против нее. А он про себя клялся завтра же съехать из этого гадюшника. Зачем его так грубо оскорбили этой мало-значительной, казалось бы, вещью — литературным методом, о котором он еще недавно имел самое положительное мнение, Достоевщиной?

...Зря он выбил из подушечки немного этой пыльной старой доброй Достоевщинки, потому что все его прежние знакомые, одноклассники, друзья детства, о которых Горчаков узнавал через Гаврюшу, являлись ему сейчас в том искаженном виде, над которым постаралось время.

Например, дружок по детсаду, самый великий рисовальщик, которого он знал в свои шесть лет, работал в салоне мобильных телефонов. Теперь у него было удрученное, заброшенное лицо, словно пыльная витрина, и он не узнал Горчакова. И Горчаков его тоже не узнал, хотя все равно помнил, что это тот же самый Вовка Грачев!

Рома был налоговым инспектором. Неприятный, в сизом кителе, с большим, каменным лицом на постаменте стола.

Леша стоял на рынке, покуривая «Приму», и торговал барахлом.

В городской администрации заседал одноклассник Ваня, троечник и остолоп, но как приспособился, как приспособился! Подумать только, и откуда у него вылезли такие угождающие способности — заместитель мэра по материальной части!

На складе в супермаркете хозяйничал Людвиг — Люда, как его звали во дворе; они бегали с ним курить в кильдим*.

Михась, еще один товарищ по двору, снял трусики, перестал гонять во рту слюну и надел ментовской китель. Он больше всего поразил Горчакова — своими невероятными наростами и моментальной сменой цветов. Иногда по его телу пробегали судороги непричастности, он мог у разговаривающего с ним усилием воли вызвать помутнение рассудка. Поворачивая только одним глазом, он ляпал длинным вязким взглядом по собеседнику, словно языком по стене, и, как муху, слизывал все его потаенные мысли. Но все равно это был тот же самый Михась, отличавшийся от прежнего себя, как взрослая особь от личинки.

«Они все устраиваются в жизнь... Приспособление видов... — думал Горчаков, спускаясь по умиротворенной миллионом ног лестнице администрации. — Мутанты. В детстве они еще были плохо оформленными аморфными гольшами, а теперь из того или другого бугорка, пригорка на теле характера развился великолепный горб, специализированный, натертый под угождение, функционально совершенный нарост... Они как будто под действием радиации, излучаемой распадающейся действительностью, отрастили лицемерие, многочисленные сменные лица, специальные языки для сплетен, щупальца мыслишек, глубокие пазухи, чтобы как можно больше запасти в них эгоистического удовольствия, хамелеоньи глаза —

* Кильдим — укромное местечко, о котором не знают взрослые (молодежный сленг).

подглядывать в разные стороны... Челюсти, хваталы, жвалы... Когти по всему телу, чтобы цеплять добычку, прибыльки...»

Никто так и не узнал Горчакова. Или, может быть, он тоже как они?.. Перед самым выходом из администрации, в холле, он заглянул в зеркало и на секунду, на качнувшееся мгновение, ему показалось, что и он как они — функционально искривленный, мутировавший. Щупальца, хваталы, жвалы. Для добычки, для прибыльки.

По вечерам к Горчакову приходил Гаврюша, и, чтобы не идти с ним на пьянку, Горчаков отвешивал ему ежедневные сто рублей и пристально смотрел на его крупный дремучий череп. Несмотря на природную заторможенность, Гаврюша обладал прямо-таки демонической осведомленностью о жителях города. Мобильный телефон, палеолитическая «Нокиа», хранился у него в жестком футляре для очков, обложенный нежной поролоновой подкладкой. Он доставал его скрытно от всех, для себя одного, осуществляя неопознанный ритуал, и так же ритуально, как жрец с богами, разговаривал по нему обстоятельными, задумчивыми, квантовыми словами, точно соглядатай с многолетним стажем, имеющий перед глазами многотомное дело клиента, в котором он ориентировался с предельной интуицией.

6.

Горчаков никак не мог отойти от новой, случившейся вчера пьянки. И хотя уже был полдень, он шел по лугу пешком, а не ехал на велосипеде, который вел одной рукой, и с проверенной уверенностью думал о вчерашнем: «Все эти тосты и задушевные песни — все это давно, давным-давно, поколения поколений пьянок назад, превратилось в бесчувственный ритуал. Они пьют и пьют эту судорожную воду и никак не могут напиться, словно какие-то проклятые танталы с жаждой слов, слов и беспамятства».

Пыль под колесами велосипеда податливо и нежно проминалась, море созревающего сена с разноцветными венчиками цветов по сторонам дорожки прыскало стайками кузнечиков, будто он, Горчаков, был Жак-Ив Кусто и на своем «Калипсо» рассекал древнюю Адриатику в сопровождении дружелюбных афалин. Был яркий полдень, преисполненный зноя и сонного безразличия мира самого к себе; тени облаков перетекали с возвышенностей в низины — так же, как когда-то жизнь индийских царей, принявших буддизм, перетекала в жизнь насекомых; стрекот кузнечиков и шершавые вибрации стрекоз напоминали какой-то всеобщий шум бытия; и Горчаков, погружаясь в этот шум, незаметно для себя разбежался, оседлал велосипед и помчался по знойному лугу, среди которого кузнечики старательно выпрыгивали из травы, уносясь струйками щепок, кувыряясь, возносясь в небо, резво, стремительно, наперебой, как фготовые ноты, подскакивали вверх, шерстили траву и, оглаживая дугу, взлетали дельфинчиками по сторонам от величественной тени велосипеда,



чей просвечивающий скелет летел по желто-зеленой штриховке, то раздуваясь, то сжимаясь на полотне луга. И все это — весь этот луговой мир, наполненный светом и микроскопическими тенями, — помещалось в обобщающем, никому не принадлежащем взгляде бытия, который застал жаркое, душное, пустое озеро аромата полдня в приречной балке, где росла фигура дуба, сочетавшая в себе портик и спрятавшегося в его тени странника — остановившегося Горчакова. А потом велосипед снова нес своего седока в стрекочущую бездну лугов и пропадал в почти безатмосферной невесомости сорокаградусной жары — не успевал доехать до реки и растворялся в пейзаже, как растворяется в молоке кусочек песочного печенья. Луг, и поле, и река, и небо в облаках, и лес на периферии зрения — весь этот мир кружился, словно исчезающая, неуловимая галактика. Галактика называлась — лето.

7.

Во время одного из путешествий по городу Горчакову встретилась женщина-алкоголичка с белобрысой девочкой лет десяти, у которой под круглым, как бок фарфорового чайника, лбом виднелся короткий, облупившийся от загара носик. Женщина стояла возле окошка киоска быстрого питания и громким, дошедшим до той степени прокуренности и пропитости голосом, когда уже почти невозможна модуляция высоты и тона, рассказывала продавщице:

— А она мне по-английски! А я по-английски-то ни хера не понимаю! Ну и послала ее! А по-немецки я без словаря знашь как шпарю!

Она вещала радостно, на максимальной громкости, давясь хриплым смехом и сбивчивым дыханием, так что перехватывало в зобу от собственной наглости и находчивости.

— Че вылупилась на мороженое? Денег все равно нет! — закричала она почти в упор на дочь в расчете на то, чтобы денег дал как раз подошедший к киоску Горчаков.

Он посмотрел на бедного ребенка, с обидой приникшего к стенке киоска, как делают дети, прислоняясь к ногам взрослого и ища у него защиты.

— А давайте я вам дам, — сказал Горчаков, доставая под алчным, ревнивым взглядом женщины сто рублей.

— Ну дайте, чего ж не дать, коль не жалко вам, — старательно сдерживая хрип, выговорила она с тем представлением о вежливости, которое должно быть у всякой светской дамы.

Горчаков купил девочке мороженое и добавил ей еще пятьдесят рублей — попытался незаметно, но вышло неловко: взгляд ее изысканной маман сопровождал каждое его движение, из алчного превращаясь в малиново-умилительный, такой, когда алкоголику наливают стопочку и он уже весь в предвкушении. «Отберет», — подумал Горчаков.

Зрение Горчакова, приспособиваясь к местной среде, все чаще фокусировалось на отдельных, словно созревающих под его вниманием лицах, типичных для городка, среди которых он постоянно видел пьяных граждан, таких как Гаврюша или та женщина у киоска, навечно пребывавших в измененном состоянии сознания. Особенно это касалось продавцов. То есть эти люди жили не особенно-то и возвращаясь к реальности.

В магазинах его обвешивали, обсчитывали и охаивали, а он все равно любовался этими людьми, вырезанными из чистого лубка; на базаре, где асфальт заляпан следами раздавленных слив, вместо приглашения присесть на подушечку «вы» к нему обращались деревянным «ты», и тыкали так, будто пришепывали мух; обшлепанный, он заходил в другой магазин, чтобы снова напороться на арматуру «че хотел?». На улице возле магазина сидела бабушка, продавала яблочки, обожженные гнильцой; как-то у нее он купил целый пакет, как оказалось, насквозь прогнившего «пепин шафрана», а потом, принеся домой, долго смеялся, не понимая: или его обманули, или бабушка, когда набирала яблочки, тоже была вечно пьяная, вечно молодая...

Горчаков, конечно, понимал, что этот летний город, где особо ничего и нет, кроме лета, сманивший его в ленивую летнюю спячку, все больше напоминает большой, насквозь промасленный июльским солнцем дом, в котором он жил сам, — разваливающийся особняк, по которому бродят и засыпают тут и там пьяные люди, разморенные жарой или застигнутые ночью, зашедшие в одну из комнат и примостившиеся на оттоманке в прихожей, или где-нибудь на веранде, или на топчане во дворе посреди стоячего, с привкусом тления воздушного пруда. И Горчаков с ужасом принял это — что ему нравится такой образ жизни, что сначала он привык, а теперь уже влюбляется в это тление: в дом, городок, в компанию дворовых алкоголиков, которые его обязательно споят и погубят.

В районе, где жил Горчаков, пивных магазинов было больше, чем продуктовых, они блестели разноцветным облицовочным пластиком на старых деревянных улицах, словно сворованные и спрятанные в сарае подарочные коробки. Возле них обязательно отирались веселые поселяне, которые за время кризиса обзавелись сбережениями; их не хватило бы на автомобиль или квартиру, однако предприимчивые граждане, построившие эти красивые пивные, готовы были заняться винным откупом и рассчитывали пусть на медленную, но зато уверенную и почти вечную прибыль: поселяне ежевечерне потягивали пивко, а пивные — их подматрасные залежи.

Набрав баклажек, Горчаков целыми вечерами просиживал дома, наблюдая, как в местном телевизоре прикормленный папашкой-мэром сын-депутат с внешностью невинного слоненыша доходчиво объясняет, что полезного он сделает городу и почему альтернатив этому нет. Переключившись на федеральный, Горчаков услышал полночную исповедь экзистенциалиста:

— Когда меня спрашивают о солипсизме, в ответ этим людям мне хочется припомнить всех замученных в концлагерях и газовых камерах, всех принявших огнестрельную смерть в мировых войнах. Скажите, у них это тоже был солипсизм?

На канале без рекламы и новостей, имевшем связь напрямую с космосом, под утро он посмотрел мастер-класс фокусника-коуча, специалиста по «сиреневым троечникам».

— Есть особый тип устроителей своих судеб, — рассказывал коуч студентам, сидевшим перед ним в позе лотоса, — так называемые «гулливеры сансары». Суть их вкратце такова: продвигаясь по служебной лестнице сансары, они многократно реинкарнируют в течение жизни, мутируя из одних должностей в другие. Главный их мотив и интерес — «надо же устраиваться в жизни!». Но существует два подвида устроителей судеб. Одни — веселые, кажется с самого рождения прикипевшие к жизни балагуры, у которых это устроительство в генах начиная с Адамова исхода, купцы по жизни, сочетающие цинизм и юмор, — да вы и сами представляете, о ком речь — о тех, кто вам хоть воздух продаст, хоть пустой звук, хоть букву «о», но как же вкусно и красиво, с румянцем на лице, так что покупатель еще и благодарить станет за ту внезапную дрянь, которую ему всучили! Другой же тип устроителей — «сиреневые троечники», это такой подвид «гулливеров», который существует где-то в соприкосновении с интеллектуальным трудом, то есть сидит за компьютером, умеет подсчитать, прикинуть в уме, договориться, намекнуть, уладить и вообще имеет склонность к тому, что называется «устраиваться». Вначале у них ничего не выходит: они ветрены и простоваты, но завистливы; дружелюбны, но с прицелом на прибыльку по знакомству; гостеприимны, но с расчетом на добычку. Год за годом тренируясь, стараясь, «сиреневый троечник» наконец превращается в того самого господина с пузиком, в халате и с кисловатым исподним запахом под халатом, в общем, в того самого доброго малого, который вас любит, в опору жизни и государства — обывателя, а в пределе мечтаний — в человека среднего класса, а если еще не среднего, то усредняющегося с усердием невероятным.

8.

Ночью Горчаков проснулся, как ему показалось, от величайшего в мире напряжения. Все его тело словно образовало замкнутую электрическую цепь и ни на секунду не могло расслабиться: если оно расслабится, казалось ему, то перестанет существовать. В доме было чрезвычайно душно, настолько, что, чтобы сделать хотя бы один полноценный глоток воздуха, придется ходить вдоль стен и, принося к ним, собирать раскрытым ртом остатки кислорода. Горчаков встал с кровати и полностью растворил окно, и балкон, и дверь комнаты и снова прилег. На минуту стало чуть прохладнее, мышцы расслабились, и электрическая цепь разомкнулась в области позвоночника, словно тело растянулось, и дышать стало легче.

Сегодня он спал в самой большой и верхней комнате с балконом, откуда виднелся огромный общий двор, образованный огородами и соседними домами. Самая дальняя часть двора заканчивалась садом, за которым уже не было видно крыш, и выглядела как будто это начало леса и дальше города нет. Оттуда, из-за сада, донеслось длинное гремучее рокотание, повеяло ветерком, а потом заново упала отягощенная беззвучием духота. Горчаков терпеливо прислушался. Где-то отдаленно звенел невидимый комар, точно плавающее средоточие изгнанного из тишины звука. Звон исчезал и возникал, и Горчакову, лежавшему навзничь с закрытыми глазами, чудилось, что вслед за перемещением звона стягивалась и тянулась и комната. Каждую секунду он ожидал, что комар подлетит совсем близко и тогда можно будет хлопнуть по этой кружащей вокруг него воображаемой ядовито-желтой точке, как по выключателю. Он непроизвольно зажмурился и незаметно для себя вновь превратился в замкнутую цепь, по которой циркулировало напряжение. Потное, напряженное тело, нервы, натянутые толстой фортепианной струной, к которым и прикоснуться-то страшно, как к электрическому проводу, — а вдруг такой громовой и очистительный звук раздастся и изгонит тебя, как демона?

Горчаков глубоко и раздраженно вздохнул и снова встал, вышел на тесный балкон, как будто влез в стеклянный шкаф, и в этот момент понял, что никуда отсюда не уедет и что ехать, в общем-то, ему некуда. Там, за пределами городка, он чужой, хотя и здесь тоже чужой. От этого ужаса обыденного заглядывания в бездну психологизма Горчаков впервые за жаркое лето почувствовал, что ноги у него стали подмерзать: в нижнюю щель поддувало прохладой, словно сквозняком тихой речи, к которой хотелось прислушиваться.

— Что же ты все время врешь себе, многолимерная ты дрянь? — сказал вслух Горчаков. — Что же ты все время притворяешься, что этот город — твой, что ты здесь будешь всегда, что ты здесь жил раньше? Никогда этого не будет, никогда!

Озябшие пальцы его ног сжались в подобие слабых кулачков, и тело опять замкнулось в напряженную цепь. Над горизонтом собиралась гигантская черная туча.

— Никогда, никогда не будет чтобы тебе было хорошо, — продолжал Горчаков язвительным, ядовитым полусшепотом. — Все время ты недоволен.

Он вспомнил зимний дачный поселок в Подмосковье, кучный, как туристический лагерь. Там он простыл и болел две недели. Тамара носила тебе аспирин и продукты, подарила братнины шерстяные носки. Разве это было плохо? Разве у нее было некрасивое лицо? Разве ты, дрянь, не мог из себя выдать хоть два хороших слова? Взять за руку, приобнять за талию. А ты денег ей дал. Нет, подумать только: деньги — и женщине! Дрянь ты благодарная... А помнишь другой город, где нашел такую работу, от которой руки чесались, от которой в кои-то веки не хотелось

спать: только бы работать да работать. Чего ж ты всем хамил и ушел со скандалом?

А этот город — он же не твой. Ты же выдумал, ты же все выдумал о нем, братуха! Он такой же твой город детства, как пара десятков остальных. Если хоть скелечко еще осталось в тебе сил — беги, беги отсюда! Ты просто примкнулся к нему, чтоб хоть за что-то держаться, как тот ребенок — к стенке ларька, ты просто захотел некоторого родства хоть с кем-то и привил себе это воображаемое родство. Но ты не вырос из этой земли и поэтому бежать тебе отовсюду и бежать!

Вдалеке над садом вольфрамовой нитью перегорела молния, и небо раскололось под молотом первого удара грома. «Как хорошо громыхнуло! Чтоб и вся ваша цивилизация вот так отвалилась навзничь! — с ненавистью думал Горчаков. — Сколько ж можно пить с этими танталами? Они ж постоянно жалуются, что никем не оценены, и друг перед другом хвалятся этой жалостью и неоцененностью. А на самом деле живут зажатые в простенке между страстишками, между тем, “какой я хороший”, и тем, что “вы мне все должны”. Я буду вас разоблачать, я буду вас пытаться словесною мукой».

Поднялся ветер, и Горчаков заговорил уже во весь голос, ожидая, что вот-вот будет гроза, и шторм уже идет услышанный, приближается, и ураган приготовился, разозлился. И сам Горчаков радовался своему праведному опьянению. Еще минута, ждал он, и гром обрушится вместе с ливнем на всю эту мещанскую породу и будет расталкивать и топтать улицы, пинать сонных мещан, вызывая их на суд. Только ветер вдруг смолк, сделав большой безвоздушный вздох, и Горчаков снизил голос снова до шепота, словно пригнулся.

Этот жест тела напомнил ему, как однажды, сговорившись с риелтором, выкупил за треть цены у пенсионера неплохую квартиру в областном центре. Ее тотчас же перепродали вдвое дороже через агентство риелтора, который заработал дважды: на взятке Горчакова и на комиссионных. Горчаков тогда точно так же пригнулся, прижал локти к бедрам, все его тело свело от радостного обмана, и он так пусто, так беззвучно захохотал: с какой легкостью можно проворачивать дела! И так было не раз. Он научился скупать жилье, подтасовывая документы, подличая, торгуясь, живя той самой веселой жизнью, о которой мечтал. А теперь он так не может, внутри него прекратилось производство какого-то эндорфина. Эндорфины обмана закончились — теперь он, заработав прибыльки, желал жить честно и трезво, без этих веселых, пьяных эндорфинов.

В комнату заскочила черная точка мухи, бестолково проскакала осциллографической дробью по стеклу и опять выскочила, будто отрикошеченная, во тьму внешнюю. И Горчаков подумал о себе в этом чужом доме и городе, не родном, а всего лишь одним из многих, где он пытался жить. Вспыхнула еще одна молния, и больше ничего не произошло: упало несколько капель и в небе остались мегатонны киловатт лунной пустоты.

9.

А ведь первое время Горчаков чувствовал счастье. Он засветло просыпался, неподвижно лежал в кровати, ждал восхода и радовался, что целый день у него будет чем заняться: исследовать деревянную руину дома. Из кухни, обложенной кафелем, битым и подклеенным, он с чайником и чашкой поднимался в мезонин по такой тяжкой и скрипучей лестнице, что дом превращался в охотничьи уголья звука, где Горчаков был движущейся мишенью. Пока занималась заря, он пил чай и в очередной раз счастливо думал: «А мне не нужен повод, я просто хочу, я буду отмечать день рождения солнца». И ему было хорошо, рядом с его плечом поднималось раннее, молодое, как новелла, утро, и он снова клялся, что начнет новую, великолепную, чистую жизнь. От утренней яркости дом как бы приподнимало в зенит полдня, хотя было всего пять утра, и комнаты пронизывало прожекторами света, пробившего его насквозь.

«Если бы превратиться в кузнечика, сверчка, мотылька, светлячка...» — мечтал Горчаков, нежась в лучах, пил чай и прикрывал глаза горячими бесчувственными веками. В его воображении, увиденные несколько дней назад, шли, взявшись за руки, озираясь по сторонам, мальчик с девочкой. «И почему влюбленные так похожи на воров? Как будто они что-то уворовывают у нас, будничных жильцов, а они, счастливые школьники, как проходящие мимо цыганские скитальцы по новым чувствам». А мальчик так смеялся, так смеялся, а она застенчиво пряталась за ресницы...

Когда Горчакова в последний раз привели домой, он некоторое время еще помнил склоненное над ним лицо Гаврюши, точнее, огромную половину лица, поместившуюся во взгляд. Напряженные, крепкие щеки, безвольные пьяные губы и глаза, серые и безучастные, словно обочина дороги. Горчаков мысленно присел на эту обочину и стал ерошить волосы и массировать голову. Дорога, возле которой он сидел, шла мимо леса и вела в серый, бесконечный, без всякого развития рассвет. Лицо Гаврюши затмевало весь горизонт и нависало над ним, как будто тот держал Горчакова на ладони и нес куда-то. Потом Горчаков забылся, а его проводник, спустившись к задней части дома, подошел к дыре в фундаменте и просунул в нее ладони с земляной жабой в них. Жаба не хотела прыгать в дыру, и тогда Гаврюша просто выкинул ее в темный провал.

Горчакову снилось, что он падает вниз, под воду, а над ним, над линией воды, колеблется лицо проводника.

...Еще над городом темнели, точно следы раздавленных слив на базарном асфальте, ночные облака и кособоко желтела, заметно торгуемая на убыль, овражистая дынька луны.

Сагидаш ЗУЛКАРНАЕВА

ПРОЩАНИЕ С ПЕРНАТЫМИ

* * *

Утлая лодка утра, яхта ясного дня
Будут тебе смутно напоминать меня.
Будет моим ликом ночью луна в окне.
И напевать ливни осенью обо мне.
Будет в ночи ветер имя мое шептать,
С ветки летать на ветку, тишь за окном шатать.
Будет гудеть печка, грусть навевать все дни.
Тихо скрипеть крылечко: «Где же она? верни...»

* * *

Московское время проточно проходит, минуя врата
Деревни, где темные ночи, но светлая в окнах вода.
Где скромно живет и обычно, не рушась на этих и тех,
Народец простой, горемычный, открытый душой к доброте.
Пусть бедно, зато не опасно — посеял, а завтра нашел.
Вот так и становится ясно, кому на Руси хорошо.
И так хорошо, что аж плохо без тьмы самогонного дна,
А там за шкворчащей картохой совсем мужику не до сна.
А в целом тут мало соблазнов — живут в основном старики.
Жила здесь бабенка отвязно — и та подалась от реки.
И нет здесь угрозы пернатым, и, может, еще посеум,
Раскинувши руки крылато, летает дурак по селу...



* * *

Хоть небо оловом луди — дожди сгущаются под вечер.
Забыта Богом и людьми, стоит изба, понутив плечи.
Жучки гнездятся на бревне, и во дворе царит безмолвье,
И гвоздь навеки на стене с кольцом ржавеющим помолвлен.
Висит, от времени сера, хозяйки сирая циновка,
Провиснув посреди двора, спит безрубахая веревка.
Кругом осот и лебеда, заглохло время в доме старом.
Не брякнет конская узда, корова не бежит из стада...
Упала старая труба, и опустились крылья ставней.
Нахохлившись, стоит изба отставшей птицею от стаи.

* * *

Седое небо подперев плечом,
Застыл ноябрь хмурый у воротца.
Заиндевелый стог стоит свечой,
Проталины приталены морозцем.
Кружится робко перевозанный снег,
В оконце темном светятся рябины...
Приходит в память детство, как во сне,
Где слово «счастье» пахнет мандарином.
И враз теплеет в божеской руке,
И тяжесть жизни будто невесома...
Светлеют окна, как вода в реке,
И протекает время мимо дома.

* * *

Тончайшей паутиной тишины обвиты дни, дома, плетенья веток,
Залистанной до дыр дорогой лета ушло тепло, страницы сожжены.
Деревья, крылья веток теребя, глядя с тоской вослед высокой стае,
С пернатыми прощаются до мая и снова возвращаются в себя.
Во рту небес луна, как леденец, бледнея, тает, тают в небе звезды,
И замолкает ночь в небесных гнездах, играет день на клавишах крылец.
Гусиным пухом полон огород, в траве краснеют поздние ранетки,
Сосна заснула, стоя у ворот, октябрь вянет на небесной ветке.
Степь, цепенея, дремлет в тишине, пропитан воздух свежестью и негой.
Такая тишь, что слышно в вышине, как прорастает снег сквозь
толщу неба.

* * *

Вот и настало небес полноводие,
Скрипом уключин наполнилась ночь.
Бряцает ветер пустыми поводьями,
К зорьке ускачет куда-нибудь прочь.
Время сменяет дожди на метелицу,
Вот и побелен годами висок.
И не заметишь, как жизнь переменится
С моря — на речку, а речка — в песок.
Домик закрою, пойду за околицу,
Далее, далее — ветер, встречай!
Все, что ненужное, может, отколется,
И перемелются боль и печаль.
Душу остудит дорога звенящая,
Выйду на новый небесный виток.
Крылья расправлю и стану летящею,
Как под подошвой у Бога листок.



Валерий ХАЙРЮЗОВ

БАРАБА

Повесть

У Московского тракта

О той теперь уже далекой и недостижимой жизни я вспоминаю каждый раз, когда автобус довозит меня до Барабы и я по привычной грязи и хляби тащусь в свое далекое детство. Его уже нет и нет тех примет, тех людей, которые когда-то заполняли мою жизнь. Может, именно поэтому мне они сегодня дороги как никогда.

Стоящая на Московском тракте Бараба имела непростую историю. Притулившись одним концом к стенам знаменитого на всю Сибирь Вознесенского монастыря, она пыталась из этого извлечь свою выгоду. В каменной монастырской гостинице останавливались паломники, но в ней всем места не хватало, и местные с удовольствием брали на постой извозчиков, купцов, богомольцев, которые, желая попасть в Иркутск, ожидали на Барабе переправу через Ангару. В шинках и кабаках их поджидало разного рода жулье: кошевичники, шулера, лихие людишки, гулящие девки — кто-то с крестом, а кто-то с кистенем. Рассказывали, что разбойников хватало, судили и отправляли на рудники, а когда в состав Российской империи еще входила Русская Америка, то ссылали и туда, далеко и надолго.

В тридцатые годы XX века монастырь снесли, монастырскую гостиницу и кой-какие оставшиеся постройки приспособили под жилье работникам строящегося мелькомбината. На заросших боярышником полянах и буераках подавшиеся в город на стройки вчерашние крестьяне от безысходности спешно начали городить засыпушки. В народе эти стихийно возникавшие улочки называли Нахаловками. Нередко рядом становились табором цыгане. Но если первые еще пытались обустроить свое житье-бытье по образу и подобию деревенской жизни, то вторые с наступлением холодов откочевывали в более теплые края. Перед войной Нахаловки переименовали в Рёлки, была проведена нумерация домов, обитателей завалох обложили налогами. Живешь, пользуешься землей — плати!

Вот только на прозвища не придумали налога, а так мог бы получиться неплохой навар в казну, поскольку почти все обитатели предместья имели не учтенные в паспортах клички и прозвища. Думаю, что многие филологи могли бы позавидовать фантазии жителей Барабы. Каунь, Бала, Потрох, Горе, Мотаня, Валовый, Король, Дохлый, Зяма-газироващица, Синий, Цыган — сегодня эти клички звучат для меня как позывные ушедшего невесть в какие дали детства. Они вошли в мое сознание одновременно с названием родного предместья. Из глубины памяти я вытаскиваю клички своих соседей — еще не мужиков, но уже и не парней, которые вроде и были, а потом куда-то исчезли, оставив прозвища: Митча, Кольча, Троха. Позже на лекциях по истмату я услышал утверждение, что народ никогда и ни при каких обстоятельствах не ошибается. Возможно. Однако сам факт существования кличек и прозвищ говорил о наблюдательности обитателей Нахаловок, их желании как-то разукрасить свою жизнь. Многие выражались так образно, что не стеснялись и нас, малолеток.

Бывало, сидят на завалинке женщины, обсуждают мужей. И вдруг вылетает:

— Он, налижавшись, приходит ко мне с целовками. Я ему так наподдала, что он от меня засвистел валиком-кандибобером!

Нам становилось понятно: взаимности не получилось — вытурила в шею. Но как сказано! Не полетел, а засвистел валиком-кандибобером!

Не менее цветистое можно было услышать и от мужиков, которые, подвыпив, обсуждали автомобильные приключения.

— Еду, рядом со мной краля. Ну, я к ней так и эдак. А она глазами-фарами уперлась в меня — и по нулям. И тогда я для блезиру засурупил по газьям! И схлопотал уже не от жинки, а от сидевшей в машинке по су-салам. А за что? До сих пор не пойму!

— Ну, мы этот цветок уже нюхали, — гоготали слушатели. — Так и скажи — не дала!

Им бы не в шофера, а на сцену!

Частенько разговоры были просты и имели конкретное наполнение. Наморщив лбы, обитатели Нахаловок пытались понять, за что всю ночь Каунь гонял свою Лявву и какой срок дадут Лене Колчаку за пачку чая, которую у него обнаружил вахтер на проходной чаепрессовочной фабрики. Мораль была проста и сформулирована еще в заповедях: не кради! Далее следовал мамин комментарий, что Господь влечет нас к небесному и вечности, а богатство — к земному и тленному. Мама, когда было время, читала Библию и могла сказать и не такое. Когда я впервые услышал эти правила, то почему-то подумал, что сидящий в переднем углу за иконой с печальным лицом Христос придумал их специально для нашей Барабы. Но, к сожалению, в предместье этих правил почти не придерживались и отсеяв в места не столь отдаленные был, пожалуй, сопоставим с осенним призывом в армию.

Прозвища в основном шли от фамилий; улица сокращала и придавала им ту окраску, которую обладатель заслуживал. Присвоение прозвища напоминало путь дворянки, которая норовит спрямить себе дорогу, бегая через дыры в заборах и подворотнях. Улица давала прозвища, с которыми, бывало, многие шагали по жизни до самой могилы: Кулик, Мазя, Чипа, Жирный, Иман, Каланча, Суслик, Труха, Зверь, Алямус, Иван.

Вообще-то Иван был девочкой с цветочным именем Лилия. Она наравне с пацанами играла в чикку, лазила по огородам и свое место видела только в мальчишечьем строю. Другим девочкам повезло больше, они почти все были с длинными, звучными фамилиями: Сахаровская, Гладковская, Любогащинская, Михай-Сташинская. Но были девчонки с короткими и острыми, как шило, прозвищами: Глазкову звали Пончиком, Сутырину — Рыжкой, Шмыгину — Шмыгой. Здесь срабатывал все тот же облегчающий принцип: если брат — Шмыга, значит, и сестра должна мелькать рядом. Попадались клички и подлиннее. Валеру Забатуева за его малый рост и безобидный характер шуточно называли — Забодай-меня-комар. Была девочка со звучным прозвищем Ляма-выдри-клок-волос, хотя она ни единого волоса с чужой головы не тронула.

Особняком стояла Катя Ермак. Иногда мне казалось, что это создание попало к нам с другой планеты. Впрочем, все объяснялось просто. Неподалеку от Рёлок стояла зенитная батарея, в задачу которой входила охрана воздушного пространства на подступах к авиационному заводу. Катиного отца перевели служить из Львова помощником командира батареи по политической части. Благодаря ему мы стали частыми гостями на батарее, в их столовой смотрели кино, а в праздничные дни нас там усаживали за столы, чтобы покормить солдатской кашей.

В предместье Катя оказалась предметом всеобщего внимания и быстро стала для нас своим в доску парнем. Училась она легко, почти на одни пятерки, однако подлизой никогда не была. Резкая и острая на слово, она могла не только возражать учителям, но и спорить с ними. И странное дело, ей это позволялось. Кроме того, Катя лучше всех девчонок играла в баскетбол, спокойно договаривалась с ребятами, которые пытались устраивать базар во время игры. Случалось, вместе с нами она гоняла по пустырю футбольный мяч.

Чуть ли не с первых дней Катю в школе стали называть Тимофеев-ной. Мы смеялись: все Ермаки, перевалившие Каменный Пояс и обосновавшиеся в Сибири, обязаны носить отчество казачьего атамана. У новеньких всегда есть определенное преимущество: начать жизнь как бы с чистого листа. Почти сразу же ее назначили старостой класса и комсомольским вожаком школы. Эти назначения мы восприняли спокойно, здесь все козыри были на ее стороне: красива, находчива, умна, умеет не только за себя постоять, но и других в обиду не даст.

С ее появлением в моей жизни изменилось многое. Теперь, перед тем как отправиться в школу, я чаще подходил к зеркалу, расчесывал во-

лосы, приводил себя в надлежащий порядок. Если мне что-то удавалось, то я невольно ждал ее реакции: как посмотрит, что скажет? В той уличной жизни секретов ни у кого не было, хотя свои чувства мы старались прятать. А они, как замечала моя мама, были написаны у нас на лицах. Тогда нам было невдомек, как это Катя, после житья на Украине, где, по слухам, ветки ломаются от груш и черешни, а яблоками усыпаны сады и где всегда тепло, могла переносить наш мороз и грязь. Позже я понял: она, конечно же, осознавала, что попала не в рай, и даже в меру сил пыталась что-то поменять в новой для себя жизни. Народ тут и впрямь, как она говорила, был грубее и проще. «Зато здесь нет бандеровцев», — добавляла она.

Катя ошибалась — были! Выселенцев с Западной Украины свозили на Бадан-завод, где они гнали деготь, заготавливали клепку, валяли лес. Работали не только украинцы, несколько лет на заготовку клепки туда ездил отец. Там можно было хорошо заработать — больше, чем в городе. Однажды с Бадан-завода к нам приехала Галя — крепкая, чернобровая, с певучим говорком женщина лет сорока. Ей надо было показаться врачу, и она, зная отца, остановилась у нас. На ноябрьские праздники мама пригласила родню, и когда гости уже подвыпили, разговор зашел о прошедшей войне. Мамин брат Артем сказал, что до сих пор носит в себе пулю, полученную от бандеровцев на Украине. И тут Галю точно взорвало, видимо, ей в голову ударила выпитая бражка. Опрокинув стол, она начала ломать лавку и топтать попавшую под ноги посуду, выкрикивать что-то про самостийную Украину. Ее насилу утихомирили, связав руки полотенцем. Ошеломленные ее выходкой гости смотрели на нее с жалостью, с какой смотрят на умалишенных. Посидев еще немного, потихоньку разошлись. Галя же вместе с мамой начали утверждать на место порушенное.

Позже мне с отцом довелось побывать на том самом Бадан-заводе. Приехали мы собирать ягоду и бить кедровую шишку. В таежном поселке уже никто не жил, осталось лишь заросшее крапивой таежное кладбище, разрушенная пилорама да покореженные, с выбитыми окнами брошенные дома. Поселенцы разъехались кто куда: одни вернулись на Украину, другие перебрались в Горячие Ключи, Добролет, Кочергат. Когда я смотрел на битые стекла и обугленные стены домов, мне почему-то виделась топчущая посуду чернобровая красавица Галя.

Зерно для Короля

Я напрягаю память, и она подсказывает, что многие мои сверстники, так и не дотянув до призывного возраста, были осуждены и попали в места не столь отдаленные. Барабинское предместье поставляло стране шоферов, грузчиков, разнорабочих, продавщиц, а также тех, кто при удобном случае норовил стащить социалистическую собственность, и еще тех, кто эту собственность охранял. Надо сказать, что особого публичного осуждения ни те ни другие не получали.

Но даже среди всего рёлкского разнотравья прибытие Мотани и его семейки стало для нашей улицы настоящим испытанием. Если мы придерживались хоть каких-то правил, то эти приезжие жили по законам волчьей стаи. Наглые, дерзкие, они брали то, что им приглянется. Дурная слава — она ведь тоже имеет свою привлекательность. Тебе говорят — не ходи, а они идут, говорят — не бери, а они урывают столько, сколько могут унести, намекают — не переступай, а им наплевать — лезут, да еще и посмеиваются. И эта показная вольность, умение перешагнуть через все запреты, их прозрачные, словно стеклянные, глаза, в которых ничего нельзя было разглядеть, действовали на нас так, что мы уподоблялись кроликам перед удавом. Бывало, одного взгляда младшего брата Мотани — Короля оказывалось достаточно, чтобы ты встал и шел за ним и делал то, чего в обычной ситуации никогда бы не сделал.

Как-то осенью я мячом выбил стекло у Мутиных. Король предложил стащить стекла на стройке. И пояснил, что неподалеку от Рёлок начали строить бревенчатые дома и стырить оттуда пару стекол — плевое дело. Подумав немного, я согласился — понимал, что иного выхода у меня нет: или плати, или выставляй собственные окна.

По пути на стройку Король приказал залезть в огород к Лысовым и нарвать морковки. Сам он остался стоять на стреме. Я, желая показать себя, залез и надергал пучок. Весь вечер, поджидая темноту, мы сидели в кустах около строящихся домов и грызли морковку. Когда стемнело и сторожа затопили печь, Король велел мне подползти и вытащить из упаковки стекло. Честно говоря, я думал, что мы поползем вместе, но Король и здесь остался на стреме. Извиваясь ужом, я достиг склада и стал вытаскивать стекло. Оно оказалось тяжелым. Едва я начал отгибать планку, как она закрипела, и в будке у забора залаяла собака. Пришлось уносить ноги; пес чуть не оборвал мне штаны. На крыльцо вышел сторож с ружьем, и тогда мы поняли, что вместо стекол нам может прилететь «подарок» в виде заряда мелкой дроби.

Мама встретила меня, едва я открыл ворота, и тут же спросила, лазил ли я к Лысовым в огород. Я отрицательно мотнул головой.

— А ну, покажи зубы!

Я открыл рот, и мое преступление было сразу раскрыто: меж зубов застряли кусочки морковки. Не знал я, что меня, когда я дергал морковку, засекала Людка Лысова и сообщила моей матери. Мама хлестанула ремнем и разбила пряжкой нос. Я закричал от боли и обиды на себя, на Короля, на маму, которая не пожалела и так врезала. Из носа хлынула кровь — мама опомнилась, бросила ремень, подвела меня к умывальнику, стала поливать на лицо и рыдать на весь двор.

— Тюрьма по тебе плачет! На всю Рёлку опозорил, — причитала она, смывая кровь. — Вор, вор, огородный воришка!

Что ж, о существовании десяти заповедей иногда не мешает напомнить ремнем. А если бы она узнала, что я еще пытался залезть на стройку?

Неделю я не показывался на улице, но сердце забывчиво, а тело заплывчиво. Улица была для нас продолжением дома, и от нее не отсидишься на крыше сарая или за забором.

Вскоре после порки, которая была учинена за морковь, Король предложил «подзаработать на зерне». В переводе на русский язык это означало украсть и продать пшеницу, которую везли на мельницу. Бывало, что воришек задерживали и даже судили, но почему-то считалось, что попавшиеся — профаны и неумехи, а вот нас-то ни за что не поймают. На железной дороге усиливали меры предосторожности, придавали дополнительную охрану, однако попыток поживиться за государственный счет не становилось меньше.

Методика воровства была отработана до мелочей. Подсаженный на длинный шест ловкий малец забирался в верхние окна вагонов и нагребал в сумку зерно. На это уходили секунды: для шпаны это было все равно что пробежать стометровку. Случалось, что в вагоны залазили прямо на ходу, когда от сортировочной станции по специальной ветке их перегоняли к тыльным воротам мелькомбината. Железнодорожный путь там изгибался, и машинист не мог видеть всего состава.

Когда мы пришли на место, паровоз выталкивал порожняк за ограждающий мелькомбинат забор.

— Не повезло! — огорченно сплюнул Король.

Опасное предприятие отменялось, и я через кусты направился к дороге. И неожиданно увидел спрятанный в кустах мешок с зерном. Я остановился и махнул рукой Королю.

— Скорее всего, это дело рук ребят Кауня, — бегая глазами, приглушенно сказал Король. — Давай-ка перепрячем.

Каунь в предместье пользовался дурной славой. Его побаивались даже взрослые мужики. Говорили: отпетый бандит, что с него возьмешь? Все знали, что его подручные промышляют не только на железнодорожных путях, воруя привезенное на мелькомбинат зерно. Водились за ними и другие делишки.

— Если узнает, точно зарежет, — опасливо сказал Саня Волокита.

— Кто не рискует, тот не пьет шампанского, — хмыкнул Король.

Мешок был тяжелый, килограммов пятьдесят, а то и больше. Мы оттащили его чуть в сторону и забросали травой. Король предложил еще раз сходить к вагонам, которые только что вытолкали за ворота. Заглянув в один из них, мы убедились, что он пуст. Но Король разглядел, что между досками, которыми была забита дверь, оставалось зерно, — кое-что насобирать можно. Меня, как самого худого, ребята подсадили на шест, и я через маленькое верхнее окно забрался в вагон. Между дверью и досками была щель, в нее пролезла голова, а куда пройдет голова, туда можно пролезть и всем телом. Что я и сделал — спустился на дно и понял, что зерна там предостаточно. Набив сумку, я подвязал к ней бечеву, поднялся наверх, вытянул сумку и через окно передал ее Королю.

— Там еще полно, — сказал я.

Король пересыпал зерно в мешок, а я вновь полез в щель. И вдруг услышал крик:

— Атас! Охрана!

За стеной вагона послышалась беготня. Я затаился, оставшись наедине с бухающим сердцем. Я слышал, как совсем рядом, за тонкой стенкой, начали переговариваться охранники. Один из них не поленился, вскарабкался и заглянул внутрь.

— Темно. Надо бы фонарем посветить.

Я вспомнил, как сам, когда посмотрел сверху через окошечко, ничего не разглядел: нужно было, чтоб глаза привыкли к темноте. К тому же сейчас я сидел в щели, и увидеть меня даже с фонарем было невозможно. Единственное, чего я боялся, что меня выдаст собственное сердце.

Через несколько минут охранники ушли. Я набрал в сумку зерна, затем, подпрыгнув, уцепился за край окна и, подтянувшись, выглянул наружу. То, что я увидел, испугало меня не меньше, чем охрана. На Короля с блесвевшей на солнце бритвой шел Каунь.

Король упал перед ним на колени:

— Каунь, гадом буду, не брал! Не брал я мешок! Вот тебе крест! — Он перекрестился.

— А это что? — Каунь кивнул на наш мешок с первой порцией зерна.

— Это по щелям наскребли.

— Знаю я вашу щель, — процедил Каунь.

Он закрыл бритву, махнул рукой. Прибежали подручные и забрали у Короля мешок. Внезапно состав тронулся и, набирая ход, покатил в сторону сортировочной станции. Прыгать из вагона было поздно. У меня была надежда, что поезд остановится на сортировочной, но он, не сбавляя скорости, проскочил ее. И все же где-то за Батарейной он начал притормаживать, и я, сбросив сумку с зерном, повиснув на руках, прыгнул на галечный откос. Я уже знал: прыгать надо не по ходу, а в противоположную сторону и после приземления сгруппироваться и спрятать голову. Мне повезло, приземление было не жестким. Когда последний вагон прокатил мимо, я осмотрелся, обнаружил на коленке дыру, а чуть позже увидел, что лопнул шов на рукаве у вельветки. Сумке повезло меньше, и зерно разлетелось вдоль железнодорожного полотна. Собрать его не имело смысла. Ощупывая побитые локти, я по проселочной дороге пошел в сторону Ангары. Почему-то в глазах стоял упавший перед Каунем на колени Король.

«Да никакой он не Король! — с запоздалым прозрением подумал я. — Так, обыкновенный воришка».

А кто же тогда я? Да еще мельче и ниже, чем он. Бывает, что синяки и ссадины наталкивают людей на умные мысли. Дело оставалось за малым — убрать Короля из своей жизни. Но как это сделать? Вот ты

сидишь, делаешь уроки, а за окном свист. Едва выглянешь за ворота — тебя уже ждут. Ну не Король, так другие. На улице свои неписанные законы. Ты бы и хотел с кем-то не иметь дел, но попробуй отойти в сторону и отрезать — отцепитесь! Я не хочу вместе с вами прыгать из вагонов и машин!

Только успел правильно подумать, а машина тут как тут. Меня догнала попутка, и, когда поравнялась со мной, я рванул к заднему борту и запрыгнул в кузов. Машина сразу остановилась.

— Ловкий! — выглянув из кабины, сказал шофер. — А ну, слазь!

— Да че, жалко? — шмыгнув носом, пробормотал я, лихорадочно соображая, даст или не даст водитель по шее.

— Мне не жалко, а вот она, — шофер похлопал по железной подруге, — не любит, когда в нее без спросу прыгают разные... Шантрапа! За вами глаз да глаз нужен. А если под колеса? Вот будет матери подарок. И мне.

Я понял: после этой воспитательной беседы он бить меня не будет — и спрыгнул на землю.

— Давай до Парашютки подброшу, — подумав секунду, милостиво разрешил он.

Оказалось, что шофер ехал на аэродром. Уже из кабины я неожиданно увидел полет доселе невиданной огромной птицы. Сделав круг, она догнала машину и неслышно приземлилась на ровное поле. Из нее вылез... мальчишка и махнул кому-то рукой. Мне показалось, что он пригласил именно меня подняться на этой фанерной птице в небо. Это было похоже на чудо: буквально рядом, в каких-то четырех-пяти километрах от Барабы, находится аэродром и там летают ребята, такие же как я!

— Хочешь записаться? — вдруг предложил шофер. — У меня здесь братишка летает.

Говорят, в жизни ничего не бывает случайным. Целый день, пока продолжались полеты, я провел на аэродроме, все расспросил, узнал, что нужно для того, чтобы стать планеристом. Но эта моя мечта едва не рухнула, и опять это было связано с Королем.

Он собрал нас — рёлкскую шпану — и повел в сад Томсона, который был известен на весь город тем, что там был опытный сад и в нем выращивали крупные сладко-кислые ранетки и груши. Полезли мы туда без спроса и через забор. Король, как всегда, остался на стреме — зачем рисковать, когда у тебя под рукой готовые на все огольцы? И здесь нас застукали. Меня, убегающего, уже в заборной дыре подстрелил солью сторож, и если бы не подоспевшая вовремя женщина, то добил бы прикладом.

Вместо занятий в школе пришлось сидеть, точнее лежать, дома. Мама вызвала врача, и та, осмотрев рану, только покачала головой, сказав, что я родился в рубашке: попади сторож чуть выше — быть мне калекой.

Бей первым, Федя!

Кошка скребет на свой хребёт, говорили на Рёлке. Срок в детской колонии я бы, точно, наскреб — все мог решить случай. И тут в моей жизни появился Федька Дохлый.

У отца была удивительная способность: к нему лепились разные люди, и всех он тащил в дом. Как-то раз он вернулся из тайги не один, а с худым как жердь пареньком. На первый взгляд мальчишка показался совсем взрослым, но потом выяснилось, что он старше меня всего на полгода. Федька Дохлый, так его звали, работал подпаском у скотогонов, которые перегоняли скот из Монголии. Федька привез пышные сарлычьи хвосты и мешок шерсти. Все это богатство он настриг буквально на ходу, когда везли овец и быков на «вертушке» — так назывался товарняк, на котором скот доставляли из Култука на мясокомбинат. Дохлый умудрился залезть через оконце в вагон и специальными крюками надрал шерсть с овец. А на другом перегоне обкорнал еще и сарлыков. Мама купила у него шерсть и предложила Феде пожить у нас.

Спали мы с ним на топчане за печкой. Именно от него я впервые узнал про Робинзона Крузо, графа Монте-Кристо и наследника из Калькутты.

Днем я уходил в школу, а Федька уезжал в город, продавал там сарлычьи хвосты, которые с удовольствием покупали городские модницы, чтобы сделать из них пышные шиньоны. Продав ходовой товар, он бродил по базару, приглядывал, где бы и что купить на вырученные деньги. Возвращался поздно, когда мама уже начинала беспокоиться, не случилось ли с ним чего.

И однажды все заработанные и накопленные деньги у него отняли на барахолке: подглядели, что у пацана есть монета, наставили нож и выгребли наличность. Переживал Федька потерю недолго. Еще с детдомовских времен у него осталась присказка: «Дают — бери, бьют — беги, отняли — не плачь, Господь все видит и знает, кого наказать и напрячь!»

Не надо было гадать: Федьку прозвали Дохлым за его худобу. Однако это была обманчивая внешность. Когда мы с ним пошли в баню и он разделся, я удивился: все его тело, казалось, было вылеплено из одних мышц. Дохлый мог свободно подтянуться на одной руке, на этой же руке сделать стойку. Не знаю, сколько он окончил классов, но читал бегло, книги заглатывал с ненасытностью удава. Особенно силен был в арифметике. А еще ему не было равных, когда он садился играть в карты. Федька показывал такие фокусы, что можно было подумать, что имеешь дело с настоящим шулером. При этом никогда не кичился своими способностями и всегда был готов прийти на выручку. Этим он покорила меня и рёлкскую ребятню окончательно.

На Пасху, после завтрака, когда мои родители уехали в город к маминому брату, мы вышли с ним погулять на улицу. Обитатели Барабы,

несмотря на то что этого праздника не существовало в официальных календарях, отмечали его так, как делали это их отцы и деды: красили яйца, пекли куличи, убирали избы, белили известью стены, украшали ветками пихты иконы. Мама говорила, что Первомай — это придуманный праздник, а вот Пасха — она была и будет всегда. Обычно к этому светлому дню мама готовила нам подарки: майки, трусы, рубашки, девочкам — платья. Утром мы садились за праздничный стол и разговлялись. А потом — кто куда: ребятя с крашеными яйцами — на улицу, родители — по гостям. Еще этот весенний день мы любили за то, что подвыпившие мужики вываливали на улицу и, вспоминая молодость, начинали подзуживать нас сыграть в чикю. Вот тут-то мы их и поджидали.

В той игре Дохлый не участвовал, он болел за меня. Накануне я объявил друзьям, что весь наш выигрыш пойдет на покупку футбольного мяча и волейбольной сетки. К тому времени мы решили создать уличную команду и даже название придумали. Мы — это Макаров, Оводнев, Ленька и Валерка Ножнины и я. Мы начали собирать деньги на форму, искали любую возможность, чтобы пополнить казну. Давали деньги и родители, понимая: пусть лучше гоняют мяч, чем лазят по заборам и чужим огородам.

В тот пасхальный день мне фартило, я обыгрывал всех. Для мужиков игра на деньги была развлечением, им просто хотелось потряхнуть стариной и показать, какими когда-то они были меткими и ловкими. Но прицел у них был уже не тот — почесывая затылки и посмеиваясь, они доставали из карманов все новую мелочь, а у самых азартных уже захрустели в руках трешки и пятерки. Первыми из игры ушли те, кто послабее и потрезвее.

Ссыпая мелочь в карман, я, уже не стесняясь, напевал распространенную в ту пору песенку:

О Чико, Чико!
 Ты посмотри-ка,
 Кто к нам приехал
 Из Пуэрто-Рико!

Для меня Пуэрто-Рико было далеким местом, где разворачивалось действие фильма «Мексиканец». Там молодой паренек-революционер проводил бой на ринге, чтобы добыть денег на революцию. Я ощущал себя барабинским Риверой, который зарабатывает деньги на футбольную команду и мечтает совершить революцию хотя бы на своей улице. Я уже мысленно подсчитывал выручку: денег вполне могло хватить не только на мяч, но и на сетку. Однако, как гласила мальчишечья мудрость, «не кажи гоп, не то схлопочешь в лоб». Когда душа уже летала в ритме танго, явился Король!

Он был пьян. Растролкав сгрудившихся вокруг кона мальчишек, Король сунул мне под нос горсть монет:

— Бери! Отдаю за так.

— Да у меня и своих хватает, — растерянно буркнул я и похлопал себя по карману.

Я понял, что Король хочет показать всем, кто на улице хозяин. В предместье он считался лучшим игроком в чику. Мы сами болели за него, когда он ходил на Мельницу, чтобы сразиться с Потрохом, которого так называли за умение потрошить чужие карманы. Король держался с ним на равных, если и проигрывал, то немного, чаще всего для понту, чтоб не набили морду: все-таки игра шла на чужой территории, где, как и повсюду, не любили слишком фартовых.

«Ну, коль нахлебался, чего выпендриваешься!» — с досадой подумал я, размышляя, что делать дальше. Передо мной встал выбор: продолжать игру или отдать Королю часть выигрыша и смыться. Мои дружки, поглядывая на меня, понимали, что я оказался в непростой ситуации. Откажусь — а так бы поступили многие! — претензий ко мне не будет. Король — он и в Африке король! Если же пойду до конца, то Король особо церемониться не станет. Поколебавшись немного, я решил: будь что будет, корову не проигрываю, а те монеты, что перекатываются у меня в кармане, еще недавно лежали в чужих.

— Ну чаво, играешь или?.. — И Король, что так не подходило его высокому званию, выругался.

Как и везде, на Рёлке главенствовал принцип — выживает сильнейший. Впрочем, среди подростков решающее значение имел прежде всего возраст и уже потом — сила. Сообразительность, ум, ловкость были важными, но не определяющими факторами. Мы жили по неписаным даже не правилам, а понятиям. Существовала уличная иерархия: младший должен подчиняться старшим. Как-то я схватился бороться с Толькой Имановым, который был старше на два года, и повалил его. Однако подвиг тот был оценен лишь мною, остальные сделали вид, что ничего не произошло. Более того, Иман при первой же возможности (и всеобщем равнодушии) постарался загнать меня на ту полку, которая была отведена с рождения. Бывало, и там случались послабления: они опирались на покровительство и авторитет старших братьев. У меня старшими были только сестры, хотя с появлением в моей жизни Дохлого он стал как бы старшим братом.

Сегодня, пытаясь заглянуть в то далекое время и понять, чего нам не доставало, а чего хватало с избытком, я осознаю: мы должны благодарить судьбу, что выросли не на городском асфальте, где хочешь или нет, но многое расчерчено и определено заранее — вот улица, вот бордюр, вот тротуар, светофор, который определяет время и направление движения. В городе улице полагалось переходить в определенном месте, лазить по заборам было неприлично — это можно было сделать только на Барабе. Зато здесь всем хватало места под солнцем, правила здесь были скорее обозначены, чем прописаны, и нарушались они с легкостью весеннего половодья, которое, не спрашивая, заливает дворы и огороды.

Заметив, что я колеблюсь, играть мне с Королем или бросить, Дохлый, приободряя, подмигнул, мол, давай, не дрейфь. Король играл хорошо, но бражка, которой он нахлебался, прежде чем выйти в люди, сделала свое дело: игра шла почти на равных, чаша весов клонилась то в мою, то в его сторону. И все же вскоре Король выудил из моего кармана почти весь выигрыш. Каждый бросок требовал очередной ставки. Если игрок отказывается от броска, то стоящие на кону деньги переходят в карман соперника. Перед тем как получить право на бросок, играющий кричит: «Варю!» Это означает, что он должен сделать дополнительную ставку, равную той сумме, что стоит на кону. В какой-то момент ни Королю, ни мне никак не удавалось накрыть шайбой кон и мы поочередно шли на новый бросок.

— Это тебе, сопля, не кур щупать, — щерился Король. — Тут нужно умение.

«При чем тут куры?» — думал я. — Мне бы наскрести на один бросок». Если бы я отказался от броска, то все деньги на кону перешли бы к Королю. Я видел: он млеет от преподанного урока, да и выигрыш солидной суммы грел его сердце.

И вдруг на помощь пришел Дохлый. Он сунул мне красненькую десятку, и я, получив право на бросок, накрыл кон. Зрители загудели.

— Несчитово! — закричал Король. — Ты заступил черту. Нужно повторить бросок.

— Король хлюздит! — выкрикнул мой дружок Олег Оводнев, которого все называли Алямусом.

Но Король так зыркнул на него, что Олег скрылся за спины пацанов.

— Ну что, бросаешь или я забираю кон? — спросил Король, уверенный, что я откажусь.

— Буду бросать, — ответил я, уже чувствуя, что добром эта игра не кончится.

— Покажи взнос, — потребовал Король.

Я показал десятку и, взяв шайбу, отошел на полметра за контрольную черту — так, чтоб это видали все и чтоб у Короля не было причин для придирки. В наступившей тишине я бросил шайбу. Едва она выпорхнула из руки, понял: бросок что надо. Металлический снаряд накрыл кон.

Как только я начал собирать монеты, Король неожиданно пнул меня по руке, и деньги разлетелись во все стороны.

— Нечего играть на чужие! — процедил он.

— А ну, собери! — вдруг сказал Дохлый.

— Чаво? — угрожающе протянул Король.

На Рёлке Дохлый был пришлым и ни в какие уличные табели о рангах не укладывался. Чужак — он и есть чужак, чего с него возьмешь? Сегодня он здесь, завтра — ищи ветра в поле. Все неписанные законы улицы были на стороне Короля.

Схватка между ними была короткой: неуловимым движением, привыкший иметь дело со степными скакунами и волками, табунщик бросил

Короля на землю — только мелькнули в воздухе башмаки. Такой развязки улица не ожидала. Однако и это не отрезвило Короля — он вытащил из кармана нож и пошел на Дохлого. Тот не заверещал, не бросился наутек. Напружинившись, он молча смотрел на приближающегося Короля, затем, мне показалось, с каким-то скучным видом, но с быстротой скакуна лягнул моргнувшего Короля, выбил из руки нож и коротким ударом в скулу уложил местного авторитета.

— Братан, наших бьют! — заорал Король.

Это было неслыханно! Сам Король запросил помощи у старшего брата, который сидел неподалеку на бревнах и попивал бражку. Если Король и был Королем, то в основном благодаря авторитету брата Мотани. Тот уже успел отсидеть в колонии для несовершеннолетних, и на Рёлке с ним старались не связываться. Ребятишки обычно рассыпались по домам, когда подвыпивший громила, пошатываясь, возвращался в свою халупу. На Пасху, Троицу, когда подгулявший народ выходил на улицу, чтобы в кругу друзей и знакомых отметить очередную «маевку» и похвастаться обновками, Мотаня с гитарой собирал вокруг себя мальцов, рассказывал про жите-бытье в зоне и, подыгрывая себе на «струменте», протяжно, с надрывом пел:

Я бежал с Магадана,
Слышал выстрел нагана,
Кто-то падал убитый,
И кричал комендант.

Дождик капал на рыло
И на дуло нагана.
Вохра нас окружила.
«Руки в гору!» — кричат.

Но они просчитались,
Окруженье пробито —
Нас теперь не догонит
Револьверный заряд.

До сих пор не пойму, как в наших головах уживались звучащие по радио песни про пионеров, детей рабочих, и что наша обязанность в жизни — стать героями нашего времени с тем, что мы видели и слышали на улице. Конечно, от всего, что окружало нас, шторой или занавеской не отгородишься. Когда случалось очередное ЧП и школе приходилось выгонять очередного ученика, то виноват, как правило, был тот, кого выгоняли. Однако мы не всегда с этим соглашались; жизнь доказывала, что понуждение человека не исправляло. Мы еще не доросли до того, чтобы спорить с учителями: пошушукаемся, поговорим меж собой — и побежали дальше. Единственным человеком, кому мы

могли доверить свои сомнения, была учительница истории Анна Константиновна.

После чьей-то выходки она сказала:

— Что поделаешь, бытие определяет наше сознание.

Катя возразила, заявив, что у миллионеров свое бытие, а у бомжей свое.

— Но к этой жизни у каждого был свой путь, своя история, — грустно улыбнулась Анна Константиновна. — Так устроен мир.

— А нам говорят: мы рождены, чтоб сказку сделать былью, — со всей прямоотой решил поддержать Катю я.

— Так в чем вопрос? Сделайте!

Все эти рассуждения и разговоры о справедливости мы понимали по своему и вытаскивали из заглазников такой аргумент: есть костюм на выход, а есть уличная одежда для повседневности. Каждой одежде — свое время и место. Вот оно, наше бытие.

...На крик Короля Мотаня среагировал быстро. Он приподнялся, отложил в сторону гитару и крупными шагами направился в нашу сторону. Дохлого он не знал, зато хорошо знал меня. Ведь именно мне он однажды чуть не оторвал ухо за такую частушку, которую я спел, когда он проходил мимо:

Я Мотаню драл на бане,
 Драл его с припевочкой:
 «Ты поплачь, поплачь, Мотаня,
 Уж не будешь целочкой».

Вся уличная шпана, увидев разозленного верзилу, сыпанула кто куда. Рванул домой и я. Выкрикивая ругательства, Мотаня бросился следом.

На улице существовало правило: если ты забежал к себе в ограду, то погоня прекращалась. Но Мотаня вошел в раж, ногой высадил калитку, затем выбил дверь в сени. Дверь в дом сразу не поддалась, однако я видел: еще немного — и он вырвет крючок. И тогда я открыл сам. В темном проеме показалась бульдожья рожа; увидев меня, Мотаня усмехнулся. Дома никого не было, и я как парализованный растерянно смотрел на пьяного громилу. Тут за его спиной внезапно нарисовался Дохлый. Круглым поленом он что есть силы вмазал Мотане по башке. От удара кепка съехала тому на нос, глаза скрылись под козырьком, он начал медленно поворачиваться. Дохлый повторил — попытка оказалась удачнее и Мотаня стал оседать.

— Чего стоишь, беги! — крикнул Дохлый.

Я перепрыгнул через Мотаню, успел заметить переломанную пополам сенную дверь и, подгоняемый ревом раненого зверя, выскочил во двор, потом на улицу и что есть мочи припустил в ближайший переулок. Следом бежал Дохлый. Выглянув из-за угла, мы увидели, как по-

казался Мотаня и, матюкаясь и держась рукой за голову, побрел в свою сторону.

Кто-то из взрослых посоветовал сбегать за милиционером, но я подумал, что Мотаню, скорее всего, не посадят, а вот последствия для меня и нашей семьи могут быть непредсказуемыми. Говорили, что для него зарезать человека — все равно что отрубить петуху голову.

— Ну, ты не дрейфь, — сказал Дохлый. — А вот мне, похоже, надо делать ноги.

Напевая песенку про Чико, он быстрым шагом свернул в переулок и по тропинке побежал к тракту.

Я вернулся в дом. Мотаня опрокинул кухонный стол, на полу валялось погнутое ведро, порушенная табуретка, стекла от разбитого стакана и выбитого окна. Я собрал осколки, затем начал тесать перекладки для сенных дверей, чтобы вставить их вместо сломанных. Все это время мои друзья смотрели за улицей, чтобы дать знать, если вновь появится Мотаня. Но неожиданно явился Король.

— Скажи Дохлому: братан его поймает и отрежет яйца, — глухим, наполненным злостью голосом процедил он.

— А Дохлый велел передать: пусть Мотаня бережет свои, — ответил я. — Он пообещал прийти на Рёлку с друзьями-скотогонами.

При упоминании скотогонов Король сглотнул слюну и побелел. Предостережение было серьезным: скотогонов в предместье старались не трогать. Гонять скот из далекой Монголии вызывались самые отчаянные. После сдачи скота они поселялись в мясокомбинатовской общаге и, ожидая расчета, гуляли так, что вся Бараба, прижав уши, сидела по домам. Между местными и скотогонами порой случались кровавые стычки, в основном из-за барабинских девчат.

«Найти и не сдаваться!»

Шекспир заметил, что жизнь — театр и все мы в ней актеры. Плохие или хорошие — не нам судить. В то далекое время мы просто жили, а не играли. Хотя уже присматривались друг к другу, кто и на что способен. Первой нашей публичной площадкой, конечно же, была спортивная. На ней каждый был как на ладони. И уже тогда можно было определить, от кого чего можно ждать: кто пойдет в Брумели, а кто в зрители. Одна площадка была мобильной: она разворачивалась то на улице, то на футбольном поле, то в клубе, а летом — на Ангаре. Другая, стационарная, находилась в школе. Там были свои герои, ведущие актеры и исполнители. Именно в школе я узнал про театральный кружок. Его придумала Катя. И название спектаклю придумала: «У тебя все еще впереди, Валерка».

На главную роль Катя Ермак предложила меня: имя совпадало да и многое другое. Я должен был играть хулигана, который пропускает уроки, лазит по садам, пререкается с учителями. И который потом под

влиянием класса и пионервожатой (ее роль взяла на себя Катя) исправляется.

— Ты уже в этой роли, — уговаривала Тимофеевна. — Мне кажется, ты сможешь. Наша задача — исправлять ребят, в том числе при помощи искусства.

И неожиданно для себя я согласился. Только из-за того, что моего воспитателя будет играть она. Еще Катя сказала, что Анна Константиновна разглядела во мне не только поэта, но и актера, когда я, отвечая на уроке, взял себе в помощники Пушкина и Шекспира, чтобы произвести впечатление.

О Рёлка, дивное виденье,
 Тебе мое негромкое почтенье!
 Здесь нету грязи Барабы,
 Но не уйдешь ты от судьбы.

Тупой разгул
 Позорит нас среди других,
 Все наши добрые дела
 Коту под хвост и на погост...

Тут я запнулся, класс притих и, мне показалось, стал с осуждением смотреть на меня: мол, еще один доморощенный рифмоплет выискался. На лице Анны Константиновны застыла строгость и удивление. Я потерялся окончательно.

— И это все? — уже другим, мягким голосом спросила она.

— Нет, еще есть концовка.

— Так что же, читай!

И я скороговоркой, запинаясь, выпалил:

Два чувства дивно близки нам —
 В них обретает сердце пищу:
 Любовь к родному пепелищу,
 Любовь к отеческим гробам.

Анна Константиновна встала, подошла к окну и, помолчав немного, тихо начала читать:

Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Дстойно ль
 Смиряться под ударами судьбы,
 Иль надо оказать сопротивленью
 И в смертной схватке с целым морем бед
 Покончить с ними? Умереть. Забыться...

Мы впервые услышали знаменитый монолог Гамлета в ее исполнении. Вообще, Шекспира в школьной программе не было, томик с его пье-

сами мне попался случайно, когда мы залезли на толевую фабрику. Там, на складе, я выцарапал из тюка свезенные для переработки на рубероид, списанные из библиотек старые книги. Среди них оказался Шекспир.

Анна Константиновна умела построить урок так, что мы ловили каждое слово. Ее предмет стал для меня любимым. Катя же ее просто боготворила. Много позже я узнал, что Анна Константиновна была выпускницей Смольного института, но по вполне понятным причинам об этом не говорила. В Иркутск Анна Константиновна попала еще в войну: ее уже в преклонном возрасте вывезли из блокадного Ленинграда, да так она и осталась в Сибири. И судьбе было угодно занести ее на Барабу. Волны великих переселений: сначала Столыпинская реформа, благодаря которой мои родители оказались в Сибири, затем революция и, наконец, Отечественная война — выплеснули много новых людей. И к нам попали не только бандеровцы, но и приличные люди.

О том, что я на уроке истории читал Пушкина, стало известно учителю русского языка и литературы Марии Андреевне. Получив тетради, где мы писали сочинения, я увидел жирную единицу. Отсутствие точки в конце предложения — такая же ошибка, как и другие. Далее следовала приписка: «Александр Сергеевич знал, что каждое предложение должно заканчиваться точкой». Урок был жестким, но все по делу. Действительно, я не поставил в конце предложений одиннадцать точек.

Мария Андреевна тоже была из приезжих. Однако той взаимности, которая сложилась с Анной Константиновной, с Марией Андреевной у нас не получилось. С первых же уроков она начала рассказывать, какими замечательными были ее прежние ученики и какие у нее нехорошие впечатления от нашего предместья. Мы и не ждали, что она будет хвалить нашу школу, Барабу. В своих стихотворных опытах я как раз и говорил, что все хорошее тонет в окружающих болотах. Была у нее еще одна особенность: если ей хотелось приструнить хулигана, то она не церемонилась и грозным фельдфебельским голосом командовала:

— Козлов, встань столбом!

— Мария Андреевна, я бы даже если захотел, столбом стать не могу, — язвил Козлов. — Наверное, вы хотели сказать — козлом отпущения?

— А я слушаю твои сентенции с отвращением, — ставила на место языкастого ученика Мария Андреевна.

— Да что вы все из пустого в порожнее... — огрызался тот.

— Козлов! Завтра же приведешь в школу родителей!

— А у меня их нет! — кривя губы, бледнел Козлов. — Мы, уважаемая, детдомовские.

— А что, детдомовским можно паясничать и хулиганить? — не сдавалась русичка.

— Но и орать на нас не надо! И на вас есть управа. — Помолчав, добавил: — Сегодня же напишем письмо в районо.

Точно налетев на столб, Мария Андреевна замолчала: бывает, что у самых отлаженных механизмов случаются сбои. Действительно, в запале она упустила маленькую деталь: месяц назад в класс пришло пополнение — группа детдомовцев, ребят крепких, спортивных и независимых. Козлов был одним из них. Конечно, торчать столбом — занятие неприятное. Но отмена наказания была для учителя равнозначна капитуляции.

— Сядь пешкой, — милостиво разрешила она.

Все столбы да пешки
 Марье на орешки
 Подают с утра.
 Наша жизнь прекрасна.
 Скажем ей ура!

Эти строки я как-то перед уроком написал на доске. И получил очередное разбирательство на грамотность.

Приходила Мария Андреевна и на наши репетиции. Тогда я почти не обращал внимания на возраст учителей. Они доставались или передавались нам как бы по наследству. Как человек новый, Козлов дал оценку некоторым преподавателям: льют из пустого в порожнее. Тот его спор с Марией Андреевной приоткрыл для нас очевидное. Отношения ученика и учителя — улица с двухсторонним движением. Да, были и такие, которые, отбыв с нами свой срок, куда-то пропадали. Разумеется, они нас о чем-то спрашивали, проверяли тетради. Были вроде кондукторов в автобусах — мы их принимали как неизбежность и расставались без вздохов и сожалений. А Мария Андреевна запомнилась! Была она молода, энергична. Следуя моде той поры, хорошо, со вкусом одевалась и, надо добавить, следила за всеми литературными новинками. Конечно же, она не могла пройти мимо придуманной Катей идеи со школьным театром.

Послушав наши с Катей монологи, она, раздумывая, побарабанила пальцами по столу и сказала, что лучше бы нам взять для постановки Владимира Маяковского. Например, его стихи о советском паспорте. Или Самуила Маршака. И с чувством прочитала несколько его строк, которых не было в школьной программе:

Мистер Твистер,
 Бывший министр,
 Мистер Твистер,
 Делец и банкир,
 Владелец заводов,
 Газет, пароходов,
 Решил на досуге
 Объехать мир.

Катя выслушала и сказала, что мы обязательно сыграем Маяковского. Тогда я подивился не только ее дипломатической дальновидности, но и умению в нужный момент не стоять перед Марией Андреевной столбом или сидеть пешкой. Мне даже показалось, что это был разговор взрослых, знающих себе цену женщин.

Дождавшись, когда Мария Андреевна уйдет, мы продолжили разучивать роли. Известно давно: совместное дело объединяет людей. Мы переписывались с Катей на уроках и даже начали ходить в кино, чтобы лучше, как она говорила, разбираться в игре актеров и поднимать наш уровень. Обычно ходили всем классом. За короткий срок посмотрели «Последний дюйм», «Балладу о солдате», «Два Федора». Особенно поразил фильм «Судьба человека». В основном ленты были про войну.

Белое полотно клуба открывало нам окно в иной мир. В зале гас свет, шум прекращался, пускали кинохронику, потом следовал небольшой перерыв. И начиналось главное: с экрана в зал ползли танки, под военные песни мчались домой эшелоны с солдатами. Буквально с первых кадров становилось понятно: вот наши, а вот приспособленцы, враги и проходимцы. И нам, в отличие от героев фильма, все было ясно — за кого болеть и чью принимать сторону. После просмотра хотелось тут же занять место солдата и бить из бронебойки по немецким танкам. Или посадить самолет, как это сделал мальчишка в «Последнем дюйме».

Помню, после картины «Судьба человека» кто-то из одноклассников похвастался:

— Я бы тоже выпил не закусывая, как Соколов, бутылку шнапса, чтобы доказать: мы всё пропьем, но Барабу не опозорим!

— Нашел чем доказывать, — усмехнулась Катя. — Соколов выпил, чтобы выжить, а не напиток.

Я тогда промолчал. Мама все время ругала отца за то, что он, когда их приглашали в гости, стеснялся и почти никогда не закусывал.

Катя брала с собой в клуб и на репетиции бутерброды. Для нас такая щедрость была в новинку, и я отказывался от угощения. Я чувствовал: Кате нравится угощать, да ничего с собой поделаться не мог. И все же было приятно, что она обо мне заботится. Мне она нравилась и без бутербродов: вот так сидеть рядом в клубе, затем вместе идти, разговаривать и не замечать времени и всего, что нас окружало. Я любил слушать ее рассуждения об очередном фильме. В игре актеров она находила то, мимо чего наше сознание пролетало, даже не зацепившись. Мне запомнились события или, как сейчас говорят, экшен — она больше обращала внимание на слова, с какой интонацией и в какой момент они произнесены. «Откуда в ней это? — думал я, возвращаясь домой. — Смотрели один и тот же фильм. Она видела одно — мне запомнилось другое».

Как-то перед походом в клуб я намочил голову и зачесал волосы коком. Увидев меня с новой прической, Катя рассмеялась:

— Совсем как Жерар Филипп!

О существовании Жерара Филипа я даже не подозревал и отложил себе в память: надо обязательно узнать, кто такой.

В клуб и на репетиции Катя приходила в строгом черном костюме, который, я думаю, брала у матери, и в белой блузке. Этот наряд ей очень шел, и когда она появилась в нем первый раз, то я был ошарашен.

— Нравится? — улыбнувшись, спросила она.

— Не то слово! — выдохнул я. — Ты как из кинофильма.

По замыслу Кати, финальный диалог главных героев должен был происходить на Лобном месте. И почти вся пьеса звучала в стихах. Она читала первые две строфы, я — последующие. Получалось даже очень неплохо.

В путь, друзья, еще не поздно новый мир искать.
 Садитесь и отчаливайте смело... —

начинала она. Я тут же подхватывал:

...Средь волн бушующих; цель — на закат.
 И далее туда, где тонут звезды.
 А там, быть может, доплывем до Островов.

Здесь передо мной каждый раз возникала картина островов Любашка, Конский, что располагались в устье Иркутки и где мы добывали уплывающие с лесозавода топляки. Доплыть до них, особенно когда река была на прибыли, было непросто: течение норовило снести в Ангару, а там, мы знали, могло запросто свести судорогой ноги.

Я частью стал всего, что мне встречалось;
 Но встреча каждая — лишь арка, сквозь нее
 Просвечивает незнакомый путь, чей горизонт
 Отодвигается и тает в бесконечность...

Я читал очередное четверостишие, почему-то оно вызывало у меня тревогу: ну закончу я школу, а что дальше? Куда идти, что делать? Я пытался представить: кем стану и что такое для всех нас бесконечность?

...В былые дни меж небом и землею.
 Собою остались мы; сердца героев
 Изношены годами и судьбою, —

продолжала Катя. А я произносил заключительные строки:

Но воля непреклонно нас зовет
 Бороться и искать, найти и не сдаваться.

Последняя фраза была из кинокартины «Два капитана», на которую мы с Катей ходили несколько раз. Она отыскала весь текст стихотворения; позже я узнал, что оно принадлежит английскому поэту Теннисону. Для меня же самым важным было то, что главную героиню фильма тоже звали Катей.

Катя попросила нашего школьного художника Тольку Лыкова, и он на ватмане большими красными буквами написал: «Лобное место», обозначил купола собора Василия Блаженного и внизу нарисовал сам памятник.

— И здесь тебе отрубят голову, — пошутил он, передавая театральный реквизит.

Ее «отрубили» гораздо раньше, чем я предполагал.

В один из походов в кино я пригласил за компанию Дохлого. Катя ему понравилась — это я понял сразу. Он сбегал в киоск, принес мороженое и, чего я совсем не ожидал, вытащил из-под куртки букетик астр и протянул Кате.

Катя засияла. Сунув носик в букет, она глянула на Дохлого, затем перевела взгляд на меня:

— Учись, тебе это пригодится.

Я не враз разгадал, откуда появился букет. Лишь поразмыслив, понял, что Дохлый срезал цветы с клумбы возле проходной мылозавода, там, где были вывешены портреты передовиков производства. Но выдавать друга не хотелось, и я, насупившись, стал отламывать хрустящую корочку от мороженого и скармливать ее скачущим вокруг воробьям. Проводив после кино Катю, мы пошли домой.

— Нас учат не тому, что пригодится в жизни, — заметил Дохлый, поглядывая на сопровождающих нас воробьев. — Нет, конечно, надо уметь считать, писать — только, как я убедился, не то и не те законы преподают в школе.

— А какие надо? — спросил я.

— Бей первым, Федя! — засмеялся Дохлый. — Если тебе уже врезали — пиши пропало: ответить будет некому. Еще один закон: дают — бери, бьют — беги.

— Ну, этот знают все, — протянул я. — Еще: кто не успел, тот опоздал.

— Верно, так оно на деле и происходит. А вот знаешь, какой самый главный закон в жизни?

— Какой?

— Выживает сильнейший.

— Не сильнейший, — поправил я. — Наглейший.

— Что ж, наглость — второе счастье, — оживился Дохлый. — Но мне оно не по нутру. Хитрость — это способность ума, а ум — инструмент, он должен быть отточен.

Спорить с Дохлым было сложно. Его практический опыт был во много раз больше моего. Да и за словом он в карман не лез, на все случаи жизни была припасена своя присказка.

— Это так, — согласился я. — В жизни надо знать как можно больше.
 — Всего знать нельзя. Надо знать главное. Чего нет, того нельзя считать.

— А вот ты закон Бернулли знаешь? — После случая с цветами для Кати я решил ни в чем не уступать ему.

— Что за закон?

— По этому закону все самолеты, все птицы летают. Это зависимость между скоростью и давлением в потоке.

— Больше народу — меньше кислороду, — среагировал Дохлый. — А еще есть закон бутерброда.

— А, знаю! — догадался я. — Это когда хлеб падает всегда маслом вниз.

— Если ты забыл зонтик, то обязательно пойдет дождь.

— У Кольчи-электрика свой закон. — Я перевел разговор в нужную мне сторону. — Он утверждает, что у электричества два недостатка: когда нужен контакт, его нет, когда не нужен — есть.

— Верно! — засмеялся Дохлый.

— Есть еще замечательный закон, — добавил я. — Его я прочел у Экзюпери. Он говорил, что мы все родом из детства и мы в ответе за тех, кого приручили. Он был летчиком. А еще мне нравятся латинские изречения. Например: «Пришел, увидел, победил».

— И наследил, — отозвался Дохлый.

— Дура лекс, сэд лекс. Закон суров, но это закон.

— Велика Федора. Но дура, — смеялся Дохлый. — Мало друзей у личности, больше у наличности.

Надо сказать, Дохлый читал много, и что скопилось и отлежалось у него в голове — неизвестно. Спорить и состязаться с ним было одно удовольствие.

— Ты куда собираешься после школы? — неожиданно спросил Дохлый.

— Буду токарем. Или кузнецом.

Он скривил губы: не впечатлило.

После девятого класса у нас была месячная производственная практика и я попросился, чтобы меня отправили на мясокомбинат в кузню. Мы с Вовкой Сулеймановым решили там поднакачать мышцы. На обед кузнецы приносили пельмени, колбасу. Они запирали двери, ставили на горн ведро с водой — когда вода закипала, сыпали туда из коробок пельмени и через несколько минут приглашали за стол. Ели мы хорошо, и все же молотобойцев из нас не получилось. Работы было немного. Ну, пару раз мы смотрели, как подковывают лошадь. И все. Бить молотом по раскаленному металлу оказалось непросто: здесь нужен был точный, но совсем не сильный удар.

— Ну чего вы лупите, как по врагам народа? — ворчал седовласый кузнец. — Мягче надо, точнее!

Тогда я решил перейти в мастерские. Там работал друг отца Митча, он сказал, что быстро сделает из меня токаря. Кузнецы отпустили меня с неохотой: я был легок на ногу и они частенько отправляли за пол-литрой. Токарное дело я, действительно, освоил быстро. Митча давал заготовки, и я, как заправский токарь, обтачивал их. По окончании практики даже выписали премию, которую я потратил на ремонт велосипеда. Но больше всего радовался конусам, которые Митча выточил для велосипеда. Моя работа на мясокомбинате имела продолжение: после окончания школы, перед выпускными экзаменами, к директору пришел начальник отдела кадров и попросил направить меня работать в мастерские.

Сказав Федьке Дохлому, что хочу стать токарем, я лукавил. Когда задавали сочинение на тему «Кем бы я хотел стать», я написал, что хочу быть геологом. А на самом деле мне мерещилось летное училище, но я боялся спугнуть мечту.

Планерный кружок в моей жизни появился неожиданно. Таких, кто бредил авиацией, в классе оказалось пятеро: Вовка Савватеев, Сашка Волокитин, Витька Смирнов, Герка Мутин и я. Действовал кружок при авиационном заводе, неподалеку от той самой Парашютки, где я впервые увидел летящий планер. С нас потребовали справки: медицинскую, об успеваемости и комсомольскую характеристику. Последний документ написала Катя. И я с удивлением узнал, что у меня есть «несомненная склонность к гуманитарным предметам». «Надо же! Увидела то, чего я и сам не подозревал, — подумал я. — Только в кабине планера сцены не предусмотрено. Вот если бы я подавал заявление в театральный...»

Эту характеристику прочли и забыли. Ходить в планерный кружок было далеко — через поле, через отвалы и превращенные в свалки буераки. Там, как говорили, в норах и времянках прячутся бездомные бандиты. Но нас, выросших не в пробирках и колбах, это обстоятельство не смущало. Занятия проходили по вечерам, мы топали в кружок после уроков, а возвращались домой за полночь. Возле скотоимпорта пути пацанов расходились. Особенно неприятно было идти одному по заснеженному полю, где за каждым кустом чудился притаившийся бандит...

— А кем ты хочешь стать? — спросил я в свою очередь Дохлого.

— А я уже стал.

— Кем?

— Я хочу жить так, как я хочу: не занимать, не просить, не заискивать. Пусть лучше меня просят.

— Это же не профессия.

— Я построю дом, привезу в него сестру, а сам уеду. Хочу мир посмотреть.

Мир! Мой мир пока что простирался недалеко. Летом несколько раз ездил на станцию Куйтун к бабушке, с отцом на машине — к тетке в Заваль. Еще были ежегодные поездки на Байкал и далее по монгольскому тракту в Тункинскую долину. Туда мы отправлялись с отцом собирать ягоды: семья большая, жили мы бедно и тайга была хорошим подспорьем.

Лобное место

Мы еще раза два вместе с Катей сходили в клуб. Но потом что-то пошло не так, на уроках Катя стала прятать от меня глаза. Причину я нашел быстро; Олег сообщил, что видел ее в кино с Дохлым. Я сильно расстроился, даже потерял сон. Со злости решил больше не посещать репетиции и вообще не разговаривать с Катей. А Дохлый каков — еще другом называется! Была бы в предместье другая школа — я бы точно перевелся туда.

Один из моих лучших друзей Вадик Иванов неожиданно ушел из школы и поступил в ремесленное училище, которое находилось при авиационном заводе. Поздним вечером явился ко мне домой в ремесленной форме и стал рассказывать, как там хорошо и интересно. «А может, и мне пойти в ремеслуху?» — мелькнуло в голове. Когда мы с Вадиком распрощались, я заявил маме, что тоже хочу в ремесленное.

Подумав, она ответила:

— Воля твоя, но ремесленное от тебя никуда не уйдет. А если хочешь чего-то большего — учись дальше. Пока мы живы и здоровы. Кто знает, что будет потом?

Мама как в воду смотрела: когда я оканчивал школу, не стало отца. И неизвестно, как сложилась бы жизнь, пойдя я в первый класс годом позже, как предлагала завуч Евгения Иннокентьевна, узнав, что мне еще нет семи лет. Мама тогда настояла, и я подтвердил, что буду учиться на одни пятерки.

У Вадика в ремесленном дела пошли в гору, его хвалили и даже вывесили его фотографию в училище и военкомате — как лучшего призывника. Моя же жизнь пока текла все тем же привычным порядком: дом, школа, летом — огород, почти ежедневные походы на Ангару, игры в футбол.

И тут появилась Катя со своим театром. Театр я принимал, а вот Дохлого рядом с Катей принять никак не мог. Уж лучше бы он крутил и стриг сарлычьи хвосты в Монголии! Злость — плохой советчик. Нездаром Анна Константиновна говорила: «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав». Дальше все покатилося по законам жанра: я рассорился с Катей. Произошло это некрасиво, хотя кто скажет, что ссоры бывают красивыми? Некоторое время обиду я держал при себе. Да, переживал, но терпел. А потом прорвало.

Во время репетиции, когда я не смог вспомнить заученного текста и начал куражиться и представляться, она вдруг, поглядывая на меня, как показалось, с жалостью взрослого человека, продекламировала:

Ты посмотри-ка,
Кто к нам приехал
Из Пуэрто-Рико!



Я решил не оставаться в долгу и, вытянув вперед нижнюю челюсть, почти прорычал:

Мы ползем по Уругваю —
 Ваю-ваю!
 Ночь хоть выколи глаза.
 Слышны крики: «Раздевают!»
 Ой, не надо, я сама!»

Она подошла и зажала ладонью рот: мол, лучше помолчи со своими блатными замашками. Я схватил ее за руку, и мы вроде шутя, а потом всерьез начали бороться. Неожиданно она, сделав подножку, повалила меня на пол. Все засмеялись. Выкрикивая что-то обидное, я выскочил из класса и с этого дня перестал посещать репетиции.

Через несколько дней на школьной перемене Катя, преградив дорогу в мое сиюминутное будущее, как ни в чем не бывало сказала с улыбкой:

— Ты не дуйся! И приходи на репетицию. А если хочешь, вечером можно в кино. На мылозаводе показывают «Кортик».

Я хотел ей пропеть в ответ песню Бена из «Последнего дюйма». И даже вспомнил нужные слова: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня?» Но, натолкнувшись на растерянный Катин взгляд, пробормотал:

— Мне сейчас некогда. Я записался в планерный кружок. Хочу летать.

Сам того не желая, я выдал Кате свою затаенную мечту.

— Молодец, — сделала паузу, похвалила она. — Но там нужны здоровые и крепкие ребята. Тебе всерьез надо заняться спортом, подтянуться в учебе. И не лазить по вагонам и садам.

Сказала она это так, точно знала про меня все надолго вперед. Помолчав, добавила:

— А мы скоро уедем.

— Куда? — опешил я.

— Отца переводят служить в другое место. Мы уже начали собирать вещи. Только ты об этом никому не говори.

Я кивнул, хотя прекрасно знал, что предместье любило тайны, но не умело держать их в секрете — ни свои, ни чужие. Вскоре о том, что Катя уезжает, не говорил разве что ленивый. Для всех она была не только красивой девочкой и старостой класса. Появление Кати сделало нашу жизнь не такой серой, и мы могли смело заявить: посмотрите, к нам приезжают аж из самого Львова! И тут на тебе, остались без последнего козыря.

После окончания девятого класса Катя, действительно, ушла из школы. Зенитную батарею передислоцировали, а Катиного отца отправили служить в Группу советских войск в Германии. Запомнилась последняя линейка, где покидающие школу были построены отдельно. Тимофеевна стояла с краю в строгом черном костюме и белой блузке — красивая, независимая и почти взрослая. Мне тогда казалось, что теперь она свободна

от былых привязанностей, свободна от нашего школьного двора, от всех нас, остающихся в привычной школьной упряжи. Да, тогда так казалось.

Кто-то из малышей побежал по кругу с колокольчиком. Катя подходила к каждому и, вытирая слезы, что-то говорила. Слезы на щеках Тимофеевны — это было так непривычно, что многие тоже прослезились. Наконец она подошла ко мне и, улыбнувшись, тихо, чтоб слышал только я, пропела:

О Чико, Чико!
 Ты посмотри-ка,
 Кто к нам приехал
 Из Пуэрто-Рико!
 Ах, с Рёлки Лера
 Почти пилот...

И неожиданно поцеловала в щеку. Помахав всем оставшимся в строю, Катя ушла — вроде ее и не было вовсе. Но в моей памяти она осталась такой, какой я ее видел на последней линейке. И на всю жизнь запомнились ее слова, что мне надо делать дальше. Сама того не зная, Катя начертала жизненную программу, которую я начал воплощать.

«Барабинская стенка»

Место под футбольное поле мы долго подыскивали с Олегом Оводневым и пришли к выводу, что лучше всего подходит бывший плац, где на вечернюю поверку строили солдат зенитной батареи, в которой служил Катин отец. Для меня в этом был особый смысл: здесь вновь оживала память о Кате, о том времени, когда мы вместе ходили в кино и разучивали пьесу, в которой я так и не сыграл главную роль.

Поле ровняли всей улицей, нам помогали даже Катины подружки. Между ними, оказывается, шла активная переписка. Много позже я узнал, что Катя в письмах просила их помочь. Разровняв и увеличив поляну до размеров футбольного поля, мы поставили штанги, повесили сетки, сделали разметку. И к нам стали приходиться и приезжать со всего предместья, более того, на нашем поле мы провели несколько игр с городскими командами. Именно здесь, на спортивной арене, во время товарищеских игр были налажены нормальные отношения с ребятами, с которыми раньше мы враждовали. Жить осажденной крепостью надоело, а постоянные стычки омрачали жизнь.

То последнее беззаботное лето я провел на нашем самодельном футбольном поле, там я готовился к соревнованиям, метал диск, копье, прыгал в длину и высоту и даже пробовал прыгать с шестом. И конечно же, почти каждый день гонял мяч. Как-то отец пошутил, что если бы ту энергию, которую я затрачиваю гоня мяч и ровняя поле, направить в нужное русло (а, по его мнению, это были работы в доме или на огороде), то мне бы цены не было.

На что мама возразила:

— Детство один раз в жизни бывает, потом еще успеет напахаться. К тому же он ни разу не отказывался от поездок в тайгу по ягоды.

Мама нас жалела. Сегодня я все чаще думаю: а мы жалели ее?

Отыграв очередную игру, мы шли купаться на карьер или на Большанку — так называлась протока Иркута, впадающего в Ангару. А вечером собирались в штабе. Соорудили мы его в кустарнике неподалеку от футбольного поля. На песчаном холме вырыли глубокую пещеру, обили ее досками. Кулик принес буржуйку и шахтерскую лампу, Дохлый приволок из общежития кровать и матрасы. Доски и бревна для постройки штаба мы взяли у знакомого бакенщика. Он промышлял бревнами, которые во время сильных наводнений уплывали по Иркуту с лесозавода. Иногда он давал Дохлому лодку, и мы, поднявшись на шестах вверх по реке, причаливали к боновым заграждениям. Углядев плывущий топляк, бросались за ним, как хорошо натасканные легавые за подстреленными утками. Вбивали в топляк скобу с бечевкой, заводили его под боны и затем, собрав плот из нескольких бревен, сплавливали вниз по течению. Бакенщик давал нам, как он говорил, на молочишко, затем припрятывал бревна в заросшие камышом Курейки, а позже распиливал их на циркулярке и продавал.

В те годы на Рёлках и Барабе строились многие, и желающие приобрести пиломатериал стояли у него в очереди. Таким же очередником был и мой отец, когда мы решили построить новый дом. А несортные, тонкие бревна бакенщик отдавал пацанам: одни пошли на строительство штаба, другие пригодились для изготовления штанг, которые мы вкопали на футбольном поле.

Штаб получился просторным, особенно хорошо в нем было, когда на улице шел дождь. Внизу мы вырыли глубокий подвал с отдельным выходом на другую сторону холма, сделали это по всем канонам фортификации. Если бы нас в штабе застукали, то по подземному ходу, который замаскировали дерном, мы могли уйти незамеченными.

— Тут у вас бункер, как у бандеров, — сказал Борька Черных.

— Сам ты Бандера! — осадил его Вадька Куликов.

— Парни, а в нем можно зимовать, — заметил Дохлый. — У вас то есть свои берлоги. Вы не будете возражать, если я обоснуюсь здесь? А на следующее лето построю рядом дом.

В штаб мы решили перенести часть библиотеки, которая размещалась в сарае Олега Оводнева. Постоянное хождение ребят раздражало его мать, и самые ходовые книги мы перетащили в штаб. Туда же принесли рыболовные принадлежности, сковороду, кастрюлю, металлические кружки, ложки и тарелки, топоры, пилу, лопаты и другой необходимый инвентарь. На деревянной стене вывесили график дежурств.

Тогда казалось: весь мир принадлежит только нам. Вся доступная информация о мире, в котором мы пребывали, складывалась в основном

из того, что видели наши глаза. Но параллельно существовал иной мир, который мы держали где-то в себе. Все, что мы к тому времени несли в себе, складывалось как книга, от строчки к строчке, от события к событию. Порою ее писала улица, что-то мы получали в школе. Был еще дом, разговоры и оценки взрослых. Со временем эти оценки меняли свой вес и значение.

Память избирательна, она сохраняет не все — только самое яркое и значительное. События надвигались на нас, как машины на перекрестке, только успевай поворачиваться: полет Гагарина, высадка кубинских наемников на Плайя-Хирон, победа сборной СССР по футболу на Кубке Европы. И конечно же, победа Валерия Брумеля над американцем Джоном Томасом в прыжках в высоту. И даже среди этого потока сногшибательных новостей я оставлял в своем сердце место для воспоминаний о Кате. Ее участия, разговоров после уроков, походов в кино мне не хватало. Когда она пыталась создать школьный театр, то как бы приоткрыла занавес: смотри, сколько интересного и полезного можно найти даже здесь, в нашем захолустье!

Кстати, и Катя же как-то после урока физкультуры, где мы вместе с девчонками гоняли мяч, сказала, что было бы неплохо кроме собственного театра еще создать футбольную команду. И вот она уже была, и мы даже ездили на железнодорожную станцию играть с деповским «Локомотивом». Вадик Куликов предложил назвать нашу команду — «Барабинская стенка».

— Солидно, крепко, не прошибешь. Всем сразу ясно: ребята что надо! — И, улыбнувшись, вспомнил Лермонтова: — Уж мы пойдем ломить стеною!

На том и порешили. Но после первого же крупного разгрома вратарь Валера Ножнин в сердцах выкрикнул:

— Да никакая мы не стенка, а обыкновенный дырявый забор!

И название прилипло. Куда ни приедем, нас встречают ухмылками: что, и «Дырявый забор» здесь?

Говорят, поражения учат. Учат, да еще как! Мы собрались, помозговали: нужны деньги. В первую очередь на футбольный мяч, потом на форму: майки, трусы и гетры. Деньги мы решили заработать сами. И пошли по дворам и околоткам, предлагая пилить бревна. После стали собирать и сдавать металлолом, кости, макулатуру. Попутно пополняли книгами нашу библиотеку. Катя оказалась права: кино, театр, хорошие книги, занятия спортом отвлекают от хулиганства и направляют мысли в нужную сторону.

Вспоминая то время, могу сказать, что мы жили по законам ребячьей республики, где все было по-честному: уж если сказал, то делай. Помогал нам и Дохлый. Когда ему было предложено пасти коров, он согласился и привлек нас.

— Давайте, ребятки, со мной, — сказал он. — Я возьму вас на свой кошт. Будете подпасками. Обещаю молоко, картошку. Хлеб берите с собой.

Мы согласились легко. Однако неприятным открытием стало то, что нужно рано вставать и быть все время привязанным к стаду. Коров выгоняли на улицу, когда солнце едва выползло из-за горы, и забирали, когда оно уже было готово скатиться за гору. Чтобы облегчить себе и нам жизнь, Дохлый перегонял стадо через протоку на остров, где коровы паслись сами по себе, уйти или убежать им было некуда: с одной стороны остров омывала Ангара, с другой — Иркут.

Пока коровы, пощипывая травку, шли по заданному кругу, мы сидели с удочками на Ангаре. За световой день обычно попадалось несколько хайрюзков, которых жарили на костре. Когда улов был хорошим, мы выносили рыбу на дорогу, где ее покупали шоферы проезжающих машин. Потом нам пришла мысль ловить рыбу бреднем. Мы распоролы несколько крапивных мешков, сшили их дратвой в одно длинное полотно, по верхнему краю приделали поплавки, сбоку приладили палки и двинули в устье Иркутта.

Тащить самодельный бредень по воде оказалось непростым делом, мешковина плохо пропускала воду — это походило на то, как если бы мы решили направить часть вод Иркутта в новое русло. Сделав несколько попыток, мы набрали маленькую кастрюлю рыбной мелюзги и поняли, что овчинка выделки не стоит. Дохлый усовершенствовал невод, сшил для него огромную мотню и проредил мешковину. После его переделок тащить стало легче, но все равно попадалась одна мелочь. Мы промывали ее в воде, ссыпали в большую кастрюлю, бросали мелко нарезанный дикий лук, а если Дохлый приносил картошку, то чистили ее и засыпали следом и ставили на огонь. Получалась неплохая уха. Бывало, что к ухе присоединялась яичница, если в тростнике находили отложенные утками яйца.

Однажды Федька приволок настоящую, сработанную из жестких капроновых нитей, с мелкими ячейками сеть. В городском магазине такая сеть стоила дорого. По секрету он сказал, что спер ее у городских браконьеров, сняв в протоке за островом.

— А что, робя, если пройтись с ней по Курейке? — предложил он.

— Да там тина да гниль. Ну, может, пару гольянов и зачерпнем, — ответил ему Оводнев. — Или порвем ее.

— Не бойсь, за все заплачено, — усмехнулся Дохлый. — Ну что, рискнем?

Когда мы начали траление Дальней Курейки, то почувствовали, что сеть идет хорошо, свободно, в отличие от самодельного бредня тянуть ее было одно удовольствие. Я вспомнил, как на аэродроме мы натягивали резиновый амортизатор, перед тем как запустить планер в небо: чем дальше, тем тяжелее было натяжение резинового жгута. Поначалу нам казалось, что тянем впустую. Но когда увидели, что впереди заволновалась, пошла кругами вода (это был верный признак: рыба в Курейке водилась), то сердце начало подпрыгивать и замирать, словно и его зацепило сетью. Мы и не предполагали, что на траве сеть вдруг оживет, так засверкает на солнце. Что вместе со струйками воды во все стороны, виляя хвостами, поползут

караси, желтобрюхие голяны, выгибаясь, уставятся на нас злобными глазами жирные и крупные узконосые щуки. За один раз мы вытащили больше трех ведер рыбы — такого улова мы никак не ожидали! Особенно много рыбы было в мотне. Собрал добычу, повторили заход — и вновь удача!

Потом была уха и дележ улова. Часть рыбы мы продали, другую часть отдали родителям. Нам бы промолчать, где мы добыли столько, а так уже на другой день Дальнюю Курейку процеживали сетями десятки взрослых мужиков. Что-то поймали и они, однако рыбное царство было напугано и позже нам не удавалось наловить там хотя бы на уху.

В конце месяца, получив деньги от владельцев коров, Дохлый рассчитался с нами. Собрал всех и поделил заработок поровну. Для некоторых это стало своеобразным уроком. Известно: люди неохотно расстаются с деньгами. И часто из-за них случаются конфликты. Два года назад нас брал подпасками Юрка Шмыга. Полмесяца мы бегали за коровами — и всё впустую. Прилипли денежки к Шмыге, только мы их и видели. У Федьки Дохлого все было сделано честь по чести: хватило и на новый кожаный мяч, и на майки, и на мороженое.

Когда осенью вновь пошли в школу, разговоры про рыбную ловлю были отложены до следующего лета. Я был первым, кому предстояли выпускные экзамены. Но экзамены экзаменами, а спорт никто не отменял. Лучше всех в школе на лыжах бегали мы с Володькой Савватеевым. Чаще побеждал он. Кроме того, с ним же мы ходили в планерный кружок. Дружба дружбой, а напоследок я решил дать ему бой. Теперь в школу я уже не шел, а бежал. Так я вырабатывал в себе выносливость. И после уроков добирался до дома бегом. Дома вставал на табуретку, усаживал на ступню младшего брата Саню и начинал поднимать его. И так изо дня в день, как говорится, до седьмого пота.

Когда выпал снег, я встал на лыжи и начал вдоль Иркутта накатывать километры. Моими тренерами и болельщиками были Олег Оводнев и Дохлый. Они брали с собой будильник, засекали время, и я бежал километровые отрезки на скорость, а пятикилометровые — на время. Весь класс следил за моими приготовлениями дать бой лучшему лыжнику школы. Это был непростой поединок. И все же удалось победить: весной на районных соревнованиях я обогнал Вовку и занял первое место!

Мне выдали грамоту, которой я очень гордился. Это была моя третья грамота. Первая была за легкую атлетику, вторая — за стрельбу.

Чувство полета

Окончания школы я просто не заметил. Будто ехал на электричке, отсчитывал остановки, ждал десятую, а когда она подошла, то признал ее за очередную. На выпускной мама купила мне черные брюки: на костюм не было денег. Я был рад и этому подарку: костюмы, рубашки, другие обновки куплю себе сам, ведь впереди — целая жизнь.

И вдруг в наш дом пришла беда. В тот день, когда прозвенел последний звонок, мы хоронили отца. Его нашли убитым в тайге, куда он отправился в начале апреля за паданкой — так у нас называли кедровые шишки, упавшие на землю от ветра. На кладбище я не поехал: потрясение было настолько велико, что я, плача, держался за штатетник и не хотел идти вместе с теми, кто провожал отца. Став взрослым, я понял, что поступил неправильно: все детские обиды должны были отступить перед вечностью, в которую уносили отца. И эту вину перед ним я буду нести всю жизнь: не пошел, не проводил... Прости, отец!

В памяти людской он остался уличным баянистом, который мог все: и баян смастерить, и чайник залудить, и совок для ягоды сделать так, что хоть на Всемирную выставку. Но главной его страстью была тайга. Он ее знал, любил и чувствовал себя там как дома. И меня как мог пытался приучить к ней. Ради нее он мог бросить все домашние дела. Маму это взрывало: от тайги дохода с гулькин нос, надо кормить, одевать детей, а он, вместо того чтоб держаться за одну, хорошую, по ее мнению, работу, бросает все и уезжает в лес. Оправдываясь, отец говорил, что в тайге для него столы не накрывают и нет там тореных троп и чистых простыней. И работа на износ. Действительно, это было так, хотя тогда я принимал сторону матери.

Отец надумал строить новый дом и решил еще раз съездить в тайгу, чтобы иметь деньги на предстоящие расходы. А там его поджидал лихой человек с кистенем. И вмиг ожидания другой, лучшей для нас жизни в новом доме и всего, что с этим связано, оборвались. Сейчас я бы сказал, что закончилось мое детство. Но оставалась рядом мама, она продолжала тянуть привычную семейную лямку, мы были обстираны, каждое утро собирались за кухонным столом, прибирались в доме по хозяйству. В основном эту работу делали сестры.

Не берусь утверждать, что после смерти отца я повзрослел, стал поинтому смотреть на жизнь — это пришло не сразу. Мои интересы оставались на улице, где все было так, как и в прошлое, и в позапрошлом лето: друзья, футбол, поездки на велосипеде с ночевкой на Байкал и на Олху. На какое-то время я даже забыл, что мы с Вовкой Савватеевым решили подать документы в аэроклуб.

В июльский день, возвратившись из похода с уличными друзьями на речку Олху, я встретил возле школы Витьку Смирнова. Он сообщил, что Володька Савватеев уже сдал документы, только не в аэроклуб, а в Бугурусланское летное училище. Меня словно кипятком обожгло: как же так, вместе ходили заниматься в планерный кружок, вместе прыгали с парашютом — и вдруг он уже одной ногой в училище, а я на велосипеде катаюсь в свое удовольствие? Витька поинтересовался, почему после выпускного я не поехал с классом купаться на Иркут.

— Мы там пили вино и жарили шашлыки, — сказал он. — Все спрашивали: почему ты не поехал?

Витька меня огорошил. Он напомнил, что времени-то нет. Я тут же вспомнил, что у меня до сих пор нет даже паспорта! Смирнов сообщил еще одну неприятную новость: он тоже подавал документы, однако их у него не приняли.

— Сказали, приходи на следующий год, когда исполнится семнадцать.

Я молча сглотнул слюну. Вот это да! Мы с Витькой были не только одногодками, наши дни рождения были в один день — шестнадцатого сентября. И все же я решил попытаться счастья и догнать поезд, в который сел Володька Савватеев. Я помчался домой, взял у мамы три рубля и поехал в Иркутск-2 фотографироваться на паспорт. Но фотоателье было закрыто. Мне сказали, чтобы приходил в понедельник.

— А сколько дней нужно ждать фотографию?

— Дня два-три.

Не знаю как, но я уговорил фотографа, и он усадил меня на стул. В понедельник уже были готовы фотографии, и я побежал в паспортный стол. Паспорт выдали быстро.

Мама приняла самое активное участие в моих заботах, она попросила моего дядьку Илью Михайловича, чтобы он похлопотал. Дядька достал бланк необходимой для поступающих медицинской справки 286, и я отправился в поликлинику, захватив медицинскую карту, которую нам выдавали в планерном кружке. Там были отметки врачей, необходимые для полетов на планерах, также были приложены мои спортивные грамоты. Я находил нужного врача, показывал карту, грамоты, и он, глянув в нее, ставил подпись.

Через несколько дней я собрал все документы, разыскал даже ту комсомольскую характеристику, которую, перед тем как уйти из школы, написала Катя Ермак, и вместе с Ильей Михайловичем поехал в приемную комиссию.

— Зачем тебе в летчики, давай в медицинский? — неожиданно предложил он. — Там не будет сложностей с возрастом. Кроме того, у меня в приемной комиссии есть свой человек.

— Нет. Я хочу в летное, — швыркнув носом, ответил я.

Секретарем комиссии была молодая красивая женщина. Она была беременна, и ее посадили на эту легкую, согласно ее интересному положению, работу. А Илья Михайлович умел произвести впечатление на женщин, в том числе на молодых. И — о чудо! — он уговорил секретаршу принять документы.

Правда, тут же она предложила мне написать заявление в Иркутское авиационно-техническое училище.

— Оно скоро будет летным — будешь ездить домой к маме, — сказала она. — Там хорошая самодеятельность.

Я насторожился: значит, она прочитала написанную Катей характеристику, где говорилось о моей склонности к гуманитарным предметам.

Лишь позже я догадался, что в техническое училище был недобор и почти не было конкурса. А в Бугурусланское аж семнадцать человек на место! Думаю, что, будь она понастойчивее, я бы сдался, но вовремя вспомнил, что Савватеев подал документы в летное. Хотелось ехать в училище вместе с Вовкой. И, слава тебе господи, первую ловушку я миновал...

Медицинскую комиссию в училище я прошел за один день. А через неделю начал сдавать экзамены. Приемная комиссия, созданная при управлении гражданской авиации, экзамены принимала в Иркутске. Их было три: сочинение, математика письменно и устно. Сочинение я написал на четверку, а вот на математике случилась история, которая могла повлиять на всю мою дальнейшую жизнь.

Экзаменатором была молодая и строгая преподавательница из авиационно-технического училища, где мы сдавали экзамены. На ней было простое, серое с белым воротничком платье, она прохаживалась между рядами холодная и неприступная. Впрочем, к одному из поступающих, симпатичному черноволосому парню, она была явно расположена, оставалась около его стола и что-то подсказывала.

Оставляя задачу на потом, я быстро решил примеры. Тут сидящий сзади детина потребовал, чтобы я дал ему списать. Свое нетерпение он подкреплял тычками пером в спину. У нас был один вариант, и я по школьной привычке наскоро переписал решенные примеры и передал ему. И услышал грозное:

— Молодой человек, выйдите вон из класса!

Я понял: обращались ко мне. От неожиданности я весь взмок, и в тот момент красивая преподавательница показалась страшнее палача. Я лихорадочно пытался собраться с мыслями, но ничего путного не выходило. И тогда, отчаявшись, решил, что буду сидеть в классе до конца. Экзаменаторша медленно дошла до стола и обернулась.

— Я кому!.. — Голос ее, нетерпеливый и строгий, унял, когда она увидела слезы на моих щеках.

Отвернувшись к окну, она начала будто что-то разглядывать. Я ждал окончательного приговора, но его не последовало. Посидев тихо и безмолвно минут десять, я стал решать задачу. Видимо, пережитое волнение сказало, и задача не получалась. Сидящий рядом сосед, паренек из села Хомутово, уже написал правильное решение и толкнул меня коленом. Я глянул в его бумажку, понял, на чем застрял, и дальше все пошло как по маслу.

И вдруг вновь почувствовал, как в спину впилося перо сидящего сзади. До контрольного времени переписать свою работу начисто я не успевал. «Выживает сильнейший», — вспомнил я присказку Дохлого и вытерпел шипение, матерки и уколы детины. Едва раздался звонок, я подошел к парню, которому симпатизировала экзаменаторша и который, как потом выяснилось, был курсантом технического училища. Я сравнил ответ задачи — он совпадал с моим. Я облегченно вздохнул. Однако тревога осталась: я боялся, что в любой момент меня могут вычеркнуть из списков.

Устный экзамен принимала та же строгая экзаменаторша. Вначале она пригласила симпатичного ей курсанта, затем меня. Оценки за письменную математику еще не были вывешены, но то, что меня вызвали вместе с парнем, которого я про себя назвал проходным кандидатом, взбодрило: значит, мои дела не так плохи.

Я быстро ответил по билету, она кивнула и попросила сформулировать теорему Виета. В школе математичка Римма Александровна требовала, чтобы мы все теоремы заучивали, как стихи. Поэтому я отбарабанил без единой запинки. Услышав желанное и, честно говоря, неожиданное «пять», я чуть не подпрыгнул от радости. «Все, экзамен сдан!» Я оказался в числе лучших — набранных баллов было достаточно для зачисления.

Домой я летел как на крыльях. Все! Вагоны с зерном, стекла, морковь, стрельба солью, игра в чику — все в прошлом, все стало, как мы говорили, несчитово, все перевешивалось одним: я курсант Бугурусланского летного училища! Сказать, что на меня сошла благодать, — значит ничего не сказать. Я первым на улице — да что там на улице, во всем предместье! — поступил в летное. Моя душа, все мое существо воспарило, никогда я еще не испытывал подобного чувства. Бывает же так: мечтал, лелеял, и надо же, сбилось! Какое оно, это летное, на чем буду летать, сколько лет учиться, буду ли служить в армии, я не представлял. Все затмевал один непреложный факт: я — в летном.

Вернувшись на Рёлку, я какое-то время пытался сохранить интригу, да выдала физиономия.

— Что, поступил? — не то спросил, не то подтвердил свою догадку Олег Оводнев.

— Еще будет мандатная комиссия, — вздохнул я, но в этом вздохе уже чувствовалась откровенная радость.

Какая комиссия? Все и так ясно: то, о чем я мечтал, свершилось! Сделав паузу, я предположил, что, должно быть, вначале мне предложат окончить гражданскую летную школу, потом военную. И только после этого, возможно, приеду домой.

— Значит, загребут на шесть лет? — спросил Герка Мутин.

— Загребают сам знаешь кого и куда! — резко ответил я. — Буду учиться и служить.

Конечно, они да, если честно, и я сам еще не осознавали, что произошло в моей жизни. Да и не только в моей. Все идут одной дорогой только до первой развилки. Дальше у каждого начинается свой путь. Впрочем, в жизни, как и во всем, существует эффект инерции. Ведь еще вчера мы вместе бегали купаться на Анггару, ходили в кино, гоняли по улице мяч, и казалось, так будет всегда: завтра, послезавтра, пока не закончится лето. А потом опять школа. Однако на этот раз уже без меня. Неожиданно для всех я сделал первый самостоятельный шаг в сторону взрослой жизни и выпал из «Барабинской стенки». Тем самым я как бы дал понять: завтра ваша очередь. Ну, ладно бы пошел учиться на шофера, токаря, по-



ступил бы в институт (изредка и такое бывало на Рёлке), но чтоб вот так сразу — в летчики! Такого не ожидали. При встрече соседи и знакомые рассматривали меня как бы через увеличительное стекло: мол, откуда что взялось? Родная школа, которая всегда сверяла свои ожидания с достижениями выпускников, с некоторым удивлением переварила эту новость.

— Надо же! Я думала, он будет стишки писать, — сказала Мария Андреевна.

Зато по-настоящему обрадовалась учительница истории Анна Константиновна.

— А я всегда говорила, что из него выйдет толк! — воскликнула она. — Александр Блок утверждал, что первым и главным признаком того, что человек не есть величина случайная и временная, является чувство пути. Оно-то и помогает ребенку выйти за пределы того мира, который ему был уготован сложившимися обстоятельствами и средой.

— Блок это говорил о писателях, — возразила Мария Андреевна.

— У поэта и pilota чувство есть одно — полета, — улыбнулась Анна Константиновна. — Выпорхнули — пусть летят. А мы пойдем на следующий заход.

— Конечно, я рада, — сказала Мария Андреевна. — Хотя чему-то мы их научили. Кто у нас еще поступил?

— Как всегда, девочки — молодцы! Галя Сугатова поступила в педагогический, Люба Коваленко — в госуниверситет. А помните Катю Ермак? — Так она поступила в Шукинское училище! Актрисой будет.

— Ну, у нее такой папа! Про таких говорят — настоящий полковник.

— Катю он воспитал настоящей. Вот его главная заслуга...

Мама, узнав, что меня приняли в училище, спросила, где оно находится. Я достал карту.

— Далеко, — покачала она головой. — Вот что, езжай к тетке Анне. Она обещала, что поможет.

Я знал, что денег дома нет. Сбирать деньги на революцию или на футбольную амуницию было проще. Сейчас мне приходилось надеяться только на щедрость родни.

Деревенские корни

И я отправился к деду Михаилу в Куйтун. Однако дед отсутствовал, и я решил, что в таком важном для меня вопросе лучше всего действовать через бабушку. Я рассказал ей, зачем приехал. Она вздохнула; если бы у нее были деньги, то она тут же бы дала. Я стал поджидать тетку Анну, которая должна была подъехать через несколько дней. Она работала главным врачом в далеком таежном поселке Заваль. Детей у нее не было, и, по словам бабушки, деньги водились.

На другой день я решил проведать мамину родню в Буруке. Добирался туда на лесовозе. Десять лет назад эти сорок километров мы с ма-

мой одолевали пешком. Вышли ранним утром, а пришли, когда солнце было уже готово скрыться за лес.

Дяди Вани дома не оказалось. Я попросил у сестры кружку воды, выпил и уехал на попутной обратно. После ругал себя: зачем ехал? И почему, приехав, не посидел и пяти минут? Но быстро нашел оправдание: бабушка попросила не задерживаться и помочь собрать созревший крыжовник. Вернувшись из Бурука, я сразу приступил к делу.

Когда собираешь ягоду, то можно многое вспоминать. Этот сад я знал с первого моего посещения Куйтуна. Как-то мама решила оставить меня на август у бабушки. Но не тут-то было! Уцепившись за юбку, я потащился за нею на вокзал. Улучив момент, юркнул в какой-то вагон и, как обезьянка, вскарабкался на самую верхнюю полку. Там я, прилипнув к стенке, затих. Всё, теперь ни за что не найдут! Но меня быстро отыскала злая и крикливая проводница и вывела из вагона. Заревев на всю станцию, я побежал обратно к бабе Моте. Не заходя в дом, спрятался от всех в дальнем углу сада и, всхлипывая, принялся читать книгу о брянских партизанах. Называлась она «Хинельские походы». Читал, рвал крыжовник, выдавливал кисленькую мякоть, ел, а жесткую кожуру сплевывал на землю. Там меня и разыскал дед Михаил, увел домой, напоил молоком и уложил спать.

Так началась моя детская деревенская жизнь. Мама приехала через пару недель. И нашла меня в полном здравии. Я уже привык к новому для себя житью, ежедневным поездкам с дедом на покос, где собирал на косогорах спелую землянику и валялся на мягкой душистой траве. А по утрам, нагружившись бидоном, ходил на молокозавод, чтобы сдать молоко и принести домой пахту.

Деревенская жизнь оказалась совсем не скучной, я много читал и мастерил оружие. Сегодня могу признаться, что, читая книгу про Ковпака, я мечтал создать партизанский отряд и пускать поезда, на которых злые проводницы, под откос. К маминому приезду в моем арсенале накопился целый набор рогаток, сабель и лук со стрелами. Лук получился отменным, и мне хотелось привезти его на Рёлку. На эти занятия дед смотрел с улыбкой, однажды взял мою деревянную сабельку, повертел, достал охотничий нож и выстругал из сухой березы настоящую саблю с удобным для руки эфесом.

Прежде чем передать мне, он, махнув ею по воздуху, сказал:

— Вообще-то и эта жидковата. Хотя для тебя сойдет. Ты давай на кашу налегай, чтобы сильным стать, как Григорий Мелехов.

Кто такой Мелехов, я не знал. Но мне хотелось сразиться с ним и доказать, что я тоже кое-что значу в этой жизни. И по совету деда налегал на гречневую кашу, запивая ее кисловатой пахтой. Я знал, что деда Михаила за давние боевые заслуги уважали в Куйтуне и часто писали о нем в газетах.

...Вот так, припоминая картинки своего пребывания среди колючих кустов, я незаметно для себя за два дня набрал восемнадцать ведер кры-



жовника! Баба Мотя была очень довольна проделанной работой и сказала, что наварит варенья и перешлет его нам в Иркутск. Затем вспомнила отца, сообщив, что он в моем возрасте, бывало, приносил с рыбалки по два ведра рыбы.

— А сколько зайцев ловил! Хватало на всю семью. Выходит, и ты в него.

Бабушкина похвала была мне что медаль на грудь. То, что бабушка выделила меня среди многочисленной родни, дорогого стоило. Семья у бабы Моти, действительно, была огромная. Детей одиннадцать человек. И все выросли, и больше половины из них получили высшее образование. А моего отца оно миновало: как он сам говорил, погубила тайга. Без леса, грибов, ягод, охоты и рыбалки он просто себя не мыслил. Да и мастером был, пожалуй, единственным на всю улицу. Сам делал баяны, мог сшить сапоги. И еще его, к большому маминому неудовольствию, постоянно приглашали играть на свадьбах. Уйдет с баяном и явится где-то далеко за полночь. Ну какой жене это понравится? Много мог отец. Чуть что — зовут: Николай, выручай. А он и рад стараться! По словам мамы, он не умел одного: отличать хороших людей от тех, кто с маслом в голосе, но с камнем за пазухой. Доверчивость и сгубила его.

Как-то, разбирая семейные, оставшиеся от отца бумаги, я нашел любопытные записи. Он их сделал, пытаясь составить что-то вроде родословной. Привожу их почти дословно...

Мой дед Осип Иванович родился в слободе Самара Воронежской губернии в 1846 году. В двадцать четыре года за неповиновение барину был сослан в Сибирь. Там ему понравилось, и он уже не вернулся в Расею. Первое время Осип Иванович зарабатывал себе на жизнь работая плотником по найму; в те времена в Сибири строили много, заселение отдаленных уголков Российской империи шло быстрыми темпами, и дерево было самым подходящим строительным материалом. Женился Осип Иванович в 1886 году на девице Анне Гавриловне младше его на 14 лет. Родни у нее было много, но, к большому сожалению внуков, ее фамилию и родню мы не знаем. Как-то мама рассказала, что ее свекрова была из богатой семьи.

21 ноября 1888 года в селе Кимильтей Зиминской волости Иркутской губернии родился мой отец Михаил. Рос мальчик резвым, любознательным, не стеснительным. Приведу такой пример. В селе Кимильтей был дислоцирован кавалерийский казачий полк. В дни праздников или при выезде на базу тренировок полк всегда сопровождал духовой оркестр. Когда полк проходил мимо дома Хайрюзовых, то его встречал игрой на балалайке мальчик. Это был Миша. Оркестр замолкал, и полк маршировал под звуки балалайки.

Мальчик очень понравился командиру полка Николаю Волкову. Он пригласил его к себе домой, пообещав научить фотографическо-

му делу (надо сказать, в то время фотограф был только в Зиме, да и то приезжий). Свое обещание научить фотографии командир полка выполнил. После этого подарил мальчику фотоаппарат и необходимые принадлежности для самостоятельного занятия фотографией, в том числе книги по фотографированию.

Миша так увлекся фотоделом, что к 15 годам стал, можно сказать, настоящим фотографом. В музее села Кимильтей имеются прекрасные фото того времени, сделанные Мишей Хайрюзовым. Особенно Михаил гордился фотографиями времен Первой мировой войны. Он был призван в действующую армию и воевал в составе 44-го Сибирского полка на Западном фронте под командованием генерала Брусилова, воевал храбро, был несколько раз ранен, имел Георгиевский крест...

Фотография стала его увлечением на всю жизнь. На одной он сфотографировался с мамой, приехав домой на побывку: он сидит в казачьей форме вахмистра, а моя мама, в непривычном ныне чепчике, прижалась к нему плечом. Впоследствии фотоаппарат «Фотокор» стал как бы членом семьи, с его помощью отец кормил нашу большую семью, что дало возможность пережить тяжелые годы.

Были месяцы, когда, кроме лебеды, есть было нечего — тогда отец садился на велосипед, брал фотоаппарат и объезжал села и деревни Куйтунской, Зиминской волостей, где фотографировал людей. Ему платили за работу продуктами, и он привозил в заплечном мешке картошку, муку, яйца.

Не миновал, конечно, нас, как и многих сельчан, сбор на убранных полях весной колосков, мороженой картошки. Непонятно до сих пор, почему власть посылала вооруженные конные отряды, чтобы отбирать найденное, и порой наказывала сборщиков. И больше всего доставалось нам, мальчишкам от 3 до 12 лет. Долго болели спины от ударов плетками, а часто и палками. Помню, однажды двенадцатилетний брат Иннокентий пытался убежать с кульком колосков. Вооруженный винтовкой конник догнал его и, наверное, заporол бы до смерти. Пришлось мне упасть на брата и прикрыть собой. Обездчик располосовал рубашку на спине до крови. Затем наставил винтовку и крикнул, что застрелит. Ребятишки в это время кричали и плакали во весь голос. Слава богу, отпустил! Но сам я до дома уже дойти не мог — донесли. Трудные это были годы для всей семьи (особенно для родителей), но все окончилось благополучно — без потерь.

Михаил окончил 7 классов в 1903 году. До 1907 года помогал родителям по хозяйству, ухаживал за скотиной, плотничал и занимался изготовлением бочек. После многие навыки он передал мне. В 1905 году его приняли на работу в сельскую управу — писарем. Считался грамотным. В то время мало кто оканчивал на селе 7 классов, наверное, считали, что для крестьян грамота не нужна.

В 1909 году из Иркутска к своему отцу, священнику, в село Харчев приехала кареглазая красавица Мотя. Село Харчев расположено от Кимильтея на расстоянии 10—15 км. На обратном пути в Иркутск она заехала в Кимильтей к своим родственникам. Там наш будущий отец и будущая мать встретились, познакомились и, видимо, очень понравились друг другу.

Поскольку отец, как мы знаем, был не из робких и стеснительных людей, то в 1910 году, после родительского благословения, поехал в Иркутск, оформил в духовно-приходской школе необходимые документы об увольнении своей будущей жены, привез ее в Кимильтей, и сыграли свадьбу.

Родилась Матрена Даниловна в 1894 году. Через год ее мать умерла. До 8 лет Матрена Даниловна, тогда еще Мотя, жила и воспитывалась у тетки в селе Харчев.

Потом ее отец, Данила Андреевич Ножнин, поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, а ее пристроил в духовно-приходскую школу, что находилась в предместье Марата в Иркутске (в духовно-приходскую школу принимали только детей священнослужителей). Там она получила специальность учительницы начальных классов и хорошее воспитание. Матрена Даниловна имела хороший голос и пела в церковном хоре.

В 1911 году у них родилась дочь Надежда, а в 1913 году — сын Николай. В дальнейшем дети рождались каждые 2—3 года. В августе 1914-го началась империалистическая война, и моего отца призвали в действующую армию...

Когда я читал записи, то думал, как мне повезло: я знал бабу Мотю и деда Михаила, которые пережили две мировые, Гражданскую, коллективизацию, голод тридцатых годов. И еще я как бы другими глазами посмотрел на отца — когда объездчики чуть было не заporоли его нагайками за подобранные с поля колоски...

Приехала тетка, спросила, сколько стоит билет до Бугуруслана. Я подумал немного и ответил, что примерно рублей тридцать. Она не поленилась, сходила на вокзал и проверила у кассира: билет до Бугуруслана стоил двадцать семь рублей пятьдесят копеек. Столько и дала. Дед из своей пенсии купил билет до Иркутска. А баба Мотя насыпала в корзину большое ведро крыжовника, и вся куйтунская родня пошла меня провожать.

Впереди шагал герой Первой мировой дед Михаил: грудь колесом, а нос держал, как говорят летчики, по горизонту. По такому поводу он достал из сундука военную гимнастерку, приколот на грудь медаль «Ветеран труда», и я почему-то пожалел, что на нем нет той казачьей формы, в которой он был сфотографирован вместе с бабушкой в день возвращения с империалистической войны. Встречая односельчан, он с гордостью

сообщал, что провожает в Иркутск внука-летчика. Старики и женщины оглядывали меня, о чем-то спрашивали, задавали уточняющие вопросы. Выяснив, что до героя-летчика я, конечно же, еще не дотягиваю и только собираюсь ехать в летное, они желали отличной учебы, хороших полетов и не забывать родного дедушку. Я краснел, бормотал что-то в ответ: к новой для себя роли надо было еще привыкнуть. Привыкал я долго; помню, когда приехал первый раз в отпуск, на улицу и в клуб на танцы явился в той одежде, которая оставалась еще от школьной жизни. Дохлый таращился с удивлением: чего это я стесняюсь своей курсантской формы?

Дед, крепко поцеловав меня, посадил в проходящий поезд. Я сел в вагон, помахал провожающим из окна, а ранним солнечным утром уже шел с автобусной остановки к дому. И неожиданно встретил маму по пути на работу. На ней была белая кофточка и черный пиджак — ну точь-в-точь как у Кати Ермак на последнем построении в школе. Присмотревшись, я понял, что она надела пиджак Вадика Иванова, который я одолжил, когда ходил сдавать экзамены в летное училище. В этом костюме мама выглядела молодо и красиво. Совсем недавно ей исполнилось сорок лет, и тогда казалось, такой она будет всегда. Про себя я решил, что когда стану летчиком, то обязательно куплю ей строгий черный костюм.

Все дни она была занята хлопотами, связанными с моими проводами в училище: надо было найти чемоданчик, купить продукты, накрыть стол, пригласить родню. То, что я поступил не куда-нибудь, а в летное, ее радовало, огорчало только, что этого уже никогда не узнает отец.

Через неделю рёлкская ребятня поехала провожать меня на вокзал. Меня хлопали по спине, просили писать и не залетать слишком высоко. Чтобы показаться совсем взрослым, Валерка Ножнин в зале вокзального ресторана купил бутылку вина и, поскольку стаканов у нас не было, предложил пить из горлышка.

— Вот приеду в отпуск, тогда и выпьем, — остановил я его. — Да, поди, не вытерпишь?

— Что я, дурной?

— Ну, если не дурной, то сохрани.

Вместо эпилога

После окончания училища я возвращался домой через Москву. Перед этим написал письмо Кате и предложил встретиться на Красной площади возле Лобного места. Написал это специально, чтобы подчеркнуть, что я не забыл наши репетиции и, самое главное, не забыл ее. От наших девчонок я уже знал, что Катя живет в Москве и учится в Щукинском театральном училище. Зная, что я был влюблен в нее по уши, Галя Сугатова дала мне Катин адрес.

В ту пору мобильных телефонов, разумеется, не было, а идти и разыскивать ее в «Щуке» — так в Москве называли театральное учили-

ще — у меня не было времени. Шел мелкий дождь, брусчатка на Красной площади блестела, как начищенная. Да я и сам был как начищенный: новый костюм, белая рубашка, галстук. На выпускной мои сестры Алла и Люда прислали немецкий черный костюм. Мамы к тому времени уже не было на свете. Она, чувствуя, что жить ей осталось немного, попросила сестер купить мне костюм. Подъезжая к Москве, я снял курсантскую форму и нарядился.

Но Катя не пришла. Насвистывая про Чико из Пуэрто-Рико, я походил по мокрой брусчатке, послушал звон курантов, полюбовался на бравых часовых у Мавзолея и, вспомнив знаменитую фразу матроса Железняка, что и караулу нужна смена, развернулся и поехал в аэропорт.

Утром я уже был на Барабе. И здесь опять встретил дождь. Стараясь не запачкать брюк, выискивая знакомые еще с детства, не раскисшие под дождем пригорки, я дошел до первой болотины, которая разделяла улицу на 1-ю и 2-ю Рёлку, увидел сидящую у окна мать Вадика Иванова, приветливо махнул ей рукой. Как и раньше, тетя Сима была на рабочем посту, с которого хорошо просматривалась вся улица. И я вдруг понял, что, пока меня не было, жизнь на Барабе текла с той же неспешностью, с какой Земля кружится вокруг Солнца. Здесь каждой вещи, каждому человеку было отведено свое место.

Природа не терпит пустоты. Там, где мало событий и информации извне, там всегда огромное поле для слухов, сплетен и воображения. Недаром в моей памяти сохранились женские да и мужские посиделки на лавочках и бревнах, которые были навалены вдоль улицы. И заинтересованные обсуждения — кто что купил, кто и от кого ушел, кто куда поступил и кто на сколько сел. Сарафанное радио работало на всю катушку.

Уже через пару часов, встретившись с друзьями, я отметил и другое: все, что происходит в твое отсутствие, меняется и растет быстро. Мои повзрослевшие кореша давно забросили штаб и рыбную ловлю; наша уличная библиотека была растащена; все разговоры теперь крутились вокруг танцев, где то и дело приходилось драться из-за девчонок; а кой-кого из знакомых уже успели отправить в места не столь отдаленные. Помня уговор, Валерка Ножнин принес бутылку вина и пригласил на свои проводы в армию.

...Сегодня я точно знаю, что с кем случилось. Почти все наши девчонки выйдут замуж и разлетятся по всей стране. Мне рассказывали, что Катя Ермак уедет на Украину в славный город Одессу. И что играет в театре и даже снимается в фильмах Одесской киностудии. Некоторых бывших друзей и знакомых я встречу во время полетов по сибирским трассам.

А вот парням повезло меньше. Кауня при разгоне драки возле танцплощадки застрелит милиционер. Колька Суворов утонет в котловане, когда пьяным будет возвращаться домой. Олег Оводнев разобьется на своем новом джипе, у которого зимой при съезде с Веселой горы по непонятной причине отлетит колесо. Щепу собьет машина, когда он решит

проехаться по тракту на велосипеде не держась за руль. Сашка Баран будет мыкаться по тюрьмам, пока там и не сгинет. Короля во время семейной ссоры зарежет Мотаня. Дохлый уйдет в армию, станет офицером спецназа и погибнет в Афгане.

Вадик Иванов плюнет на обещанное отцом наследство и уедет строить Усть-Илимскую ГЭС. Валерка Забатуев, наш маленький комарик, залетит в Якутию, где станет министром здравоохранения. Самые тесные и теплые отношения у меня сохранятся с Володей Савватеевым, Генной Янковичем и Вадимом Куликовым. Володя станет шофером-дальнобойщиком, прямым, честным и отзывчивым человеком, для которого мужская дружба была и остается не пустым звуком. Саня Чипа станет заместителем директора авиазавода, на котором будут выпускаться самые современные самолеты.

Известно: чем выше должность, тем больше ходяков и просьб оказать помощь, устроить в детский сад, принять на работу, подписать нужную бумагу.

— Саша, чего тебе стоит? — едва открыв дверь в кабинет, говорили они, зная, что землякам Саша не откажет. И для верности добавляли: — Ведь это мы помогли тебе выбиться в начальники!

Вадька Куликов отслужит в армии, уедет на БАМ, где будет строить мосты и железнодорожные переходы. Построит он мост и через Ангару, почти рядом со своим домом. Этот мост перешагнет бетонными арками через бывший Московский тракт, вокруг которого все так же лепились домики нашей Барабы. Позже Куликов станет реставратором и начнет наряжать родной город в деревянные узоры. На своей улице построит кирпичный дом, даже не дом — замок, и будет принимать друзей, кто еще остался, парить их в бане, обливать ледяной водой, а после, под водочку и разговоры о прошлом житье-бытье, угощать пельменями и нежным омулем. Неожиданно Вадик вспомнит про деревянный парабеллум, который я сделал и подарил ему в нашем штабе.

— Пистоль был как настоящий, и однажды он спас мне жизнь, — рассказал он. — Как-то поздно вечером встретила шпана и наставила на меня ножи. Я достал пистолет — и как закричу: «Сейчас всех перестреляю!» Взял на понт, они и разбежались.

В ответ я поведал, как он, еще не умеющий плавать, сорвался в Курейку и стал тонуть. И мне пришлось вытаскивать его с вылупленными глазами из глубины на берег. Тогда ему было лет девять, не больше.

Мы посидели, посмеялись и вспомнили песню Высоцкого:

- Где твой черный пистолет?
- На Большом Каретном.
- Где тебя сегодня нет?
- На Большом Каретном...

КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ

Мартин МЕЛОДЬЕВ

* * *

Медленно меркнет сибирский рассвет,
где ж эта улица, Красный проспект?
Омут забвеньем омыт, как волной:
месяц был... Господи, кажется, май!

Медленно тающий снег на полях,
проблеск зеленой воды в тополях;
припоминающийся с трудом
берег — и ты в пальто.

Зол циферблат, стрелки пляшут канкан,
время ощерило цифр капкан,
в медное горло кувшинки вплеснув
нашу с тобой весну.

* * *

С. Глядинской

Прохладный, как зеленая казарма,
брезентовым июнем крыт пейзаж.
Еще одно последнее сказанье
календаря запущено в тираж.

В Бугринской роще солнечно и тихо,
стоит «Орбита», в облако смотрясь,
по просеке цветы да земляника;
не за горами август и сентябрь.
Ничья земля. Две елки на пригорке...

И не о виноградарства ли днях
летучей филателией эпохи
толкуют блики света на листах?

По просеке, где мы с тобой гуляли,
знакомой до последней стрекозы,
осенним дымом счастья и печали,
платками разноцветными, костры
взмахнут — но это в сентябре.
...Сегодня в роще солнечно и тихо:
стволы берез, цветы да земляника
да катерами — тени по траве.

* * *

Вот и осень, строгая закройщица.
Календарь заказов: все красивы.
За окном неторопливо кружатся
лиственниц цепные карусели.
На опушке — шишки. Бур бурьян;
рыжий мех приходит в запустение.
И грибник приходит в загруздение
окружающих полян.

Надежда ПУЗЫРЕВСКАЯ

* * *

Уходит солнце за вершушки сосен,
доверчиво из чащи смотрит лось,
и щедро сопки осыпает осень
недолговечным золотом берез.

Здесь слабых нет, да только не из стали
и наши закаленные сердца.
Устали изыскатели, устали,
а съемке не предвидится конца...

Который год в плену иных традиций,
а не писать об этом не могу —
костры давно прошедших экспедиций
пылают на тайдонском берегу.

* * *

Что же, злорадствуйте все,
кто похмелье мне это пророчил!
Все чудачества в прошлом,
романтикой впредь не грешу.
На седьмом этаже
проживаю теперь, между прочим,
на седьмом этаже,
и стихов о тайге не пишу.
И куда ни взгляну —
с горизонтом сливается город,
и не лайка — болонка
доверчиво трется у ног...
Но закрою глаза,
и приблизятся синие горы,
и предательский к горлу
тотчас же подкатит комок...

Лариса ПОДИСТОВА

* * *

Печаль прикорнула
На мерзлом карнизе. Вижу:
Косит ее глаз
В человеческое жилье.
Бывает ли в мире соседство
Тесней и ближе?
Стекло разделяет меня — здесь
И там — ее.
Дрожат ее лапки:
Им холодно, жестко, скользко.
Дрожат ее перья...
Пустить бы бедняжку в дом!
Не жаль мне овсянки,
И крошек не жаль нисколько,
Но грусть прикорми —
Будешь вечно грустить потом.
И я остаюсь в глубине
Моих теплых комнат.
И грусть остается —
Снаружи, с холодной тьмой.
Она улетит, но я взгляд ее
Буду помнить —
Безжалостный, в общем-то,
Взгляд, как и выбор мой.

Сергей КУЗИЧКИН

РАЯ, АДА И ЧИСТИЛЬЩИК

Р а с с к а з

1.

Влюбленный в Раю

В первый день июня, за двадцать лет и семь месяцев до третьего тысячелетия, я спешил на свидание к девушке по имени Рая. Уже тогда я, ожидающий своего двадцатидвухлетия и совершивший в пределах большой страны несколько путешествий на запад и восток, понимал, что родной городок мой над прославленной в песнях речкой Бирюсой не такой большой по размерам, как казался в детстве, а потому, не пользуясь городским транспортом, шел пешком от заводского микрорайона по северным улицам города: имени космонавта Гагарина, имени писателя Горького и названной в честь железнодорожников — Транспортной, далее через вокзал и виадук, спускаясь к старому городу, к его южной стороне, тогдашнему центру торговли и самому популярному кинотеатру — «Победа», переоборудованному за двадцать лет до этого в храм культуры из храма Божьего.

«Победа» блистала, величественно выделяясь с фасада белеющими колоннами по улице Советской, и продолжалась бледно-желтым бастионом без окон и с двумя дверьми из зрительного зала по улице имени героя Гражданской войны Чапаева. А по другую сторону Чапаева, тоже на повороте и тоже с входом со стороны Советской, красовалась «Тайга». Так называлось поражающее многих горожан, а еще более — приезжих своим архитектурным новаторством здание ресторана, построенное в середине семидесятых. Большой козырек «Тайги» над входом выходил вперед метров на пять-шесть и тянулся вдоль до конца строения. Он крепился стоящими под углом тоненькими (по сравнению с «победовскими»), «под гранит», колоннами. Со стороны «Тайга» была похожа на большой, перевернутый набок ящик — мышеловку или птицеловку — с приподнятой на подпорках крышкой. Мне порой казалось, что где-то за «Тайгой», в огородах домов частного сектора, затаился ловец. Он ждет, когда побольше посетителей соберется в ресторане, а потом дернет за хорошо замаскированную веревочку — и сложатся-упадут колонны-подпорки,

и козырек захлопнет вход и большущее, во всю стену, окно ресторана со всеми его посетителями, официантами и поварами.

Я нечасто бывал в этой части городка, а дальше по Советской, за «Тайгу», и вовсе зашел в тот день впервые. Открыв для себя новый промтоварный магазин в большом белом оштукатуренном доме, я сразу за ним, в проулке, увидел будку чистильщика.

Сейчас понимаю: одно из главных отличий молодости от зрелости — не особо вдаваться в детали и принимать факты как есть, без вопросов. На вкопанный посреди Старобазарной площади бетонный столб обратили внимание все, кто жил неподалеку или ходил через площадь, но для чего столб там поставили, заинтересовались лишь люди возрастом за пятьдесят. Информацию на железнодорожном вокзале: «Следующий в западном направлении пассажирский поезд опаздывает на восемь с половиной часов!» — поняли и приняли все двадцать три пассажира с билетами на этот поезд, а вот в чем причина задержки, пошли выяснять к дежурному только трое пенсионеров и одна многодетная мама тридцати шести лет.

И я, конечно же, и не подумал тогда задать себе вопрос: почему чистильщик поставил свою будку, похожую на телефонную, только большего размера, не на вокзале или на колхозном рынке, где клиентов у него было бы гораздо больше, а в неприметном местечке, ближе к окраине? Не удивило меня тогдашнего и то, что раньше чистильщиков-одиночек я видел только в кино, а у нас в городе затасканную одежду сдавали в химчистку Дома быта, а обувь чистили сами. И тут вдруг...

Много лет спустя, вспоминая о том дне, я задумался: а кто мне сказал тогда, что человек, стоящий возле будки, чистильщик? И не сразу вспомнил, что он же сам и сказал. Да, он сказал о себе в разговоре со мной. Но то, что он чистильщик, я же понял сам! Едва повернув с Советской в проулок за промтоварным магазином и увидев мужчину-шатена лет сорока в белой рубашке и черных брюках, я сразу сообразил, что это чистильщик. В белой рубашке, без фартука. Мужик как мужик. Он стоял возле будки, даже не похожей на рабочее место чистильщика обуви. Именно чистильщиков обуви я несколько раз до того видел в фильмах. Однако этот — я был убежден! — был из тех, кто чистил и обувь и одежду. Почему я так решил, едва увидев его, и почему был готов к тому, что он со мной заговорит, а я ему отвечу? И главное, почему я остановился?

Ведь я не видел и не хотел видеть ничего и никого вокруг. Мысли мои были тогда не со мной, а летели вперед — к белокудрой Рае, с которой познакомился я на открытии танцевального сезона в городском парке в последний день весны. Мысли, а вслед за ними и чувства мчали меня к ее дому, где она назначила мне встречу в первый день лета. Вот поворот и вон где-то там за ним ее дом. Там у ворот Рая. Я был уверен, что она ждет меня. Сидит на скамеечке с веточкой сирени или стоит у палисадика.

А я взял и остановился возле странной будки, возле человека в черных брюках и белой рубашке.

— На свидание торопитесь, юноша? — спросил чистильщик, когда я с ним поравнялся.

— Да вы знаете... я тут двадцать третий дом ищу... — едва слышно произнес я, глядя на него.

Лицо его было мужественным, но не суровым, а едва заметная улыбка располагала к доверию. Серые зрачки глаз смотрели уверенно. Уже в те годы мне приходилось замечать у окружающих людей нездоровый налет на белках глаз: желтизну, блеклость — отражение внутренних заболеваний. У чистильщика белки были ясными, без тени желтизны и блеклости.

— Да считайте, что вы уже пришли. Через три дома, по правой стороне, — пояснил он. — Вон, где сирень через палисадник свисает. Видите?

— Спасибо, — поблагодарил я, готовый уже было ринуться к дому с сиренью в палисаднике.

— Брючки, обувь перед визитом к даме подновить не желаете? — приостановил он мою прыть. — Беру немного: гривенник за чистку ваших брючек и гривенник за обработку ваших туфель хорошим сапожным бесцветным кремом. Зайдете?

До того не опускавший головы, летевший без оглядки за своей фантазией в предвкушении романтической встречи с Раяй, я глянул вниз и заметил густой налет пыли на моих темно-коричневых туфлях и пыльцу на гачах новых вельветовых светло-коричневых в мелкую полосочку брюк.

— Можно... — кивнул я.

— Сейчас, сейчас, молодой человек, мы уберем огрешки с вас, а с вашего одеяния пыль земных, пока не дальних дорог, — говорил он, улыбаясь и открывая дверь своего заведения. — У молодых людей вашего возраста — только огрешки. Грешками обрастают люди постарше, когда судьба начинает их испытывать жестче, и многие справляются сами: борются, противостоят... В грехах же тонут безвольные, часто жаждущие легкой добычи, чего-то чужого, не способные устоять перед страстями. Тех уже щетками не отчистишь...

Заведение чистильщика оказалось просторнее, чем виделось снаружи. Наверное, в четыре телефонные будки, составленные вместе. Столик, два табурета, полочка со щетками и кремами в баночках, в углу небольшая тумбочка.

— Ставьте правую ногу на полочку.

Едва я поставил ногу, как длинная щетка с рукояткой коснулась моего колена и начала крутиться в руках чистильщика, опускаясь по гаче от коленки к ступне. Он ловко крутил рукояткой, а щетка, переворачиваясь, снимала пыль с моих брюк. Щетка бегала по брюкам, скользила по голени. И сначала по голени, а потом и выше по телу стало разливаться, растекаться приятное теплое чувство. Когда чистильщик перешел к другой штанине, я физически почувствовал сияние моей улыбки и ощущение предполетного состояния. В эту минуту-другую я любил всех на свете: маму, сестер, родных, близких друзей детства и далеких теперь армейских друзей, любил прохожих, чистильщика и мою новую знакомую Раяю. Мне казалось в тот момент, что Раяю-Раяюшку — больше всех остальных.

— Теперь пройдемся по обуви — и будет полный порядок. Почти что полное очищение человека от разных жизненных налетов.

Закончив с чисткой вельветок, даже не улыбаясь, а светясь то ли от упавшего на него через окошечко будки утреннего солнечного луча, то ли от собственной улыбки, чистильщик положил на полочку щетку с рукояткой и взял две обувные.

— Ставьте снова правую ногу. С нее начнем. Всегда надо начинать какое-либо дело с правой стороны. Брать правой рукой, входить правой ногой. И мы всё будем делать справа, правда, молодой человек?

Я, не зная, что отвечать, кивнул. Мне и не хотелось ничего говорить. Я был согласен с чистильщиком. Согласен с тем, что он уже сказал, и с тем, что еще скажет.

Минутка-другая — и создалось впечатление, что в подновленных кремом туфлях я смогу увидеть и собственное отражение, и отражение чистильщика.

— Ну и прекрасно!

Глаза чистильщика засветились еще больше, когда я протянул ему двадцатикопеечную монету.

— К вам теперь долго грязь не прилипнет.

— Спасибо, — поблагодарил я его.

Он первым подошел к двери, открыл, но перед тем, как выпустить меня за порог, сказал, продолжая хранить улыбку на лице:

— Красивое имя у вашей новой знакомой. Располагающее. Да и сама она привлекательная: беленькая, синеглазая... Похожа на Мальвину. Сказку про Буратино же знаете?

Я кивнул. Чистильщик продолжал улыбаться, хотя лучезарность в лице его пропала, а в глазах, я заметил, мелькнула грустинка.

— Тогда вы знаете и то, что у Мальвины должен быть Пьеро, — сказал он, как мне показалось, уже серьезно. — А для вас в этой сказке-истории места нет. У вас другая история...

Мы были с ним одного роста, стояли друг против друга, глаза в глаза, и я вдруг почувствовал, что не в силах пошевелиться, шагнуть за дверь. Радостное чувство в груди затихло. «Зачем я сюда зашел? — уже спрашивал я себя и тут же оправдывался: — Ну я же не сам. Это он меня позвал...»

— Не слушайте крика страсти, молодой человек, — произнес чистильщик, продолжая смотреть мне в глаза. — Приглушите крик и прислушайтесь к шепоту своего сердца.

— Ла-ладно... — сказал я, едва выдавив слово.

Он отступил в сторону, и я шагнул за порог.

Рая сидела на скамеечке возле дома.

Давно или только что она вышла из ворот, я не мог знать, ибо из-за выступающего от окон дома палисадника, ограждающего сирень, ни ворот, ни скамеечки от поворота не было видно.

Рая была в белом платье с крупными красными розами и держала в руках ветку сирени. Белокурая, красивая, легкая. Ее голос, как журча-

щий ручеек, что протекает за городом возле Грибановой горы, заморозил меня в последний день мая, околдовал, заставил подчиниться.

Глядя на нее, танцуя с ней, слушая ее, я вчера потерял голову. Голова укатилась куда-то под ноги танцующих, а потом выкатилась за площадку, в ближайшие кусты. Я не поднял ее, даже не стал искать, а ушел домой. Там же, в городском парке, на исходе сумасшедшего вечера сердце мое, выпрыгнув из груди, спряталось в маленькую Раину сумочку, и она унесла его с собой. Я не спал ночь, видел и слышал только Раин голос, ее шепот, не понимая, то ли в полудреме это, то ли наяву. А утром оставшаяся еще со мной душа полетела впереди меня по названному Раей адресу.

Рая глядела на веточку сирени, поглаживала ее и, конечно же, не видела, как я вышел из-за палисадника. А я, вынырнув из-за поворота, сам не зная почему, вдруг остановился и замер в пяти метрах от нее.

Я смотрел на нее, а она на сирень, легонько перебирая цветочки своими тоненькими пальчиками. Она не поднимала головы, а я, еще секунду назад хотевший ее окликнуть, назвать ее имя, вдруг онемел. Я почувствовал на физическом уровне, как возвращается на место потерянная голова, как тяжело она плюхается мне на плечи. Я увидел воочию, как выпорхнуло из сумочки, что была на коленях Раи, мое сердце и, как нож, вонзилось мне в грудь. Летавшая душа моя сначала замерла, а затем, закружив вихрем, накрыла легкой волной.

«Если ты сейчас произнесешь ее имя, если она поднимет глаза, то ты всю свою жизнь проведешь возле нее, будешь жить в этом доме, в этом городе. А если...»

«Что — если?!» — спросил я, выкрикнув беззвучно на выдохе, не понимая, откуда слышен голос. То ли говорит душа, то ли пророчествует сердце, то ли озвучиваются мысли из моей головы.

«А если ты не окликнешь ее, а она не поднимет глаз, то все в твоей жизни будет по-другому».

«По-другому...» — не то спросил, не то просто сказал я.

«По-другому», — услышал я снова.

«По-другому...» — повторил я, и мне, вот только, только что желавшему больше всего в жизни видеть Раю, быть влюбленным в Раю, слышать ее ангельский голосок, — захотелось, нестерпимо захотелось, чтобы жизнь моя пошла по-другому.

И это самое «по-другому» уже решалось и решилось с моим и без моего участия одновременно. Ноги, развернув меня, сами понесли назад.

Я медленно, очень медленно дошел до палисадника, давая возможность Рае поднять глаза. На углу остановился, прежде чем шагнуть за поворот. А когда шагнул, то сразу же остановился снова, надеясь, что она вот-вот, сейчас поднимет глаза, встанет, пройдет пять метров до угла ограды, увидит меня и окликнет.

Может быть, она через секунду и подняла глаза, может, даже приподнялась со скамейки, однако не дошла до угла, не заглянула за палисадник, не увидела меня и не окликнула...

А я не остановился, не вернулся. Я почему-то вдруг вспомнил соседку Весту, что писала мне письма, когда я служил в армии. Простые весточки из дому, о житье-бытье, без намека на любовные отношения. Письма были располагающие к дружбе, но когда я вернулся домой, Веста при встрече скромно отводила глаза и говорила мне «вы», хотя была младше всего на три года. Веста, сама не зная, отвела и отняла меня тогда от Раи.

Мне показалось, что именно Веста окликнула меня, позвала из окна пятого этажа своего дома возле здания госбанка, что в другом районе города. Во всяком случае, я подумал о Весте, зримо представил ее фигурку, лицо, ее большие глаза с серо-зелеными зрачками и торопливо зашагал назад обратным маршрутом, теми же дорогами и улицами, какими шел к Рае. Мимо «Тайги», мимо «Победы», через виадук и вокзал. Я даже не вспомнил тогда о чистильщике и не помню, как проходил мимо его будки. А около пятиэтажки в районе госбанка, где прошло мое детство и юность, я заметил на скамейке знакомую фигурку. Веста или не Веста? Да, она!

Я сел рядом. Веста смутилась и, ответив на приветствие, опустила глаза.

— Я что-то сегодня вспомнил вдруг о твоих письмах, что писала в армию, — сказал я. — Подхожу к дому — и вижу тебя здесь... Совпадение?

— Да, совпадение, — сказала Веста, на секунду подняв на меня взгляд. — Я тоже подумала почему-то про вас сегодня, вышла во двор, села на скамейку, а тут и вы идете...

Она быстро соскочила, ринулась к подъезду, и через секунду дверь за ней захлопнулась. Я посидел еще минут десять, а затем тоже поднялся и двинул через пустой двор к госбанку. У газетного киоска остановился и глянул на окна пятого этажа. Из одного, раскрытого на обе створки, смотрела на меня Веста.

Целый день я думал о Рае: правильно ли поступил и почему поступил так, а не по-другому? Ближе к ночи успокоился, решив, что я поступил именно по-другому, а не так, как хотел с утра, что вчерашнее наваждение прошло и от судьбы мне не уйти. Сделав вывод, что я все же не был влюбленным в Раю, я уснул в кресле перед телевизором, не добравшись до постели. Спал я недолго. Как определил потом — минут двенадцать, но эти минуты в мире сна обернулись для меня долгим хождением среди цветущих белых яблонь. Я был во сне с Раей, влюбленным в Раю, и она водила меня по своему саду, по дорожкам среди деревьев и цветов. «Вот такой всегда, каждый день будет наша жизнь», — шептала она, и я соглашался, соглашался, соглашался...

Влюбленность в Раю растаяла с окончанием сна. Я понял это и старался не думать о ней.

Я не думал о ней все лето, занимаясь, как считал, неотложными делами, поглощавшими мое время с утра до вечера. А осенью я встретил Любовь. Любовь закружила меня восторгом и желанием любить. Зимой Любовь стала моей женой, и я был счастлив с нею несколько лет. Од-

нажды мы пошли с Любовью на дневной сеанс в кинотеатр «Победа», и пока моя Любовь стояла в очереди за билетами, я неожиданно столкнулся на крыльце кинотеатра с Раей. Она была с парнем примерно моего возраста. Он держал ее под руку. Рая посмотрела на меня, я на Раю. Мы узнали друг друга.

— А ты... вы... почему тогда не пришли? — спросила Рая, оставив своего спутника и подойдя ко мне.

— Да знаешь... Знаете... Я хотел, но не смог... Не получилось... Вернее, так получилось, что был занят... — врал я Рае и краснел, опуская глаза.

Я видел, что она понимает, что я обманываю ее, и еще больше смущался.

— А я ждала, — сказала она, стараясь поймать мои бегающие зрачки. — Я ждала, — повторила Рая, когда ей удалось перехватить взгляд, — я очень хотела прогуляться с вами по нашему саду. У нас в тот год как никогда обильно цвели ранетки... Так было красиво! Просто божественно. Так, наверное, цветут яблони в раю.

— Я... я хотел прийти... — заикался я и снова прятал глаза, как провинившийся школьник.

— Вы правда жалеете, что не пришли, не смогли прийти? — спросила Рая.

От новой лжи меня спасла Любовь. Она появилась с билетами и поздоровалась с Раей. Рая, ответив на приветствие, смущенно улыбнулась и вернулась к своему спутнику.

Больше мы с Раей не виделись. Я, конечно, вспоминал ее время от времени, впрочем, без ностальгии, как эпизод молодости. Мне было не до нее. Я был счастлив с Любовью и не думал ни о ком другом и ни о чем тоже. Я думал в ту пору, что так будет продолжаться всегда. Вечно! Но случилось, что Любовь ушла. Ушла туда, откуда не возвращаются в наш мир. Ушла неожиданно, и я не был готов к этому. «Всегда» и «вечно» разбились о действительность Времени.

Я потерял Любовь и долго скитался по свету в поисках чего-то другого. Чего — думаю, не представлял сам. Где-то на перекрестках судьбы, когда рана потери уже не кровоточила, а лишь болела, я встретил Надежду. Она подняла меня, сидевшего на росстанях, на ноги, вдохнула в меня новый смысл, помогла обрести другое понимание бытия, и я некоторое время жил с Надеждой. Вернее, жил рядом с ней. Надежда не была только моей. Она была Надеждой и для других. Я благодарил ее, как и те, другие, за то, что она рядом.

Я мотался по городам и странам, бывал на других континентах, а когда возвращался в родной город, то встречал иногда Весту. Она по-прежнему не была замужем и так же при встрече отводила глаза.

Жизнь закинула меня, уже почти сорокапятилетнего, в большой город на великой сибирской реке, где я второй раз в жизни потерял голову. Именно там, в этом городе, на набережной Енисея, я однажды увидел женщину с длинной черной косой. Смуглую красавицу Аду.

2.

Влюбленный в Аду

В третий день третьего летнего месяца, в третий год уже наступившего третьего тысячелетия, я шагнул по набережной Енисея с намерением пересечь реку по Коммунальному мосту и через остров Отдыха, а затем через Абаканскую протоку выйти на Предмостную площадь и дальше — на улицу Кольцевую, где в одном из панельных домов на девятом этаже жила женщина по имени Ада.

Специально не доехав на маршрутном автобусе до Предмостной, я сошел на полпути к Аде, возле кинотеатра «Луч», и, обогнув его, пересек улицы имени революционеров Урицкого, Кирова и Дубровинского, а после спустился вниз, к Енисею.

Я шел по набережной мимо ярких цветных палаток-кафе, мимо плывущих дымками в мою сторону ароматов: разливавшегося в бумажные и пластиковые стаканчики кофе, томленного на мангалах мяса, обжаренных в чанах овощей и риса, разогретых на тарелочках гамбургеров и чизбургеров.

Все здесь было точно так, как и несколько дней назад, когда мы познакомились с Адой. На закате дня по левому берегу Енисея лилась музыка и разлетались в разные стороны песни. Многие люди сидели за столиками в палатках и под открытым небом, при свете уже зажженных электрических фонарей. Некоторые танцевали прямо на пешеходных дорожках и даже на лестницах, идущих вверх от набережной. Я обратил внимание на статную брюнетку, возрастом за тридцать, с длинной по пояс толстой косой, в коротком летнем приталенном лиловом платье.

— Молодой человек, не проходите мимо! — обратилась она ко мне, когда я, одурманенный вечерними ароматами, лавируя среди людей и столиков, неожиданно для себя попал в круг танцующих. — Потанцуйте же со мной.

Я остановился, принимая слова женщины за шутку, однако уже через несколько мгновений левая рука брюнетки легла на плечо, а правая, откинув черную косу, подхватила и легко сжала мою ладонь.

Чувства мои выплеснулись через край, сердце заликовало, а душа, вострубив, улетела к проступавшим над Енисеем звездам. Я не помню, о чем мы говорили с Адой за столиком, когда закончили танцевать. Я купил две бутылки пива, а она представила меня нескольким мужчинам и женщинам из своей компании, но я не запомнил имен. Память выхватила лишь фонари на Коммунальном мосту, остров Отдыха и скамейку на Предмостной площади, где мы вначале робко, а под конец страстно целовались и говорили друг другу нежные слова...

На рассвете мы расстались с Адой у подъезда девятиэтажки на улице Кольцевой. В моем мобильном запечатлелся номер ее телефона, и я, едва начался день, позвонил ей. Мы говорили долго, вспоминая прошедший вечер. Я склонял ее к свиданию, она соглашалась, только во время раз-

говора несколько раз меняла дату и место встречи. Сошлись на том, что созвонимся и решим все вечером. Я позвонил вечером, затем поздним вечером, а потом ранним утром. Потом снова днем и снова вечером. И наконец Ада сдалась и пригласила меня к себе.

Я не шел, я плыл вдоль набережной, думая купить цветы на Предмостной площади и там же в супермаркете взять хороших конфет, коньяка и шампанского. Полон чувств, желаний, надежд, я преодолел большую часть реки и, дойдя до острова Отдыха, решил спуститься к кассам стадиона, чтобы попутно узнать, продают ли билеты на ближайший матч чемпионата страны по футболу.

Времени до назначенного свидания оставалось больше часа, и я, легко сбегав по ступенькам лестницы, нырнул под арку моста, устремляясь к стадиону. Навстречу мне попались несколько мужчин и женщин разного возраста, и я не сразу обратил внимание на седого человека в легком светлом плаще. По правде говоря, я его вообще не заметил. В кассе стоял небольшую очередь и по совету кассирши купил два билета в шестом ряду сектора «Е», на западной трибуне. Конечно, я думал об Аде. Я был уверен, что ей понравится мое неожиданное предложение — пойти на футбол. Я даже представил, как она вначале удивится, когда я ей скажу об этом, потом засмеется громко, как она обычно это делает, и, возможно, захлопает в ладоши. Представил, как мы будем кричать, поддерживая с трибуны наших, и даже попробуем свистеть, реагируя на неправильные, на взгляд болельщиков, решения судьи.

Я шел и радовался. Близости встречи с любимой женщиной, оригинальному решению пригласить ее на стадион, легкому потоку мыслей. Видимо, поток этих мыслей отражался на моем лице, потому как идущие навстречу люди, группами, парами, в одиночку спешившие кто к кассам стадиона, кто к берегу Енисея — к прокату лодок, водных велосипедов или просто к воде, глядя на меня, светились улыбками.

Улыбался широко и даже дружески и человек в светлом плаще, с длинными до плеч седыми кудрями. Первое, что я подумал, увидев его шагов за пятнадцать от себя, что он бывший футболист. Такие прически в семидесятых — восьмидесятых годах двадцатого века были в моде у многих известных футболистов, и им с удовольствием подражали малоизвестные. Я и сам в то время, как и мои кумиры — кудесники мяча, носил кудряшки до плеч и пшеничного цвета усы. Некоторые мои сверстники и те, кто был постарше лет на пять — семь, оставались верными однажды выбранному имиджу и ходили длинноволосыми и в пятьдесят лет. Если, конечно, волосы у них на голове еще оставались. Человек в плаще, мне думалось, был из их числа и, скорее всего, тоже шел за билетами на футбол.

По мере того как мы приближались друг к другу, я, вглядываясь в его лицо, находил знакомые черты. С каждым шагом я все больше приходил к мысли, что знаю, вернее, видел раньше этого человека, но вспомнить, кто же он и почему его лицо мне так знакомо, никак не мог. А че-

ловека, не было сомнений, узнал меня сразу, издали и шел навстречу уверенно.

— Здравствуйте, — сказал он, когда мы сблизились до шага.

— Здравствуйте, — сказал я, колеблясь, надо ли протянуть ему руку для приветствия или подождать, когда это сделает он.

— Вы не узнаете меня? — спросил длинноволосый, чуть повернув голову, видимо для того, чтобы я мог лучше разглядеть его в профиль.

Было видно, что он тоже готов протянуть мне руку, однако не решается сделать это первым. Его лицо было удивительно молодым и свежим, улыбка была отмечена печатью уверенности, глаза смотрели открыто ясными серыми зрачками на фоне чистых, без налета блеклости, белков.

Где же я его мог видеть? При каких обстоятельствах?

Да это же... Я вспомнил эти глаза, этот взгляд, эту улыбку!

Чистильщик... Это же чистильщик! Тот, что встретился тогда в родном городе, когда я шел на свидание к девушке по имени Рая! Я узнал его, узнал, несмотря на то что прошло больше двадцати лет!

— Двадцать четыре года, — подсказал чистильщик. — Если точно, то двадцать четыре года, два месяца и два дня.

«Как он оказался здесь?» — то ли подумал, то ли не успел подумать я.

— А у меня тут рядом, у моста, такая будочка-павильончик. Работаю в этом месте не так давно, чищу обувь, брюки... — снова отгадав предполагаемый с моей стороны вопрос, заявил чистильщик. — Сегодня работы было много, я вышел подышать на воздух, смотрю: знакомый человек идет, налет лет на нем почти не отразился, только брючки и обувь запылились. Дай, думаю, поздороваюсь, приглашу по старой памяти почистить... Зайдете?

Я поискал взглядом будку.

— Тут рядом, к Дворцу спорта... — показал он рукой от стадиона на правую сторону от моста, туда, где стоял памятник легендарному борцу вольного стиля.

— Ну, пойдёмте, — согласился я.

— Приведу в порядок ваши брючки, вашу обувь, — кивнул он, и мы пошли под арку моста.

Я был не то что удивлен — поражен! Чистильщик из прошлого! Почти не изменившийся за четверть века человек вдруг встречает не то чтобы знакомого, а одного из случайных своих клиентов, заходившего к нему двадцать с лишним лет назад на пятнадцать, от силы на двадцать минут в другом городе, и узнает его сразу, и запросто заводит с ним беседу. Это что-то из разряда невероятного. Да, он почти не изменился, но я! Я-то изменился внешне, я знал это точно! И лицо стало суровее, и прическа полегче, и походка тяжелее. Даже в родном городе друзья детства не всегда сразу узнают меня. А он узнал. Неужели он случайно оказался сегодня здесь?

— А меня помотала судьба за эти годы, — сказал чистильщик, прервав мои размышления. — И на Севере Крайнем жил, и на юге у моря,

и даже за границей немного. А вот снова в Сибирь вернулся. Потянуло. Видимо, здесь мое место.

Мы миновали арку и вышли на площадь. Гранитный борец на фоне Дворца спорта стоял во весь рост на пьедестале-колонне и смотрел на нас.

— Вас, я вижу, тоже жизнь по городам-весям покатала, — продолжал говорить чистильщик.

— Да, покатала-помотала, — согласился я.

— Глядя на вас, не скажешь, что вы несчастны, — сбавил шаг чистильщик и показал на небольшой павильончик за проезжей частью, слева от памятника: — Нам сюда. Вот моя будочка.

— Ну а я несчастным никогда и не был... — попробовал убедить его я. — Не чувствовал себя и одиноким никогда. Вот и сейчас, кажется, влюбился...

— Влюбилась или кажется? — спросил чистильщик, когда мы подошли к двери павильончика.

— Думаю, что влюбился.

— Подумать, конечно, стоит. — Он открыл дверь, кивком предлагая войти. — Особенно стоит задуматься, когда женщина сама выбирает вас. Как бы ненавязчиво берет за руку проходящего мимо мужчину и увлекает в танец...

Я остановился в растерянности. Нет, я даже оцепенел, будто меня облили холодной водой. Откуда он, чистильщик, может знать, как я познакомился с Адой?

Но оцепенение длилось недолго. Память вернула меня на двадцать четыре года назад, к первой встрече с ним, и удивление исчезло. Я шагнул через порог.

Нынешнее рабочее место чистильщика было гораздо просторнее того, что я видел двадцать четыре года назад. Стол, электрочайник, кружки и блюда, стул, небольшой диван, шкаф и две подставки для чистки обуви. У входа на стене круглое зеркало. Чистильщик снял плащ и повесил его на гвоздь. В окно размером примерно два метра на полтора заглядывали молодые тополя, высаженные вдоль проезжей части. Ветки дерева касались стекла, стучались листьями в окно, словно просили разрешения войти.

— Может, чаю? — спросил чистильщик, когда я остановился у зеркала.

— Нет-нет, спасибо, — отказался я. — Мне еще цветов купить надо, в магазин зайти. Для чая времени не остается.

— Ну, тогда к делу, — сказал он. — По нынешним расценкам — десять рублей за чистку брюк и десять за чистку обуви. Вас устраивает?

— По нынешним расценкам что-то уж совсем мало... — удивился было я, но тут же осекся, осознавая, с кем имею дело.

— Если считаете, что мало, можете заплатить по своему усмотрению, — улыбнулся хозяин павильона.

Я подошел к подставке и поставил на нее правую ногу.

Чистильщик кивнул. Через несколько секунд в руках его оказался прибор, напоминающий электробритву. Прибор зажужжал, потом загрохотал, а когда коснулся гачи моих брюк, запел.

— Техника совершенствуется, — пояснил чистильщик.

Прибор забегал по брюкам от щиколотки к колену и обратно, массируя ногу, и я почувствовал, как расслабляется мое тело, как уходит из него тяжесть. Прибор для чистки брюк словно забирал накопленное мною напряжение. Когда на подставку ступила вторая нога, я ощутил такую легкость, что готов был воспарить над полом и взлететь к потолку.

— Это — чудо-прибор, — говорил чистильщик, не поднимая глаз и не отрываясь от работы. — Он и от дурных мыслей очищает, оставляет только хорошие.

Я не понял, шутил он или нет, но почувствовал, что в голове стало вдруг так ясно, точно какой-то груз, доселе не ощущавшийся, упал с меня.

— Ну вот и закончили чистку ваших модно-дорогих брюк, — услышал я как будто из потустороннего мира голос чистильщика. — Сейчас возьмемся за туфли. Они тоже, видимо, итальянские?

— Да, и костюм, и туфли, и даже носки я купил в Италии, — подтвердил я его догадку — и не узнал своего голоса.

Я понимал, что слова эти проносились мною, однако они доносились до меня как бы со стороны. Словно это сказал за окном тополь, стучавшийся ветками в стекло.

Чистильщик что-то говорил, втирая крем в туфли, я слышал его, но уже не воспринимал смысла сказанного. Слова то будто падали с потолка, то летели от двери, то из-под стола, а то, казалось, из электрочайника.

— Ну вот и все, — сказал вдруг четко и отрывисто чистильщик, встав во весь рост. — Чистка закончена, теперь можно новую жизнь начинать. Как с чистого листа.

Он смотрел мне прямо в глаза, не мигая, так же, как и двадцать четыре года назад. А я смотрел на него, уже полностью потеряв ориентиры, не понимая, где я нахожусь. Он предстал передо мной совсем помолодевшим — сорокалетним, в белой рубашке и черных брюках. Интерьер его комнатки вмиг переменялся, и сама комнатка сжалась до размеров той будки, в которой я был четверть века назад. Еще мгновение, и я...

Я вдруг представил себя отброшенным назад, в двадцатое столетие, в первый день июня, за которым еще двадцать лет и семь месяцев до третьего тысячелетия. Сейчас я выйду вот в эту дверь и увижу дом с палисадником и цветущей сиренью, чистильщик укажет путь, и я пойду к девушке по имени Рая, ожидающей меня на скамеечке у ворот. Я увижу ее, но не дойду ни до ворот Раи, ни до скамейки, где сидит она. Я увижу ее, но не кликну, а поверну назад, за угол палисадника, и уйду не оглядываясь. А потом буду сидеть на скамеечке с застенчивой девушкой Вестой в районе госбанка, во дворе дома, где прошло мое детство и юность.

Я отчетливо услышал женский голос, назвавший меня по имени. Знакомый, очень знакомый... Голос позвал меня еще раз и добавил: «Иди, иди же...» И я узнал его: это был голос Весты.

Я оглянулся и вышел из оцепенения. Оторвался от взгляда чистильщика, и время вернуло меня на прежний круг. Чистильщик помудрел на двадцать четыре года, комнатка раздвинулась, появился стол, чайник, зеркало у входа, окно, в которое стучал ветками и листьями молодой тополь.

— Ну что, я свою работу сделал, — окончательно вернул меня в настоящее чистильщик. — Будем прощаться с вами. Кто знает, когда теперь увидимся? Может, опять через двадцать с лишним лет, а, если повезет, то и через тридцать, а то, кто его знает, может, даже через сорок.

— Да, да, да... — забормотал я, понимая, что, действительно, пора уходить. Достав из кошелька сторублевую бумажку, протянул чистильщику: — Достаточно за работу?

— Вполне, — улыбнулся он, взял деньги и положил на стол рядом с чайником. — Вы щедрый человек.

Лицо его снова засветилось добродушной улыбкой. Он кивнул мне на выход.

— До свидания, — сказал я и пошел к двери.

— До свидания, — сказал он мне вслед.

Перед тем как выйти, я оглянулся. Чистильщик был уже в белом плаще и смотрел на меня просто, даже дружески.

— До свидания! — повторил он и добавил: — Сделайте правильный выбор.

Когда я очутился на улице, борец вольного стиля продолжал стоять на своем постаменте. Я пошел по пешеходной асфальтовой дорожке под арку, к лестнице. Поднялся на мост. Прямо над аркой была автобусная остановка, от нее я бросил взгляд назад. Бронзовый борец смотрел прямо на меня; мимо площади проносились иномарки, уходя на дорогу за Дворцом спорта. Вдоль шоссе зеленели молодые тополя, помахивая ветками и листьями. Они стояли плотной стеной, как лесопосадки у железной дороги, и я не смог разглядеть павильона чистильщика.

Асфальтовая дорожка просматривалась отчетливо, а павильона не было видно.

Если я и удивился тогда, то не очень. Был вообще павильон или нет? Был ли чистильщик и заходил ли я к нему? А может быть, все это только игра моего воображения? Ведь тогда, двадцать четыре года назад, я шел на свидание к Рае перевозбужденным от чувств и встретил его, чистильщика обуви и одежды. И теперь, думая только об Аде и больше ни о чем, снова столкнулся с ним. Может, и нет в реальности никакого чистильщика и живет он лишь в моем сознании?

А как же тогда начищенная до блеска обувь? А как же голос, зовущий меня по имени? Чей это голос? Весты или не Весты?

Подкатил автобус № 80. Раскрывшиеся двери предлагали войти. И я вошел. Автобус быстро преодолел Абаканскую протоку и остановил-

ся у касс «Аэрофлота». Передо мною расстилалась улица имени героя Отечественной войны Александра Матросова, слева располагался подземный переход, ведущий к домам на другой стороне, а за домами — нужная мне улица Кольцевая и нужный мне девятиэтажный дом, где ждала Ада.

«Она же ждет, а я еще не купил ни цветов, ни шампанского!» Я встрепенулся, оглянулся и пошел на зов яркой вывески супермаркета рядом с кассами «Аэрофлота». Встреча с чистильщиком почти выветрилась из моей головы, и мыслями опять завладела Ада. Предвкушение встречи с ней вновь наполнило восторгом грудь. Я почувствовал, что улыбаюсь и лечу. Я стал замечать идущих навстречу людей с улыбками на лицах. Я вспомнил о билетах на футбол и воспарил еще выше.

Я промчался мимо касс «Аэрофлота» по направлению к дверям супермаркета, но на лестнице, метрах в пятнадцать от магазина, споткнулся и невольно остановился. Удержался на ногах, попросил прощения у спускающейся по ступенькам пожилой пары, несколько испуганной моей внезапной остановкой. Пожилые люди в такт друг другу покачали головами. («Осторожнее надо. Зачем же так спешить, не глядя под ноги?») Я улыбнулся в ответ, соглашаясь с ними. Парочка двинулась дальше, а я, собравшись снова взлететь, вдруг увидел Аду.

Она выходила из магазина, как всегда красивая и неотразимая: в черном пиджачке с отливом и в черной, чуть ниже колена юбке. Впереди она катила тележку, груженную пакетами. За ней шел пожилой мужчина с проседью и в белом плаще. Издали он был похож на чистильщика, однако я присмотрелся и понял, что это не он. Мужчина показал рукой на черный автомобиль «вольво», и Ада покатила тележку к машине.

Нет, я ни на секунду не допустил до себя даже мысли о ревности. Ада готовится к встрече со мной, отправилась за продуктами, встретила знакомого или соседа, и тот решил помочь ей довести покупки до дома. Что в этом такого? Было бы странно, если бы у такой красивой, общительной женщины не было среди мужчин друзей и даже поклонников. Конечно же, были и будут, и с этим надо смириться и принять раз и навсегда.

Мне захотелось окликнуть Аду, подойти помочь сложить пакеты в багажник, но я по-прежнему был без цветов, без конфет, без шампанского. Появиться перед ней с пустыми руками я не мог. Поэтому повернулся и быстро спустился вниз. Надо пойти в другой магазин, а она пусть ждет меня дома, как мы и условились. Обогнав пожилую парочку, я проскочил мимо «Аэрофлота», мимо подземного перехода и пошел вдоль улицы Матросова. Я двигался по правой стороне улицы, и мне почему-то не попадалось ни одного продуктового магазина. «Обувь», «Одежда», «Хозтовары», две аптеки. Я пересек улицу Семафорную, потом еще одну — 60 лет Октября, заглянул в павильон, не отличающийся разнообразным ассортиментом, и, пройдя под железнодорожным мостом, оказался в районе новостроек. Несколько красочных девятиэтажек стояли

в ряд одна за другой. Я не сомневался: в одной из них есть если не супермаркет, то хотя бы приличный продовольственный магазин.

До условленной встречи с Адой оставалось пятнадцать минут. Может, позвонить и сказать, что я попал в автомобильный затор? Нет, не стоит начинать наши отношения с обмана. А что сказать? Про чистильщика, про билеты на футбол или про то, что видел ее у супермаркета? Складывалась какая-то нелепая ситуация. Я опаздывал на свидание и в этом опоздании был виноват и в то же время не виноват. Зачем я пошел по Матросова? Не лучше было бы перейти по подземному переходу в район Предмостной площади? Там полно всяких магазинов. Вернуться назад? Надо вернуться. Ведь все равно нужно идти к подземному переходу и в район Предмостной площади. Там дом Ады. Там она меня ждет.

Около детской площадки, видимо, закладывалась новая аллея. Были высажены молодые деревья, выложена широкая пешеходная дорожка из брусчатки, по обе стороны которой стояли несколько скамеек. Я присел на одну из них. Время убыстряло ход. До намеченной встречи с Адой оставалось десять минут. Уже чисто физически я не мог дойти до ее дома вовремя. Даже если бы поехал на такси, без цветов и без шампанского. Я почувствовал, что вспотел. Рубашка прилипла к спине. Полез в карман пиджака за носовым платочком, чтобы вытереть испарину со лба. Рука наткнулась на мобильный телефон, и я с ужасом подумал, что, если Ада позвонит, я не найду, что ей ответить.

Телефон словно уловил мои мысли, заиграв «Вальс цветов» Чайковского, и на экране появилась фотография улыбающейся Ады. Мне нужно было только нажать кнопку и сказать: «Да». Звучал «Вальс цветов», улыбалась с фотографии Ада, мигала зеленой подсветкой кнопка телефона, призывая нажать на нее, и мой большой палец правой руки висел в сантиметре над ней. Я понимал, что в эту минуту, в эти секунды решается моя судьба. Если я нажму кнопку, то дальнейшая жизнь пойдет по сценарию, в котором будет Ада. Надолго или нет — она будет в моей жизни. Ведь этого же я и хотел, к этому стремился изо всех сил еще каких-то полчаса назад. А что, если не нажму я на кнопку телефона, что, если не отвечу — неужели ее больше не будет со мной и жизнь пойдет по-другому? Снова в поисках любви? Но чем же нехороша Ада? Да всем хороша! Надо, надо ответить. Пока я решался, «Вальс цветов» умолк и фотография Ады пропала с экрана.

Телефон молчал. Может, перезвонить? Сослаться все-таки на то, что был в автобусе и не услышал звонка? А как же цветы, шампанское? Но их еще можно купить. Еще не все потеряно. Еще не поздно. Ведь можно опоздать на свидание и извиниться. Я был уверен, что если сделаю так, то Ада поймет. Даже не обидится. Мы же взрослые люди, кое-что уже повидавшие в жизни. Надо позвонить, предупредить, что приду чуть позже.

Мимо по брусчатке прошагали два парня с рюкзаками, проехал велосипедист, возле соседней скамейки остановилась женщина с детской

коляской, постояв немного, присела. А я все не решался набрать номер телефона Ады. Прошло пятнадцать минут с условленного времени. Пятнадцать минут назад я должен был быть у Ады, и если бы это сделал, то уже сидел бы с нею за столом или на диване перед телевизором. Однако я сидел на скамейке в трех километрах от ее дома и размышлял. Я не решался позвонить и боялся, что снова позвонит она. Надо позвонить мне. Только не посчитает ли она меня странным, когда я начну объяснять, почему опоздал? Да, Ада вполне может принять меня сегодня за странного человека, а завтра начнет присматриваться, потом держать дистанцию... А что делать? Не звонить совсем? Но и это странно. Добивался, назначал свидание, добился — и не пришел.

Время тикало, торопилось, бежало, а я все размышлял. Я понимал, что сам загнал себя в ситуацию, из которой уже не выберусь без моральных потерь и подрыва собственного авторитета. Мною все больше овладевала мысль, что с Адой придется расстаться. Я положил телефон в карман, решив, что если она позвонит, то отвечу и скажу все как есть, а если не позвонит...

А если не позвонит, то не судьба нам быть вместе.

Я собирался вернуться обратно к подземному переходу на улице Матросова, но увидел идущую от девятиэтажки женщину в синем платье и решил дождаться, когда она пройдет мимо.

Женщина приближалась. Ее красивая фигура, походка невольно привлекли мое внимание. Туфли на высоком каблуке, эффектный бант с левой стороны платья, красиво уложенная прическа русских волос. Я глядел на нее не отрываясь и, видимо, слишком откровенно, потому что, поравнявшись со мной, она остановилась. Ощутив неловкость, я встал.

— Ну вот, сегодня еще утром вдруг подумала о тебе, сейчас вышла из дому и почему-то, сама не знаю, пошла в эту сторону, а тут ты сидишь. Как будто меня поджидаешь... — сказала женщина.

Я оглянулся на всякий случай. За спиной никого не было.

— Вы... Вы мне? — спросил я, почувствовав, как язык прилипает к нёбу.

— Вам... Тебе. Ты что, меня не узнал?

Передо мной стояла красавица, примерно сорокалетнего возраста, совершенно незнакомая и говорила со мной как с давним приятелем.

— Вы... Вы, наверное, обознались. Я вообще живу на левом берегу, а тут оказался случайно. Я про...

Она назвала меня по имени, оборвав на полуслове. Голос ее был знакомым. Я уже слышал этот голос. И не один раз. Набравшись смелости, я глянул ей в глаза и замер.

Веста!

— Да, это я, — сказала она и присела на скамейку. — Садись, поговорим.

Веста! Я не видел ее лет, наверное, двенадцать. Как она изменилась, похорошела! Стала солидной дамой.

— А я уже три года живу здесь, — кивнула Веста на девятиэтажку. — В доме, построенном по ипотеке. От железной дороги. А работаю уже семь лет в управлении инженером входного контроля.

— Да? — Я сел рядом. — А я работаю два года в железнодорожной газете.

— Знаю. Я читаю твои статьи. К нам в управление каждую пятницу газету приносят.

— А почему не позвонила в редакцию? Не сказала, что ты здесь?

— Поначалу, как увидела твою подпись в газете, хотела, да потом подумала...

— О чем подумала? — спросил я и почувствовал, что совершенно спокоен.

Мысли про свидание с Адой отошли на дальний план.

— А как ты думаешь: о чем? — спросила она, глядя в глаза, а после, чуть отведя взгляд, продолжила: — Ты правильно думаешь: о том, что у тебя семья и тебе не до меня...

Боже мой! Это Веста! Вот как только она отвела глаза, сразу отпали сомнения. Веста. Та же самая Веста, которая называла меня все время на «вы» и боялась встретиться мой взгляд. Вот это, точно, она. Опять скромная и застенчивая.

Та самая и в то же время уже не та. Повзрослевшая, может быть такая же скромная, но уже точно не застенчивая.

Она снова посмотрела на меня уже без тени смущения:

— Ну, давай рассказывай, как жил эти годы?

— А что рассказывать? Живу один, без любви и ласки. Любовь все мимо проходит. Кажется, вот она идет тебе навстречу, вот сейчас возьму ее за руку, прижму к сердцу, а она раз — и мимо...

— Красиво говоришь, образно, — улыбнулась Веста. — Да, ты всегда умел привлечь к себе внимание. С детских лет помню: если ты во дворе рассказывал про кино, полдома выходило тебя послушать. Даже те, кто ходил с тобой на фильм, заслушивались. Вроде вместе были в клубе, сидели рядом, а половину того, что ты рассказывал, пропустили как будто. Некоторые потом даже фильмы пересматривали и разочаровывались — не видели того, что было в твоих рассказах. Решили в кино больше не ходить, а тебя отправить, а потом послушать.

— Да, помню, помню! — рассмеялся я, почувствовав прилив радости.

Радости от встречи с Вестой. Выходит, не я, а судьба вела меня сегодня по улице Матросова.

— Ну а теперь ты, Весточка, расскажи про свое житье-бытье.

— Я хорошо живу, — сказала она, и лицо ее стало серьезным. — Жаловаться не на что. Квартира хорошая, работа хорошая... Жизнь хорошая!

— Ну а любовь? — осмелился задать я вопрос и застыл в ожидании ответа, как замирают в ожидании приговора.

— Ну а любовь, — вздохнула она, — любовь у меня даже не мимо, а вообще на горизонте не появляется. Жди не жди. Не идет, не торопится.

— Неужели одна живешь?

— Нет, не одна, — сказала Веста, еще раз вздохнув, и я приготовился услышать: с другом, с сыном, с дочерью.

Меня не удивил бы ни один из предполагаемых вариантов ответа.

— С мамой, — произнесла она, дождавшись, когда пот выступит на моем лбу. — Мама сейчас уехала на недельку в город нашего с тобой детства — сестру навестить, так что два последних дня я живу одна.

У меня отлегло от сердца.

Третий день третьего месяца лета и третий год третьего тысячелетия были в самом разгаре. Лето заходило на последний круг, новое тысячелетие брало разбег, и судьба моя делала новый жизненный оборот.

Где-то далеко, почти за пять сотен километров от Енисей-града, жила женщина по имени Рая. Может быть, в окружении мужа и детей, а может, одна или вместе с пожилыми родителями, в большом доме с палисадником и сиренью под окном. Жила не думая, а скорее всего, уже не помня обо мне.

А в этом городе, за три тысячи шагов отсюда, из окна квартиры на девятом этаже время от времени выглядывала женщина по имени Ада. Может, еще ожидающая, а может, уже и не ждущая меня.

Где-то на просторах Земли жил, а может, не жил, а лишь изредка появлялся из другого измерения мужчина, называвший себя чистильщиком и избравший меня своим постоянным клиентом, в числе сотен, а может, даже тысяч таких, как я, людей.

А я в это время шел под руку с прекраснейшей в мире женщиной по имени Веста, которую, я был уверен теперь, любил всегда.

И напрасно звонил на полную громкость мобильный телефон, призывая меня отвлечься от нее и вернуться в прошлое. Я не достал его из кармана и не нажал зеленую кнопку для ответа.



Святослав ЕГЕЛЬСКИЙ
МУЗЫКА ЗА СТеноЙ

Р а с с к а з

Хуже всего было то, что она оказалась замужем. И хоть Сергей не видел никогда мужа, ощущение, что и там, в чудесном, загадочном мире за стеной, есть что-то чуждое, неумолимой границей вставшее между ними, не давало покоя, ядом просачивалось в мысли. Хотелось узнать — и страшно было узнать! — о чем и как они говорят, и тонкая, легко пропускающая даже тиканье часов стена позволяла сделать это — стоило лишь приложить ухо, но он боялся услышать что-то такое, что помешало бы ему и дальше представлять жизнь за стеной таинственной, в корне отличной от жизни в остальном мире.

«Или это не муж?» — вдруг проснувшись посреди ночи, временами с тайной радостью думал Сергей и подолгу глядел вниз, на свет ее окна на асфальте, ожидая увидеть там ее или его тень. Иногда прямо под окном стояли «Жигули» соседа с нижнего этажа, и тогда было видно гораздо больше: в отполированном капоте, в лобовом стекле явно отражалась герань с ее подоконника и геометрически правильные лучи света на потолке, протянувшиеся от люстры.

Может быть, просто брат? Сергей, наткнувшись в темноте на стул и угол пианино, подходил к стене. А ведь как просто узнать — только приложи ухо!

Из дому она выходила рано, одна, иногда за спиной был футляр со скрипкой. Сергей мог смотреть на нее до тех пор, пока она не скроется за углом, и втайне надеялся, что однажды выйдет в то же время, что и она, и тогда сможет через весь квартал, до самой остановки идти за ней.

Сколько смысла вносила она в эту осень, желтыми, багряными, апельсиновыми облаками накрывшую двор, в распростертые на асфальте ладони кленов, по которым она шла, в желтый ящик на углу почты, в который она, может быть, когда-то опускала конверт, в склеенный скотчем телефонный справочник на тумбочке — ведь в нем должен быть и ее номер! Нужно только узнать фамилию.

Номер телефона хотелось найти не для того, конечно, чтобы звонить ей, а просто чтобы он был — как некая возможность в любой момент проникнуть, оказать влияние на застенный мир.

Кроме нее, в жизни существовало много ненужных, откровенно лишних вещей: к таким относилась школа, домашние задания, вымучиваемые в полукруге грушевидной настольной лампы, чей проводок подключался к розетке в ее стене, гаммы и упражнения Ганона, которыми он нарушал блаженную тишину осенних вечеров не только в своем пространстве, но и там, в ее комнате.

Что она делает этими вечерами? Какое у нее лицо? Куда она идет каждое утро?

А вот дома ли она — это можно было проверить. Сергей открывал крышку пианино. Всмотривался в свое отражение, покрытое черным лаком, непривычно серьезное. И начинал играть их мелодию.

Иногда она отвечала. И дальше наступали минуты, оправдывающие все нелепости его пребывания на земле: и школу, и Ганона, и вечера, проведенные с тетрадами, от которых рябило в глазах. Переставала существовать стена, сквозь которую соединялись ее мелодия и его аккомпанемент, переставал существовать муж, наполовину реальный, наполовину воображенный Сергеем, и те семь, восемь или десять лет, на которые она была старше...

Мелодия эта родилась как-то сама собой, в перерыве между упражнениями Ганона. За стеной настраивалась скрипка — тогда Сергей, еще ничего не подозревая о ее обладательнице, взял нужные ей звуки, помогая, а дальше — из до-мажорного аккорда, нарушившего образовавшуюся паузу, и выросла импровизация, в которую незаметно вплелась скрипка за стеной.

Они играли вместе, одну и ту же музыку — улавливая оттенки настроений друг друга, — здесь не было случайного совпадения. Поначалу не веря, Сергей брал опять тот же до мажор — и мелодия скрипки тоже возвращалась к началу и потом звучала снова, в полном согласии с аккомпанементом, который он находил на ходу. Затем они менялись: теперь она подстраивалась под аккомпанемент или отвечала на какую-то заданную им интонацию, обыгрывала ее.

Это было почти год назад, в середине прошлого декабря. За прозрачной узорчатой занавеской выростала особенно синяя, густая темнота; в пять в один миг зажглись ровной цепочкой фонари улицы; в шесть темнота окончательно загустела, потеряв свой синий оттенок; а они по-прежнему играли — и как хорошо, думал Сергей, имея в виду родителей, что никто, никто в мире, кроме него, не слышит этой мелодии: у него появилась тайна.

Играли они и под Новый год, до самых курантов. Родители, занятые предпраздничной суетой, не открывали дверь в его комнату, мелодия скрипки ни на минуту не прерывалась — и он думал: где сейчас ее муж?

В два часа, когда встали из-за стола, Сергей очень тихо, на левой педали, начал было «Адажио» Альбини, которое они с недавнего времени тоже играли вместе, но — без ответа. Выскочил на улицу — якобы для того, чтобы посмотреть салют, а на самом деле обошел дом — узнать, горит ли свет в ее окнах.

Над крышами округло взмывали световые шарики, оставляя сиреневые полосы в небе и в глазах; за домами орали пьяные; на ее потолке, кажется, переливались отсветы елочной гирлянды — значит, она дома. Только, наверное, сейчас она вместе с мужем. А может, у нее гости.

Присутствие этого света наполняло мир удивительной свободой; хотелось идти на свет желтых пузырьков фонарей в глубине дворов, по чьим-то следам на истоптанном снегу, может быть, по ее следам, под окнами, горящими голубым, бирюзовым, красным, под своды заснеженных елей, верхушки которых поднимаются над домами, сесть в трамвай, когда трамваи начнут ходить, и пусть плывут, преломляясь в морозных узорах стекол, длинноволосые, лохматые звезды фар, постепенно становящиеся ненужными в редющей, акварельной синеве первого утра года.

Все это было в его коротком рассветном сне. Утром, услышав за стеной скрипку, бросился к инструменту.

...За этот год он привык к ее незримому присутствию в своей жизни. Мелодия, сочиненная ими вместе, звучала несколько раз в день, его родителями и ее мужем слышимая лишь наполовину, без второй, тайной составляющей.

Не хватало еще чего-то.

Приходили разные мысли, одна чуднее другой: передать ей письмо на улице, или начать перестукиваться азбукой Морзе, или даже включить зашифрованное азбукой Морзе послание в свой аккомпанемент. Но что ей сказать? Все сказанное в музыке как-то не укладывалось в слова, да и не требовало слов, потому что и так обоим было понятно. Все, что можно сказать словами, было давно сказано другими.

На летних каникулах родители повезли его в Бердянск и две недели недоумевали, почему он вдруг сделался таким мрачным, словно ходил под невыносимой тяжестью. Ему и правда было тяжело: мучительно не хватало музыки за стеной. Он находил ее отзвуки разве что в шуме волн, в котором — он знал! — содержатся все звуки мира: стоит только представить себе любой, настроиться на него, как слух чудесным образом выделяет, найдет его в этом шуме.

Эта же мелодия скрывалась и в положении звезд Большой Медведицы, каждый вечер проявляющейся прямо над крышами пансионата: был там и ход на полутон вверх после первого звука, и возвращение к исходному звуку, и двойные ноты скрипки — как ковш. Сначала их мелодия мерцала над крышами, а уже под утро — над самым морем, такая же недостижимая, как и там, дома за стеной.

Каким облегчением была дорога назад, каким смыслом было наполнено это движение: с горизонтами, плывущими в синем мареве; с тенями облаков, бегущими по асфальту; совсем шахматными золотыми и зелеными квадратами полей, через которые гигантскими ферзями шагали опоры высоковольтных линий, и, как белые ладьи, вставали впереди колокольни сельских церквей, и с каждым столбом, с каждым домом, будь то мазанка с аистами на крыше или кирпичный особняк, скрытый глухим забо-

ром, с каждым тополем, роняющим вслед машине еще один пожелтевший лист, — становилась ближе она и ее мелодия.

Тогда же, может быть даже в этот день, мимо этих же горизонтов и тополей — вечных спутников, вечных провожатых всех, кто уезжает из этого края, — лежал и ее путь, разъединивший в их музыке партии скрипки и фортепиано.

Но это он узнал позже — прежде он успел почувствовать: как захватило дыхание, когда автобус спускался с эстакады и открылись на мгновение заводские трубы и город, находившийся к солнцу как раз под тем углом, так что сотни точек-окон вспыхнули, ослепляя; каким невообразимо родным, домашним повеяло от посадок и пустырей, которыми начинался город; как воздух из открытого окна, не давая смотреть на улицы, мягкой, как подушка, рукой зажал рот, нос, глаза — однако и это было приятно...

В своей комнате, не переодеваясь, не снимая рюкзака, даже не пододвигая стула, стоя — открыл крышку и привычно взял знакомый первый аккорд. Еще раз. И еще — ожидая ее вступления. Сейчас она расстегнет футляр, вот она берет скрипку, смычок... Впрочем, может быть, она только-только заходит в комнату? Нужно подождать несколько минут.

Но он ничего не услышал ни через несколько минут, ни через час, ни поздним вечером. Возможно, она была на работе или в гостях и сейчас еще возвращается, подъезжает в троллейбусе к остановке за углом, а войдет в квартиру — и сама заиграет, нужно только не уходить никуда, чтобы не пропустить.

Весь вечер он просидел за пианино, то как бы отсчитывая время одной повторяющейся нотой, то с новой надеждой начиная играть их первые аккорды, пока соседи в половине двенадцатого не забарабанили в стену пустой пластиковой бутылкой...

Пустоту, образовавшуюся в том месте души, которое некогда занимала для Сергея она, нужно было заполнить, и вечерами он, вместо того чтобы спешить домой, уже не подгоняемый ожиданием, шатался по одинаковым дворам, тщетно надеясь в них заблудиться, и облетающие листья — мокрые, холодные, как укусы компрессов, когда он болел гриппом, — липли к щекам, к лицу, словно силясь излечить его от грусти, боли, притяжения той, лица которой он не видел, голоса которой никогда не слышал.

Пытался заблудиться, забыть, кто он, после школы садился в трамвай, не глядя на табличку с номером, забивался в самый дальний угол. Преломляясь в морозных узорах стекол, плыли фонари в радужных ореолах, алыми маками распускались отсветы фар, одинаковые и на разворотном кольце возле вокзала, и вдоль бесконечного заводского забора с колючей проволокой, и в окраинных поселках, за которыми открывались до самого горизонта поля — все в нетронутых, ровном голубом снегу...

Уже зная, что она теперь за семьсот километров отсюда — не то студентка, не то преподаватель консерватории, он выходил наугад в раз-

двигающиеся двери с обледеневшими стеклами, не зная ни остановки, ни маршрута трамвая, в котором ехал, и сквозь снегопад, метель, туман, зимний ледяной дождь брел в приветливую темноту, квадратно изрезанную теплыми желтыми окнами, почти счастливый оттого, что ему неизвестно — и не будет известно еще пять, десять минут, — где он, в какой части города, на какой из его окраин, и оттого, что эти окна, и эти перечеркивающие их ветви, и эти звезды над крышей с круглым оконцем могли быть где угодно, в любом уголке Земли, и даже там, в далеком, недостижимом мире с консерваторией, где была она, теперь тоже недостижимая и далекая.

Что теперь там, за стеной, кто там, спрашивал себя он. И раз уж ее там все равно не было и страха нарушить, осквернить ее мир — тоже, Сергей прикладывал ухо к стене и слушал. Никаких звуков, кроме сухого, отрывистого тиканья часов, должно быть огромных, старинных, очень тяжелых. Где сейчас ее муж? И муж ли это? И был ли вообще тот мужской голос, может быть всего лишь казавшийся за стеной?

Сколько ей лет? Со спины никогда нельзя было сказать точно, а Сергей видел ее только со спины — рыжеватые волосы, развевающиеся по ветру, липнущие к черному футляру, в котором она уносила — среди прочих — их общую мелодию. Ей могло быть с равной вероятностью и шестнадцать, и двадцать шесть.

Иногда по ночам укрывался с головой, пряча под одеяло старый магнитофон с замотанной скотчем ручкой, вставлял кассету с их музыкой, которую ему удалось записать однажды. Скрипка была почти не слышна, она едва пробивалась даже сквозь шелест ленты, но там, на границе сна, шелест ленты превращался в шум дождя за окном, отзвуки гайдновской сонаты, стертой ради их музыки, — в хаос музык далекой консерватории, где была она. Однако то, что она была в консерватории, никак не мешало ей играть за стеной, и порой они играли весь день напролет до самого вечера, пока над крышей соседнего дома, повторяя контур мелодии, не повисала Большая Медведица, и все становилось как было, и странным казалось, что между этими вечерами и вечерами до ее отъезда было что-то еще.

...Над тополями бульвара висело небо, под тяжестью облачных нагромождений спустившееся к самым крышам. Как хорошо было, переставив горшки с цветами на стол, сидеть на подоконнике, смотреть сквозь стекло, запотевшее от дыхания, на мельк неясных огней, которыми пересыпана темнота, на свет одинокого окна напротив и думать — кто там, за тонкой мутной занавеской, чья лампа нарушает ровную предрассветную черноту? — а потом переходить на мысли о ней: вот за этой стеной она сейчас спит или так же стоит, дышит на стекло и их взгляды сейчас, может быть, встречаются на далекой зеленоватой звезде, то пронзающей облако, то вновь пропадающей в его толще.

Виктор КОСОУРОВ

ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Главы из книги

В издательстве «Вече» выходит книга воспоминаний В. С. Косоурова «Все возвращается». Виктор Семенович — человек известный, много сделавший для Новосибирска и области. Долгое время он возглавлял обком комсомола, работал заместителем председателя облисполкома, первым заместителем главы областной администрации. Был избран в Государственную думу. Позже работал аудитором Счетной палаты, представлял Новосибирскую область в Совете Федерации.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей несколько глав из книги Виктора Косоурова.

Как я отказался от предложения, от которого нельзя было отказаться

Думаю, что если бы «Книга рекордов Гиннеса» распространялась на секретарей комсомола, то я наверняка был бы в нее занесен как человек, проработавший наибольшее количество лет на должностях второго и затем первого секретаря обкома комсомола (десять лет в общей сложности). Обыкновенно молодых быстрее «пропускали», три-четыре года максимум — и человек уходил по служебной лестнице вверх или куда-нибудь «вбок». У меня же получилось так: четыре с половиной года — вторым секретарем обкома комсомола Новосибирской области и потом пять с половиной — первым секретарем.

С одной стороны, можно сказать, что не проявил себя должным образом, вот и не было предложений, с другой — как раз наоборот, во всем всех устраивал и надежно закрывал достаточно непростой участок работы с молодежью.

Как бы то ни было, но именно это обстоятельство позволило мне очень глубоко познакомиться с родной областью — одной из самых крупных даже по сибирским меркам, включающей в себя тридцать сельских районов. Мне приходилось бывать (причем далеко не по одному разу в год) во всех районах области, даже в самых ее отдаленных уголках. Этот

опыт впоследствии мне чрезвычайно пригодился — какие бы вопросы ни приходилось разбирать, я уже в деталях представлял реальную картину жизни того или иного района. Знал, как и чем там живут люди, насколько болезненны те или иные проблемы, каковы сильные и слабые стороны хозяйствования. В годы партийной работы это немало помогло мне во взаимодействии с кадрами руководящего звена. Особую роль здесь играло и то, что многие мои коллеги и друзья по комсомолу с течением времени выходили на руководящие посты в своих районах. Соответственно, у меня появлялась возможность общаться с ними в более спокойном, комфортном режиме, нежели с «чужими», и это помогало гораздо оперативнее и эффективнее решать многие вопросы.

Так случилось, что я стал первым областным «комсомольским вожаком», который остался работать в области после завершения своей комсомольской карьеры. Ибо после обкома комсомола либо уезжали работать в Москву, либо поступали в Дипломатическую академию (в Москве же) с последующим уходом на дипломатическую работу. Так или иначе, все прежние пути-дороги вели в Москву (либо через Москву, разветвляясь уже после ее академий по-разному).

Сначала казалось, что нечто подобное ждет и меня. В годы работы первым секретарем обкома комсомола я учился на заочном факультете Академии общественных наук при ЦК КПСС, два раза в год на месяц уезжал в Москву для сдачи сессий и в 1982 г. окончил академию с отличием.

Примерно в это время областное руководство в лице Александра Павловича Филатова мне предложило перейти на работу первым секретарем райкома партии. Это был вполне нормальный переход — с первого секретаря обкома комсомола, при достижении определенного возраста (34 года в моем случае), на пост первого секретаря райкома партии. Здесь масштаб района рассматривался как необходимая ступень для дальнейшего партийного роста. Но Филатов предложил мне почему-то возглавить (я сразу даже и не понял почему) сельский район. И я... отказался.

Чтобы лучше пояснить причину моего отказа, начну издали. Здесь не лишним будет даже вспомнить о годах моей работы вторым секретарем райкома комсомола в Черепанове, чтобы описать один как будто незначительный, но в то же время весьма показательный эпизод, оставивший в моей душе впечатление на всю жизнь.

* * *

Когда я пришел на должность второго секретаря райкома ВЛКСМ в Черепанове, в первую же неделю попросил райкомовского водителя Семена отвезти меня в село Карасево. Меня тогда, наверное, впервые посетила вполне похвальная сама по себе мысль, что руководителю обязательно надо бывать «на местах», общаться с трудовыми коллективами, с отдельными людьми.

И вот мы с Семеном подъезжаем и видим на краю деревни животноводческое помещение. Начало декабря, мороз минус 20°С, снега уже по

колено. Я изначально для себя решил, что надо съездить непосредственно к животноводам. Чего мне заезжать в контору, разговаривать с местным начальством? Слушать правильные бодрые доклады, не самые искренние, возможно, слова, листать выверенные заранее отчеты?

Подъезжаем к ферме. Уже выйдя из машины, вижу, что кто-то вышел из здания с торца. Я не был никогда в коровнике — не знаю, куда заходить. Вот и направился к тому углу, где издали завидел человека. Когда же подошел к торцу коровника, никого поблизости уже не было. Ну ладно, подхожу к дверям — трех-, четырехметровые створки, в целом проем ворот метров пять. Ворота с наледью, тяжело открываются из-за нерасчищенного снега. С трудом открываю... А оттуда пар идет, и скотина там и находится, в этом пару. Где-то вдалеке мерцает лампочка, но кроме этого слабого ее огонька не видать ни зги, хоть глаза выколи.

Но я себе говорю: «А ты что хотел увидеть здесь?! Оранжерею?! Тем не менее, люди здесь работают, значит, и ты должен». И пошел я в эту темноту. В зимних кожаных ботинках — недорогих, но новых, помню точно. Вдруг слышу этакий хлещущий свист буквально возле своего лица — слева, справа. А это, оказывается, коровьи хвосты! Коровы рядами стоят, задом ко мне, — и хвостами машут. И тут я с ужасом обнаруживаю, что в темноте вступил в какую-то жижу, попал одной ногой, тут же — второй, и понимаю, что это уже все, я по уши в навозе!.. Но по инерции ступаю еще несколько шагов вперед, не видя, куда иду, и в ужасе представляя, что просто упаду сейчас во все это и надолго стану здесь посмешищем: «Городской, мол, приехал в деревню, не может в коровник зайти! Вот оно — советское начальство, новый секретарь райкома комсомола!» Я, от греха подальше, очень осторожно, по чуть-чуть, ретировался, вышел из коровника на воздух, поскорее вернулся к машине и сказал водителю: «Ну все, пообщались с людьми, давай назад». Мы уехали. Я действительно был выпачкан навозом по колено, дома еле отчистился.

На другой день я приехал к секретарю местной комсомольской организации и мы отправились на ферму уже с ним вместе. Оказалось, надо было с середины заходить в этот коровник! Там — «красный уголок», там же, неподалеку, хранят механизмы для дойки, там и люди в случае общих собраний собираются. Я выяснил все это, просто пропустив местного секретаря вперед. Дальше уже несложно было сделать вид, что я всю жизнь хожу по фермам.

Я долго никому об этом не говорил. Мне было страшно стыдно. Только спустя годы смог об этом свободно и даже с самоиронией рассказывать. Но этот случай отпечатался в моем сознании навсегда.

Я окончил строительный институт, жил на проходной кирпичного завода и никогда не скрывал, что не отличаю овес от пшеницы. Хоть немало времени с самого детства я проводил в деревне Курочкино, и у родителей был огород и корова, я хорошо понимал, что это — не сельское хозяйство. Настоящее сельхозпроизводство — сложное, тонкое и трудоемкое дело, требующее специального образования, а для работы на руководящей должности еще и большой практики за плечами. Иначе очень просто

стать посмешищем для подчиненных. Особенно если они коренные селяне. Поэтому я был уверен — тот срам, от которого мне удалось спастись, вовремя ретировавшись из коровника, в случае моего назначения на пост главы сельхозрайона наступит уже неминуемо.

Вспоминается еще один эпизод: как меня утверждали на должность второго секретаря обкома комсомола.

...По прилету в Москву я сразу отправился в ЦК комсомола. Нашел в огромном здании свой сектор. (А тогда было разделение всех организаций по региональным секторам.) Моим был сектор Западной Сибири, возглавлял его грузин — Иосиф Захарович Джавелидзе. В этом тоже была управленческая специфика советской власти — назначать на руководящие должности по регионам людей, казалось бы, совсем им этнически неблизких. Таким образом укреплялось братство между всеми национальностями и народностями СССР. Формировался (и, надо сказать, весьма успешно) единый советский народ.

Итак, Иосиф Джавелидзе, очень обаятельный, широкой души человек, повел меня на собеседование по отделам ЦК ВЛКСМ. Их было полтора десятка. Всюду наш «полет проходил нормально», пока мы не приблизились к сельхозотделу.

Там сидел представитель национальной, уже не вспомню какой именно, небольшой республики. Он сразу повел разговор со мной достаточно жестко, я бы сказал даже, надменно.

Так, неожиданно последовал вопрос:

— Скажите, сколько пахотных земель у вас в области?

В принципе, наверное, надо бы знать. Я не знаю! Я же пока еще работник райцентра. К тому же технолог, железобетонщик по образованию. Откуда мне знать, сколько у нас в области пахотных земель?

— А какое поголовье свиней?

— Не знаю.

— А какое поголовье крупного рогатого скота?

— Не знаю.

— Так как же вы собираетесь работать там вторым секретарем обкома комсомола?! — недобро усмехается начальник сельхозотдела.

Я тоже захожусь с пол-оборота, говорю:

— Так я же думал, мне с людьми надо будет работать! А если так, я лучше тогда, наверное, не буду.

Меня выставили за дверь. Я минут двадцать ходил по коридору взад-вперед, пока завсектором Иосиф Джавелидзе тушил огонь конфликта. Не знаю, что он объяснял и как, взывал он к разуму или каким-то чувствам, но Джавелидзе конфликт погасил.

Выйдя из дверей сельхозотдела и тяжело переведя дыхание, он мне сказал одно:

— Виктор, я тебя прошу никогда так больше не делать.

Я только развел виновато руками.

— Ну, не надо так, — настаивал Джавелидзе. — Да, есть и у нас такие люди. Вообще, в жизни тебе могут встречаться всякие люди. Ты должен быть тоньше.

— Как тоньше?

— Гибче!

— Как гибче?! Меня загнали в угол! — я начал опять распалаться. — Мне говорят, я свиней не посчитал, я коров не посчитал, и таких, как он, баранов!.. Что мне оставалось делать? Я сказал то, что сказал!

Мне показалось, Джавелидзе даже с некоторым удивлением наблюдал проявления такого «горячего сибирского» темперамента.

Тогда вторым секретарем ЦК ВЛКСМ был легендарный Борис Николаевич Пастухов. Посмотрев мое личное дело, основное внимание он обратил на год рождения — то есть на то, что возраст у кандидата на должность пока что «пацанский».

— О, да я по сравнению с тобой — дедушка русской революции, — улыбнулся Пастухов.

Начал смотреть анкету собеседования и увидел, что в графе сельхозотдела написано: «Не согласовываю». Все «за», а этот возражает. Пастухов полюбопытствовал:

— А что там было?

Я отвечаю: так и так.

— Ну, ты не думай, — чуть даже смущенно сказал Пастухов, — что у нас все такие. Разные бывают люди. Но с другой стороны... ты сам тоже хорош. Прежде чем говорить, думай немного сначала.

Очень тактично меня поучил дипломатии, но — что было мне удивительно! — не сделал ни малейшего акцента на самом замечании.

Просто прочел его и улыбнулся. Видимо, в ЦК все уже знали цену этому человеку.

* * *

Слава богу, ко времени завершения своей карьеры в комсомоле я уже, конечно, понимал основные принципы организации сельхозпроизводства. Но чем больше я в эту область вникал, тем больше ощущал, каким поверхностным пониманием обладаю. Я не был знаком с этим тяжелым делом изнутри, не имел ни соответствующей теоретической базы, ни практической подготовки. А непосредственным примером должного отношения к сельскому производству была для меня соседняя Омская область, где все секретари сельских райкомов партии имели высшее сельскохозяйственное образование, причем соответствующее специализации их района — были там руководители животноводы, агрономы, механики.

Меня же хотели отправить руководить сельским районом просто потому, что так было принято. Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть! Я же ответил: «Нет». Это было из ряда вон. ЧП областного масштаба.

Как?! Тебе доверяют возглавить район, а ты еще кочевряжишься?! Первый секретарь обкома, глубоко порядочный человек Александр Павлович Филатов очень был расстроен. Он высказал мне жесткие и горькие слова:

— Я очень надеялся и верил в вас. Я относился к вам как к сыну. — А он, действительно, очень тепло и сердечно ко мне относился. — Я считал, что вы возглавите в будущем область. Но для этого надо пройти соответствующую школу, поработать в райкоме. Это первая ступень вашего испытания... и вы даже ее не выдержали, вы меня очень подвели!

При этих словах я окончательно понял, почему Александр Павлович принял решение отправить меня именно в сельский район. Он искренне хотел, чтобы у молодого человека, имеющего инженерное образование, диплом Академии общественных наук при ЦК КПСС, определенный опыт работы в областном центре, обязательно появился опыт работы на уровне сельского района. Тогда, по его пониманию, через три-четыре года меня можно было бы рассматривать уже как реальный резерв на руководителя области. Надо отметить, что такое А. П. Филатовым сказано было впервые.

Иной после этих слов упал бы перед «отцом родным» на колени. Кто-то просто попросил бы искренне прощения и принял предлагаемую должность. Но я ответил так:

— Я сказал то, что сказал, Александр Павлович, извините.

По тем временам это было равносильно волчьему билету. Все. Ты никто и никуда. Филатов максимально холодно и отстраненно мне сказал:

— Идите. Я вас больше не задерживаю.

Я был тогда кандидатом в члены бюро обкома партии. Каждую неделю бюро собиралось для рассмотрения тех или иных вопросов. Я тоже вынужден был приходить. Но наш разговор с Филатовым стал общим достоянием. Видимо, первый секретарь обкома сам рассказал заворгу, заворг поведал остальным, и кое-кто перестал подавать мне руку.

Насчет меня в одночасье утвердилось мнение, что «этот парень — не наш, а только притворявшийся нашим», он пошел против сложившейся практики и очень крепко всех подвел. Честно говоря, я даже не знал, как в этих обстоятельствах себя вести, очень комплексовал. Но я не мог не ходить на заседания бюро обкома партии, и на моих глазах творилось это лицедейство — многие делали вид, что меня просто не замечают.

Все знали, что у меня есть некоторый опыт административной работы. Знали и то, что для меня карьера — не пустой звук. Да, я не лишен амбиций и, как всякий человек, особенно рожденный в апреле, нацелен на карьерный рост. Но, не знаю отчего (может быть, просто повезло с характером), это никогда не было для меня главным смыслом жизни. И если возможность карьерного роста вдруг не совпадала с моими внутренними установками, миропониманием и нравственной оценкой, то я эту возможность легко отвергал и решительно занимал ту позицию, которую подсказывало мне чувство справедливости или общественной пользы.

Здесь же основной причиной моего отказа от нового назначения было обычное понимание, что каждый должен заниматься своим делом. Я еще не знал в ту пору слов Жан-Жака Руссо о том, что «высшая безнравственность — заниматься тем делом, в котором плохо разбираешься», но я помнил, как со мной беседовали о посевных площадях в ЦК ВЛКСМ

в Москве, когда я проходил утверждение на должность второго секретаря обкома комсомола, помнил историю с коровником в Карасево и многое другое...

Конечно, со временем я набрался бы знаний и опыта, но во имя чего совершать эти подвиги? 90 % в том районе — сельскохозяйственное производство. Да, есть два-четыре небольших инфраструктурных предприятия, впрочем, тоже обеспечивающих сельское хозяйство, ремонт техники, в лучшем случае производство строительных материалов, а все остальное — чистое сельхозпроизводство. Конечно, не китайская грамота, можно было разобраться. Только зачем мне и целому району тратить драгоценное время на мое перепрофилирование, если, как я прекрасно знал, в области нет дефицита в специально обученных людях, несоизмеримо более опытных в сельских вопросах, которые с ходу могли разобраться во всем гораздо оперативней, подробней и глубже, чем я.

Почему-то я был тогда твердо уверен, что точку приложения своих сил, опыта и знаний будет нетрудно найти в другом месте.

Так и получилось. Помню, буквально через полгода мы, члены бюро обкома партии, стояли полукругом в зале после заседания бюро обкома. Так вышло, что первый секретарь Филатов находился с одной стороны полукруга, я — с другой. Вдруг он подошел и публично, при всех, положил руку мне на плечо:

— Ну, что ты не заходишь?

Я тихо говорю в ответ:

— Зачем вы так, Александр Павлович? У меня никакой обиды. Более того, я всегда считал, что вы по-своему правы. Просто не могу сменить свою позицию, которую вам высказал.

— Нет, ты давай заходи завтра.

После этого с меня было снято табу отступника. Я вновь оказался в команде.

На другой день я пришел к Филатову и услышал следующее:

— Есть предложение направить вас первым секретарем райкома партии в городской район.

«Средмашевский» район

Мне предложено было возглавить «средмашевский» район города Новосибирска. «Средмашевским» он назывался неформально — по направлению работы его предприятий*, официально же район именовался Калининским. Здесь и случился второй, думается, самый важный и мощный этап моего человеческого становления.

Ни в коей мере не хочу умалить значение «комсомольского периода» моей жизни. В течение всех десяти лет моей работы в ВЛКСМ мне нужно было каждые два года переизбираться. Сегодня много говорят о недемократичности выборов в СССР, но в сравнении с современным по-

* Министерство среднего машиностроения управляло атомной отраслью СССР.



ложением дел те выборы были демократичней на порядок. В особенности в комсомольской среде. Молодежь всегда и всюду радикальна, у нее не бывает золотой середины, молодые все могут в глаза сказать, задать любые, самые острые и даже каверзные вопросы. Поэтому я должен был каждый раз и делами, и точным, уверенным отчетом о своих делах доказывать свое соответствие занимаемой должности. И в такой «штормовой» обстановке я каждые два года переизбирался на областных конференциях.

Как все это происходило? На конференции обычно присутствовал секретарь ЦК ВЛКСМ либо заведомо ЦК ВЛКСМ из Москвы. Приходил первый секретарь обкома партии, с ним являлось руководство области — четыре-пять человек. Электорат в зале — по сути, рядовые комсомольцы, 500—700 человек местных активистов.

Тайным голосованием (!) избирался состав обкома комсомола, это человек 60—80. А уже потом этот состав вел закрытые прения и избирал себе секретаря. То есть каждый раз — в два весьма напряженных этапа — надо было доказывать свое соответствие должности. Эта комсомольская школа давала очень много каждому, и по прошествии времени я могу с гордостью подтвердить, что благодаря именно этой школе многие из нас состоялись и зарекомендовали себя в производстве, бизнесе, на административной работе.

В 90-х и даже позже, чуть ли не до сего дня, было принято ехидничать и ерничать по поводу комсомольской системы СССР. Многие помнят скандальную повесть писателя Юрия Полякова «ЧП районного масштаба». Написано хлестко. Но я категорически не согласен ни с одной мыслью, ни с самим духом этого произведения. Разумеется, бывало всякое, как говорится, в семье не без урода, но совсем не эти системные издержки, столь гиперболизированные Поляковым, были сутью комсомола. Я говорю это с позиции отработанных в комсомоле двенадцати лет. И все эти двенадцать лет, в абсолютном несоответствии с литературными экзерсисами «перестроечных» авторов, я встречал среди комсомольских работников главным образом деятельных, эрудированных, энергичных профессионалов, а в решении всех текущих вопросов всегда царила сугубо деловая атмосфера. Я, к примеру, не позволял ни разу в своем кабинете накрыть стол, даже во время визитов высоких начальников или «дорогих гостей». Бывало, приглашал (но уже вечером, после рабочего дня!) гостей отдохнуть на природу или в соответствующее заведение, даже к себе домой, но никогда не расслаблялся на работе: мы умели отдыхать, ценили юмор, дорожили дружбой, но никогда не путали одно с другим.

С этой комсомольской школой я и пришел в Калининский («средмашевский») район Новосибирска. В нем находилось пять предприятий Министерства среднего машиностроения СССР, которое в то время возглавлял Ефим Павлович Славский, совершенно легендарный человек, один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия.

Рекомендовал меня на должность первого секретаря райкома партии Калининского района, как нетрудно догадаться, Александр Павлович

Филатов. Был проведен пленум райкома партии, на котором калининцы меня и избрали первым секретарем своего райкома.

Я работал на этом посту с 1984 по 1987 г., в течение трех лет. Это была очень серьезная и большая школа жизни.

Надо заметить, с Ефимом Павловичем Славским я познакомился еще будучи первым секретарем обкома комсомола, в 1982 г. Тогда Новосибирский обком ВЛКСМ готовил решение о строительстве молодежного комплекса на берегу Бердского залива, в двух километрах от нашего знаменитого и легендарного Академгородка, в сосновом бору. Нам удалось доказать Николаю Константиновичу Байбакову, председателю Госплана СССР, необходимость сооружения такого комплекса для отдыха молодежи Сибири и Дальнего Востока. В итоге мы были включены в решение Политбюро о развитии Тюменского нефтегазоносного района со следующей формулировкой: «С целью создания условий для отдыха молодых нефтяников возвести молодежный комплекс “Сибиряк” под городом Новосибирском».

Строительство комплекса, как мы и просили, было поручено мощной строительной организации, которая базировалась в Новосибирске, — «Сибкадемстрой». Она была главным застройщиком и генподрядчиком при создании Академгородка и Сибирского отделения ВАСХНИЛа. Эта организация частично базировалась в Калининском районе и относилась к системе Средмаша.

Поэтому сначала вопрос об участии «Сибкадемстроя» надо было согласовать с министром среднего машиностроения Е. П. Славским. А. П. Филатов подсказал:

— Ты подойди к Ефиму Павловичу на съезде как секретарь обкома комсомола.

Признаться, я несколько был озадачен.

— Я же его не знаю. Не видел никогда...

— Да его легко найти, у него — три звезды Героя Соцтруда. Такой богатырского вида старик.

Действительно, его трудно оказалось не узнать. Едва возле гардероба замаячила высокая мощная фигура с широкими покатыми плечами (в далеком прошлом Славский был командиром эскадрона Первой конной) и зазвучал раскатистый голос, я напрягся — уже почти уверенный, что это именно тот человек, которого я жду. А уж когда он перед стойкой гардероба снял пальто и золотом блеснули три звезды Героя, у меня не осталось ни малейших сомнений.

Я подошел и сказал:

— Ефим Павлович, здравствуйте.

— Привет, — удивленно обернулся Славский. — Ты кто такой?

Я представился. Тут подошли и мои партийные начальники — Филатов и другие, они были уже знакомы с Ефимом Павловичем — видимо, просто «пустили вперед» молодого из тонких политических соображений. Тут же в двух словах Славскому рассказали обо мне и о нашем проекте, и Ефим Павлович уверенно кивнул в ответ — с нашими доводами в целом согласился, но потребовал развернутый проект...

В итоге все согласования с правительственным и партийным начальством были получены, и в первые годы строительство шло самыми ударными темпами.

Жаль, не успели мы до «перестройки» достроить этот комплекс. Работы были выполнены примерно на 50 %, но, как только пришел Горбачев, строительство было заброшено лет на восемь. Затем перешло в руки частных лиц, и комплекс был достроен с перепрофилированием назначения. Некоторые помещения остались прежними, например, спорткомплекс. Но большая часть гостиничных номеров была переделана под жилые квартиры, которые начали реализовываться уже в частном порядке.

* * *

Но вернемся в 1984 г., когда я волею судеб оказался первым секретарем райкома партии того самого района, главными предприятиями которого руководило Министерство среднего машиностроения.

Мы теперь нередко встречались с Е. П. Славским. Так уж у него было заведено — каждый год он приезжал в наш район и на одном из предприятий собирал руководящие кадры всех пяти предприятий и проводил выездные заседания коллегии своего министерства. Это и для меня, и для всех работников Средмаша, вхожих на эти совещания, была школа невероятного высокого профессионализма и очень конструктивного построения взаимодействия центра и предприятия. Славский выезжал сам на места и решал вопросы, на которые в других министерствах тратились даже не месяцы — годы.

Например, Славский ведет заседание, а директор предприятия, на котором проводится коллегия, выступает с отчетом. Славский как бы полудремлет, ему 87 лет. Я про себя думаю с грустью: «Чего стоят теперь эти красивые слова о человеке-легенде? Все равно годы берут свое, сидит старик, дремлет, уже далеко не все он может уловить».

Директор тем не менее в течение 15—20 минут докладывает и останавливается:

— Ефим Павлович, доклад закончен.

Тут Славский приоткрывает глаза и задает пару-тройку таких вопросов, из которых директор отвечает в лучшем случае на один. На других он чуть-чуть плывет — то есть оказывается не совсем компетентным, хотя подготовленность его доклада нам казалась потрясающей. Но глубина знаний министра, понимание предмета, о котором ему докладывают, были просто вне конкуренции. Оказывается, «дремлющий» Славский во все вник, ничего не упустил, все услышал и увидел и, моментально оценив, задал вопросы о самых уязвимых местах в планировании работы предприятия.

По прошествии какого-то времени, чаще в конце всех докладов, министр спрашивал, какие вопросы есть к нему.

Кто-то, собравшись с духом, поднимался и спрашивал:

— Ефим Павлович, помните, мы говорили о необходимости расширения производства, о создании дополнительного цеха строительства?

Или вопрос другого плана:

— Ефим Павлович, вот вы говорили о том, что молодежь надо закреплять на предприятии, надо молодежные общежития строить и так далее...

— Ну что же, — отвечает Славский, — присылайте письмо в министерство, мы рассмотрим.

Другой человек (там тоже ведь не самые простые и бесхитростные люди собирались) уже тянется к министру с бумагами:

— Ефим Павлович, вот письмо.

Славский передавал бумагу своему финансисту, тот знакомился и зачастую тут же визировал. Часто Славский сам сначала пробегал письмо:

— Так... Нет, 20 миллионов — многовато, давайте обойдемся восемнадцатью.

И подписывал тут же решение. За десять минут решались такие вопросы! Причем это была не бравада «народного министра», не игра в демократию. Все решалось очень рационально. Когда на следующий год Славский приезжал, ему тут же докладывали, что сделано по данному поручению, отчитывались непосредственно по протоколу прошлогодней встречи.

Что и говорить, бюрократии тогда было гораздо меньше. А действительной работы — больше.

Славский был легендой машиностроительного комплекса страны. Средмаш — это же ракетно-ядерный щит страны, о котором так много сегодня говорят. Вот они, эти пять предприятий нашего Калининского района: головной завод «Химконцентрат», завод «Химаппарат», завод «Промстальконструкция», трест «Химэлектромонтаж» и пятая организация — «Сибкадемстрой», о которой мы уже говорили.

В 1986 г., когда произошла трагедия в Чернобыле, из нашего района более четырехсот человек поехали туда для оказания помощи в возведении саркофага. Райком партии был с этим тесно связан — мы готовили людей, отправляли и встречали, занимались с семьями. В. Н. Кармачев — генеральный директор НПО «Электрон», который руководил всей кадровой службой в Чернобыле во время ликвидации аварии, даже привез мне подписанную зампредом Совета министров СССР Б. Е. Щербиной грамоту такого содержания: «Первому секретарю райкома партии за активное участие в работе при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Головной строительной организацией, которая работала на саркофаге, был наш «Сибкадемстрой». Его руководитель Геннадий Дмитриевич Лыков, теперь уже ушедший из жизни, получил за эту самоотверженную в полном смысле слова работу звезду Героя Социалистического Труда. К сожалению, работа на саркофаге для большинства строителей-новосибирцев не прошла бесследно: многие подорвали там свое здоровье. Многие спустя некоторое время ушли из жизни: и наш Лыков Г. Д., и зам-

министра по строительству Средмаша Усанов Александр Николаевич, и многие рядовые строители, которые принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии.

Я пришел на должность первого секретаря райкома партии в «средмашевский» район сравнительно молодым человеком. А у каждого из руководителей пяти перечисленных выше предприятий на тот момент было по три, а у кого-то и по четыре ордена. Причем это были ордена за высшую трудовую доблесть — орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени... Важные для страны предприятия возглавляли известные заслуженные люди 50—60 лет. У меня с ними разница в возрасте — лет 15—20. Естественно, раздавая приказы налево и направо, особо здесь не накомандуешь. Если мне что-то требовалось от этих предприятий и их руководителей, нужно было всегда знать тот предмет, о котором шла речь, на пять с плюсом. Только в этом случае был шанс донести суть вопроса до директоров прославленных заводов и в чем-либо их убедить. А убедить в чем-либо этих людей, убежденных сединами и озаренных блеском орденов, было почти невозможно. Должна была произойти (или не произойти!) «притирка» между мной и этими колоссами.

Итак, 3 сентября 1984 г. прошел пленум Калининского райкома партии, меня избрали первым секретарем, и уже на следующий день обком партии спустил разнарядку, по которой мне предписывалось отправить 200 человек на уборку картофеля. Тогда это широко практиковалось — помощь работников предприятий и НИИ совхозам и колхозам. В Калининском районе стало уже традицией обращаться в этих случаях к тресту «Химэлектромонтаж», другие предприятия трогать было попросту запрещено. И каждый год «Химэлектромонтаж» отдувался за всех, отправляя людей на поля. Можно представить, какое настроение охватывало в сентябре его руководителя.

Я пригласил к себе директора треста Владимира Ивановича Стоянова. Коротко обрисовал ему ситуацию, которая, впрочем, для него давно была делом привычным. Но он, по всей видимости, решил воспользоваться «сменой власти», приходом на должность первого секретаря молодого и неопытного человека, и не давать на сей раз на сельхознужды своих людей, необходимых самому на производстве.

Еще не дослушав меня, он заартачился:

— Вы тут приходите и уходите! А с нас никто план не снимал! Вы понимаете, что нас заставляют каждую неделю отчитываться? А как я буду выполнять свой план, вы меня спросили? Вот откуда я вам людей возьму, тем более в таком количестве? Не дам ни одного человека.

Я говорю:

— Странное дело. Я считаю...

Стоянов опять перебивает:

— А как хотите, так и считайте! Не получите ни одного человека.

— Послушайте, что за разговоры? Кто же будет выполнять решение правительства, партии?

— Вы меня на это дело не берите! — И трехэтажное ругательство. —

Я сказал свое слово.

— Ну тогда и я должен сказать свое слово. Я таких руководителей видал... — И позволил себе отпустить выражение в том же духе.

Закончилось тем, что он хлопнул дверью и ушел. Я остался в своем кабинете. И что, думаю, дальше? Мне же надо выполнять решение обкома, а без этого нервного орденосца я выполнить ничего не могу! Вот он только что сидел в кабинете первого секретаря райкома партии! И что? В то время предприятия Средмаша в стране были настолько авторитетны, решали настолько большие задачи, что первый секретарь райкома партии для них... мягко говоря, не самый большой начальник, который встречался на жизненном пути. Стоянов мог себе позволить так себя вести.

Я сидел сутки, все думал, что делать. Наконец звоню в приемную Стоянова, понимаю — он на месте. Прошу не предупреждать о моем приходе (там буквально 500 метров между нашими зданиями), захожу к нему в приемную и без доклада открываю дверь в его кабинет. Он меня явно не ждал. Только вчера мы «послали» друг друга очень далеко и, судя по всему, надолго. И вдруг я захожу!..

Здороваемся за руку, сажусь за приставной столик.

Он говорит:

— Ну и что вы пришли?

— Пришел продолжить прерванный разговор, — отвечаю. — Но, прежде чем написать заявление о том, что я слагаю с себя обязанности руководителя Калининского района, я хотел бы понять — у нас с вами действительно неразрешимые вопросы возникли?

— В смысле?

— Я не могу продолжать руководить районом, если первое же поручение, которое мне было дано, я не выполнил. А как мне его выполнить, если после моего обращения к вам вы меня попросту «послали»? Причем не выбирая выражений.

— Ты же понимаешь, какая обстановка...

Я говорю:

— Понимаю. Но что за форма разговора? Мне рассказывали, что здесь краснознаменный район, здесь выдающиеся, даже легендарные руководители, здесь я пройду лучшую школу жизни, школу высочайшей подготовки. Это вот это имелось в виду? Что меня матом пошлют на второй минуте? Я в заводском поселке вырос, сам знаю, как матом ругаться. Мне не надо было для этого сюда приходить. Поэтому я, честно говоря, не вижу особой необходимости здесь находиться, пойду сейчас писать заявление.

— Нет, ты подожди, — останавливает Владимир Иванович. — Вот ты вроде все верно говоришь, но кто меня поймет?!

Я говорю:

— А кто меня поймет?

Слово за слово — мы проговорили с ним около часа! Снова возникло очень жесткое напряжение, мы «обменивались мнениями» на повышенных тонах. Но закончился разговор уже другими словами.

— Когда направлять людей? — спросил Стоянов.



— Завтра, — был мой ответ.

В течение двух дней все 200 человек у меня были. Разрядка обкома была выполнена в срок. С тех пор у нас с Владимиром Ивановичем Стояновым были самые лучшие отношения. А ведь все решил тот факт, что я пришел к нему. Я мог бы пожаловаться первому секретарю обкома партии (я же — член бюро обкома, у меня вес был), спокойно сообщил бы: такой-то директор не слушается. Естественно, ему бы объяснили, заставили бы все сделать как полагается, но наши отношения с ним были бы разрушены уже безвозвратно.

* * *

Главное предприятие «Химконцентрат» само строило своим сотрудникам жилье, при этом 10 % передавало в социальную сферу — врачам, учителям, сотрудникам органов внутренних дел и так далее. Однажды приходит ко мне председатель райисполкома Валерий Александрович Федоров и говорит:

— Я считаю, что надо бы вам обратиться к Свечникову. — Эрик Николаевич Свечников был директором «Химконцентрата». — Обратиться, чтобы он дал нам квартиры.

Говорю в ответ:

— Так-так. Я, первый секретарь райкома партии, буду к нему обращаться за квартирами, а ты будешь их распределять, райисполком? Хорошая позиция! Нет! Ты — выходец из этого завода, ты — председатель райисполкома! Это у тебя работают врачи, учителя! Вот и обратись к Свечникову. А если уж тебе он не поможет, тогда приходи ко мне.

Проходит несколько месяцев, и Валерий Александрович является ко мне с копией своего письма. Он тогда же, сразу после нашего разговора, написал и отправил это письмо на завод. «Химконцентрат» — режимное предприятие, там первый отдел — и ни одна бумага на сторону не уходит. Но начальник первого отдела — родственник председателя райисполкома — снял для него копию с этого письма уже с резолюцией Свечникова Э. Н.

Гляжу на эту копию, а там, непосредственно на обращении председателя райисполкома к директору завода с просьбой выделить квартиры для таких-то нужд, директором наложена резолюция: «Пошлите его на...». И собственноручная роспись! То есть он понимал, что эта бумага внутри предприятия останется, никуда за проходную не выйдет. А она вот вышла. Председатель принес мне копию, и я ее забрал.

Идет бюро райкома партии. Э. Н. Свечников — член бюро, уважаемый руководитель предприятия, царь и бог в этом районе. Да и не только в этом, ведь он — лучший друг секретаря обкома партии Филатова, он с министром среднего машиностроения на короткой ноге, и я для него не указ. Но де-юре — вполне даже указ, тем более что он — член бюро райкома.

Тянется заседание, рассматриваем разные вопросы... Наконец я говорю:



— А вот еще один вопрос. Вопрос о взаимоотношениях райисполкома с нашими предприятиями. Как-то у них не очень получается, особенно у «Химконцентрата» с райисполкомом.

Эрик Николаевич мне тут же отвечает:

— Да вас вводят в заблуждение. Этого не может быть! Мы всегда душа в душу живем.

— Да я тоже так думал, — говорю, — но вот что-то не сходится...

— Не верьте, это все наговоры.

Я продолжаю:

— До тех пор, пока я не прочитал это письмо, сам так думал. — И не читаю, а выхожу и отдаю копию письма Свечникову. — Вот вы сами почитайте, мне неудобно читать это вслух.

Свечников берет листок и покрывается пятнами. Он понимает — никаких аргументов в свою защиту теперь нет.

Я поясняю собранию:

— Резолюция не совсем этична со стороны Эрика Николаевича. — И продолжаю мысль: — Я предлагаю для начала поставить ему на вид.

Была такая форма партийного взыскания — «поставить на вид». Этому прославленному человеку! У него — четыре ордена. Он — лучший друг первого секретаря обкома партии. И я, пришедший полгода назад, ему «на вид» объявляю.

Свечников встает и, хлопнув дверью, выходит.

В его отсутствие все, разумеется, поддержали меня, и неэтичное общение с органами исполнительной советской власти было совершенно официально «поставлено на вид» «царю и богу» Э. Н. Свечникову.

После этого случая я как первый секретарь райкома вырос в глазах многих. А Свечников со мной месяц или полтора не разговаривал. Но потом мы стали лучшими друзьями, везде и всюду он меня поддерживал.

Эта была та ничем не заменимая школа, которая потом, когда я стал зампредом облисполкома, позволила мне оптимально выстраивать взаимоотношения как с руководителями многочисленных предприятий, которыми славился Новосибирск, так и с представителями высшей власти.

Таким был Калининский район, где я до 1987 г. проработал первым секретарем райкома партии, а затем был выдвинут на должность заместителя председателя облисполкома.

Новосибирские «октябристы», или Мой уход из власти

Октябрь 1993-го. Я — зампред облисполкома, самый молодой из одиннадцати замов. Но у меня больше всех лет стажа, уже около семи лет. А так как я всегда был на язык довольно острый, то позволял себе иногда забегать вперед старших.

И вот собирает глава администрации Виталий Петрович Муха всех нас в 9 утра. Начало октября, за окном только чуть просветлело, дождик моросит...

А губернатор говорит нам, что Законодательное собрание Новосибирской области будет сегодня рассматривать вопрос о ситуации, возник-

шей 3 октября 1993 г. То есть по свершившемуся расстрелу Белого дома, или Верховного Совета Российской Федерации, из танковых орудий.

— Как вы считаете? — спрашивает нас губернатор. — Как нам со всем бардаком этим быть? Времени — 9 утра, а в 10 наше Законодательное собрание рассматривает вопрос по всему этому беспределу. Какую нам позицию занять? Кто что думает?

Я тут же ему отвечаю:

— Думаю, что мы опять разойдемся сейчас по своим кухням, там и будем свои главные собрания проводить со всем праведным гневом: вот, мол, сволочи, сатрапы!.. как совести у них хватает!.. а мы все тут в белом и пушистом!

Губернатор спрашивает:

— Ну а что ты предлагаешь?

— Я предлагаю заявить свою позицию! Совершенно очевидно, что это ельцинское хамство не поддается даже идентификации по статьям Уголовного кодекса! Можно сколько угодно на эту тему рассуждать, но у нас нет сейчас времени! Совершенно очевидно, что мы должны занять очень жесткую и четкую позицию! Чтобы всем без исключения было понятно, в чем она конкретно состоит.

Губернатор скашивает глаз в сторону:

— Остальные как?

Я говорю:

— А что остальные?! Они все согласны!

И все, действительно, сидят молчат.

Губернатор спрашивает:

— Так что, я тогда выхожу и... выступаю от имени новосибирского правительства?

— Именно от правительства! — говорю. (В 1993-м уже пошли все эти переименования органов власти, но сама структура была еще вполне советская.) — Вот смотрите! Мы выступим с решительным протестом, Свердловская область выступит, Нижегородская, Челябинская... И, глядишь, мы их в Москве хоть как-то образумим! Но кто-то первым начать должен!.. В противном случае...

— Все верно! — перебивает губернатор. — Так и сделаем! Договорились!

Он выходит — и в Законодательном собрании выступает с решительным протестом ельцинскому беспределу.

Надо сказать, что Виталий Петрович Муха был настоящим «красным» директором в хорошем смысле этого слова. Он был высочайшего класса профессионалом военно-промышленного комплекса, человеком с очень твердой жизненной позицией. И когда он нас собрал и начал советоваться по поводу выступления, я думаю, он уже твердо знал, о чем он будет говорить. Ему просто была нужна поддержка, и он ее получил. Тогда многие сказали, что это было одно из лучших выступлений руководителя органа региональной власти.

А уже на следующий день приходит телеграмма за подписью Ельцина о снятии губернатора с должности.

Что ж, я тут же беру лист бумаги и пишу заявление об отставке. «Ухожу в отставку в знак солидарности...» и так далее. Коллеги меня начали уговаривать остаться, но я, конечно, оставаться был не вправе. Ведь это я выступил «с инициативой», хотя понимал, что она Виталию Петровичу была не особенно нужна. Но в тот момент ему нужна была поддержка, поэтому я не мог оставаться на своей должности как ни в чем не бывало.

И все-таки Новосибирская область в лице Законодательного собрания и губернатора хоть немного, да подпортила кровь «новой власти»! И, возможно, немало содействовала тому, что у власти этой не возникло того ощущения полной вседозволенности, того куража и опьянения, которое могло возникнуть после танковых обстрелов беззащитного парламента. Из Новосибирска и некоторых других российских городов поступили необходимые «звоночки». Пусть тихие, но предупреждения.

Исполняющим обязанности губернатора назначили мэра города Ивана Ивановича Индинка, с которым я был хорошо знаком. Мы, действительно, работали бок о бок: во второй половине 80-х гг. я был первым секретарем Калининского РК КПСС, а И. И. Индинок — первым секретарем Заельцовского РК КПСС. И вот теперь он собирает всех замов. Причем собирает в какой-то подсобке и говорит:

— Я всегда уважал и уважаю бывшего губернатора. И теперь, после того, что случилось, в его кабинет никогда не войду! Потому что считаю его позицию единственно правильной! Я чту его опыт... Но... надо было все-таки идти другим путем. Действовать не в такой резкой форме... — он тяжело вздохнул. — А собрал я вас всех здесь, чтобы понять, что вообще в области у нас на сегодня происходит?..

За окном тот же октябрь месяц. Тот же дождичек блестит на тусклой позолоте деревьев...

Все поначалу молчали. Я тоже решил не проявлять пока инициативы. Тем более что я тогда уже всего лишь «дорабатывал». Мэр повторяет свой вопрос. И через паузу один встает все-таки и говорит:

— Я вот сельхозник. Как вы понимаете, октябрь уже месяц! А перевод скота на зимнее стойловое содержание очень тяжело идет. Кормов не хватает!..

И так далее.

Второй по энергетике докладывает:

— Завоз угля не обеспечен. Из тридцати районов сельских только 20 % углем обеспечено!..

Мэр вздыхает:

— Ну ладно. Еще у кого вопросы?

Тут я уже не смог отмалчиваться дальше. Встаю и говорю:

— А я не понимаю, Иван Иванович, вы чего пришли сюда? С какими полномочиями? Что мы, как подпольщики, сидим в этой подсобке? Почему мы не в том кабинете — там, где надо? Вы исполняющий обязанности? Тогда будьте любезны — берите на себя всю полноту ответственности и как положено руководите! — И оборачиваюсь к замам. — А вы чего тут? Вы кому жалуетесь по поводу кормов? Он сидел в городе — он что по-

нимаешь? А ты, энергетик, кому слезы льешь? Уголь ему, видите ли, не завезли! А кто виноват? Что он сейчас сделает по этому уголю?

И тот, и другой на десяток лет старше меня!

Тут мэр перебивает меня:

— Я заканчиваю совещание!..

Все встают, а он берет меня под локоток:

— Правильно, пойдем отсюда. Где у тебя кабинет?

— Да здесь же вот, на пятом этаже...

Заводит меня в мой же кабинет. И, даже еще не присев, говорит:

— Слушай, я предлагаю тебе — первым замом! Я вижу, мы с тобой сработаемся. Все у нас получится!.. Ну, согласен?!

Я приглашаю его все-таки присесть и отвечаю:

— Ты пойми, я не от тебя уйду. Я должен остаться порядочным в отношении всей ситуации и в отношении того человека, которого я сам подтолкнул к известным поступкам и которого сняли из-за этого указом Ельцина. Причем я и сегодня считаю нашу позицию правильной. И я абсолютно убежден, что по прошествии времени — не знаю, когда, но она будет признана верной! Поэтому я уйду.

Мэр:

— Нет!.. Я тебя прошу... — Но перевел дух и быстро сформулировал новое предложение: — Ну помоги хоть с Минфином! — он полагал, что, взяв на себя помощь в этой животрепещущей проблеме, я постепенно остыну, а значит, соглашусь впоследствии и на его главное предложение.

А тогда существовал такой порядок: раз в год по всем управлениям и ведомствам области формировалась делегация в 10—15 человек. Они летели в Москву, в Министерство финансов, и отстаивали бюджет области. Это была, наверное, самая ответственная миссия из возможных. От результатов поездки, по сути, зависело, как будет город и область жить в течение целого года, то есть можно ли будет, как говорится, назвать это жизнью.

Я согласился с предложением и. о. губернатора. Как зампред облисполкома, отвечающий за всю «социалку» (а основная расходная часть бюджета — это «социалка»), я собрал представителей всех управлений, сформировал делегацию, и мы отправились в Москву.

Для меня во многом эта миссия была уже делом техники. Я ж все время раньше ездил, и некоторое понимание, как выбивать из столицы оптимальное финансирование, у меня было.

Выношу за скобки нюансы этой миссии, скажу лишь, что в результате мы выбили в Москве (плюсом к утвержденному ранее бюджету) около 470 миллионов — даже больше, чем в прошлом году. Приехал, доложил, отдал новому губернатору все документы. А следом положил на стол ему свое заявление об уходе. Он снова удивился, так как полагал, что я собирался «хлопнуть дверью» сгоряча, а за пару недель все же остыну. Но я не остыл, и губернатор, неодобрительно покачивая головой, подписал наконец мое заявление.

Так я ушел в отставку в ноябре 1993 г. И после этого, при том что я практически с малых лет жил в области, десять лет был секретарем обкома комсомола, семь лет — зампредом облисполкома, я полгода ходил с

табличкой «Ищу работу»! Куда бы я ни обратился, мне говорили: «Семеныч! Мы все понимаем! Ты вот такой мужик! Ну давай... — и переходили на шепот, — вот сейчас только паузу сделаем... Пройдет волна маленько... А уж потом мы сразу тебя позовем!»

Это сегодня, по прошествии четверти века, все вспоминают 93-й год со снисходительной усмешкой и рассказывают, какими они были крутыми. Одни бесстрашно боролись с ельцинским произволом, а другие, верные соратники Бориса Николаевича, «дали» своему народу «подлинную демократию». В действительности же тогда многие говорили шепотом, с такой оглядкой, словно 37-й год стоял за дверью.

То, что Ельцин — новая серьезная власть, сознавали все, и противники его, и сторонники. И то, что эта власть будет себя защищать (более или менее жестко — уже другой вопрос), понимали тоже все. Ведь защищать себя всеми доступными методами — в природе любой власти.

Все знали: если нашлись «октябристы», которые выступили с решительным протестом, пусть даже самым мирным, против действий власти, они неминуемо должны поплатиться за это. И, думаю, даже без приказа сверху все «соответствующие службы» заняли «соответствующую позицию». Поэтому около полугодя я и был безработным.

А потом взял три листочка бумаги и написал устав своей коммерческой организации «Русинпром»... *

Аудитор Счетной палаты

Когда я пытаюсь окинуть взглядом свой жизненный путь с целью определить, где и когда мне лучше работалось, то ясно вижу, что именно работа в течение пяти лет (2005—2010 гг.) в Счетной палате России — пожалуй, лучшее время моей жизни. Причем по самым разным позициям. С одной стороны, это была крайне ответственная и уважаемая работа. Ранг аудитора близок к рангу министра страны. Это — не громкая декларация, а действительное положение вещей в государстве. С другой стороны, в нашей Счетной палате царил замечательная атмосфера, двенадцать моих коллег-аудиторов были умнейшими людьми, имеющими колоссальный профессиональный опыт, прошедшими серьезную жизненную школу, людьми, с которыми было невероятно интересно работать да и просто общаться. Конечно же, мы не могли отказать себе и в роскоши неформального общения, помимо чисто профессионального. Да и оно было невероятно полезно для дела, невольно подпитывало новыми знаниями, неизбежно углубляло общее понимание жизни, оттачивало умение увидеть и осмыслить главное в том многообразии стекавшихся к нам статистических данных, которыми нам приходилось заниматься.

Помогала всему и сама атмосфера, которая сложилась к тому времени в Счетной палате. Это было, наверное, самое главное. Эта и предельно

* Генеральным директором корпорации «Русинпром» В. С. Косоуров работал до 2000 г. Затем стал первым заместителем главы администрации Новосибирской области. В 2003 г. был избран в Государственную думу Российской Федерации. С 2005 г. — аудитор Счетной палаты.



деловая, и истинно товарищеская атмосфера создавала ту неповторимую обстановку в Счетной палате, о которой лучше всего говорится в известном афоризме о человеческом счастье: «Что такое счастье? Когда тебе хочется утром идти на работу, а вечером возвращаться домой». Это был пятилетний период моего стопроцентного совпадения с этими словами. С домом — это внутреннее дело каждого, здесь человек, в общем-то, сам себе хозяин, спутник жизни — как правило, его личный выбор, а вот отношения с работой далеко не всегда и не у всех складываются. Ведь здесь дело не только в тебе. Даже в самом увлекательном труде крайне важна обстановка, в которой ты будешь этим трудом заниматься, а это зачастую дело случая, удачи. И в моей жизни появилась эта безоговорочная большая удача с моим приходом в Счетную палату.

А сложилась эта удивительная искренняя атмосфера во многом благодаря руководителю Счетной палаты — Сергею Вадимовичу Степашину. О нем уже немало сказано, написано. На протяжении своей политической карьеры Сергей Вадимович возглавлял целый ряд министерств и ведомств, даже премьером страны побыл несколько месяцев на излете ельцинского времени. Но дело даже не в этих должностях, не в послужном списке, а в самом Степашине как человеке, в его миропонимании, его высочайшей управленческой культуре, в его собственном жизненном кредо. Сергей Вадимович — очень решительный и волевой человек, великолепный аналитик, равнодушный к жизни своего народа.

Когда Степашин пришел в 2000 г. на эту работу, он тут же провел целый ряд реформ внутри Счетной палаты. До этого она была неким контрольным госорганом, одним из многих, не более того. После же, с приходом Степашина, все начало кардинально меняться, и когда я в 2005-м году пришел туда аудитором, Счетная палата уже была высокопочитаемым органом в нашем государстве, к которому чутко прислушивались все министры и сам президент Российской Федерации. Он зачастую теперь сам предлагал Счетной палате провести ту или иную работу — оценку, экспертизу той или иной программы, понимая, что это будет высокопрофессиональная и грамотная экспертиза. То есть Счетная палата к этому времени стала верным помощником и советчиком правительства и президента, надежным плечом, на которое президент всегда мог опереться в своих расчетах и государственном планировании, в аргументированной оценке всех происходящих в Российской Федерации процессов.

Об авторитете Степашина говорит и тот факт, что он одно время возглавлял Европейский союз контрольно-счетных органов, был членом президиума ИНТОСАИ (Международной организации высших органов финансового контроля в странах ООН). Это говорит и о международном признании авторитета Сергея Степашина, обладающего высоким профессионализмом, дипломатическими качествами, а самое главное — качествами организатора, потому что под его руководством Счетная палата приносила в ИНТОСАИ свое видение процессов организации экспертиз и проведения контрольных мероприятий. Контроль на данном уровне — это не просто поймать кого-то за руку и сказать «ату». Речь шла о

том, чтобы создать такую систему, которая бы уже на ранней стадии выявляла все нежелательные, а тем более опасные тенденции. В идеале такая система должна зримо влиять на экономическую политику государства.

* * *

Ежегодно мы рассматривали на коллегии Счетной палаты результаты исполнения бюджета за прошедший год. Каждый аудитор рассматривал расходы по своему направлению.

Особое удовлетворение я чувствую до сих пор оттого, что мы не только сумели аргументированно указать на неправомочность действий министра финансов РФ Алексея Леонидовича Кудрина, но и заставили его признать нашу правоту. А ведь в бытность министром финансов он был практически непререкаемым авторитетом для большинства чиновников даже высшего звена.

Мы проверяли исполнение бюджета по итогам 2008 г. и обнаружили довольно частые злоупотребления в привлечении зарубежных консультантов для решения споров, связанных с отстаиванием интересов страны.

И если привлечение иностранцев вполне в компетенции руководства министерства, то оплата их труда должна была проводиться в рамках исполнения закона о бюджете. То есть соответствующие расходы должны быть указаны в той или иной статье бюджета. А их предусмотрено в бюджете 2008 г. не было.

И вот А. Л. Кудрин приглашает очередных «консультантов» и выплачивает им около 200 миллионов рублей. Из всех документов об этом акте необыкновенной щедрости свидетельствовала только записка зама, поданная Кудрину, с запросом на вышеуказанную сумму, на каковой записке Алексей Леонидович размашисто начертил «Оплатить». И оплатили. Ни в бюджете, ни в статье расходов — нигде таких расходов не предусматривалось.

Это обнаружили наши инспектора, проверявшие отчетность, и я вынес этот факт на обсуждение коллегии СП, в те дни мы как раз рассматривали бюджет 2008 г. Разумеется, возник спор с «высечением искр» и прочими сопутствующими явлениями. Минфин заявил Счетной палате в категоричной форме: ваш анализ не профессионален, вы не компетентны!..

После этого меня пригласил на разговор Степашин и напрямую спросил:

- Ты уверен в своей правоте?
- Абсолютно.
- Будем настаивать?
- Будем настаивать.

Степашин поддержал меня официально, мы опять отправили свою претензию в Минфин. И вынесли на коллегию по утверждению отчета об исполнении бюджета 2008 г., которая должна была собраться на следующий день в 10 утра, в том числе и вопрос, связанный с щедрой оплатой иностранных консультантов.

Едва на завтра я вошел утром в свой кабинет, по внутреннему телефону позвонил Степашин: зайди. Захожу к нему, а он с улыбкой подает мне дубликат письма А. Л. Кудрина премьер-министру РФ В. В. Путину: вот посмотри-ка, почитай.

То есть уже во вторник я читал письмо, написанное Кудриным премьер-министру в понедельник. Содержание письма было таким:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

У нас сложилась практика привлечения зарубежных консультантов. Информировать Вас о том, что в этом году произошло отклонение от бюджетной нормы. Изначально мы не предусматривали этого, но были вынуждены привлечь специалистов. Просим разрешить нам в порядке исключения эти расходы. В дальнейшем обязуемся учитывать все траты заранее в полном объеме и проводить через бюджет в соответствии с законом о бюджете». Путиным было написано под этой повинной: «Согласен».

— Это наша победа, — сказал Сергей Вадимович, пожимая мне руку. — Кудрин официально признал нашу правоту.

Я взял у Степашина эту бумагу и с удовольствием снял себе копию. Она хранится у меня и по сей день.

* * *

Особая страница моей биографии, связанная со Счетной палатой, — это участие в работе по возвращению Сергиевского подворья. Сергиевское подворье и российская собственность в Иерусалиме (и вообще в Палестине) существовали с XIX в., со времен Российской империи.

В 1882 г. было основано Императорское Православное Палестинское Общество. После Октябрьской революции общество вынужденно разделяется на две независимые организации — российскую и зарубежную. В 1918 г. оставшаяся в России часть общества была переименована в Российское Палестинское общество при Академии наук, и только с 1992 г. было восстановлено историческое название — Императорское Православное Палестинское Общество.

Существо проблемы заключалось в том, что в 60-х гг., при Никите Сергеевиче Хрущеве, была проведена так называемая «апельсиновая сделка» и вся собственность Православного Палестинского Общества была продана Израилю за 4,5 млн. долларов, при этом основная часть платежа осуществлялась поставкой цитрусовых. Сегодня, разумеется, встал вопрос о ее возвращении.

Российские власти действовали через дипломатические каналы и общественные организации. Было много сделано активистами ИППО, государственными органами по подготовке вопроса о возвращении Сергиевского подворья и другого имущества русской Палестины.

С 2007 г. председателем Императорского Православного Палестинского Общества с благословения Святейшего Патриарха Алексия II стал Сергей Вадимович Степашин — председатель Счетной палаты РФ.

И вот мне — как аудитору Счетной палаты, ведущему вопросы зарубежной собственности, — было поручено Сергеем Вадимовичем принять

участие в работе, которую вел Доку Гапурович Завгаев от лица МИД РФ. В то время Доку Гапурович был генеральным директором МИДа (так называлась должность заместителя министра иностранных дел, отвечающего за вопросы финансов и административно-хозяйственную работу). Буквально несколько слов хотел бы сказать об этом удивительном человеке. Я благодарен судьбе за то, что мне довелось с ним работать. Доку Гапурович, пройдя непростой жизненный путь, сумел сохранить очень теплое и уважительное отношение к людям. С особым чувством ответственности он относился к порученному участку работы и, какой бы сложной она ни была, шаг за шагом шел к достижению конечной цели.

Я уже говорил, что это была завершающая стадия переговоров, но при этом, как зачастую бывает, самая сложная. Мы с Доку Гапуровичем летали в Израиль и в Министерстве иностранных дел проводили необходимые встречи. Это были очень непростые разговоры с руководством Израиля.

Затем дважды их представители приезжали в Россию, и мы проводили обсуждения уже на своей территории с привлечением необходимых лиц из высших эшелонов власти.

Первым успешным шагом в переговорах стало то, что обе стороны пришли к признанию правомерности самой постановки вопроса — рассматриваемая нами территория с недвижимым имуществом испокон веков принадлежала Православному Палестинскому Обществу, и стремление российской стороны к ее возвращению вполне оправданно. Затем встал вопрос о компенсации с нашей стороны, поскольку на землях ИППО уже был расположен ряд израильских министерств и ведомств. Разговор о размерах этой компенсации шел довольно долго. Наконец договорились. Теперь возник вопрос о выселении израильских ведомств с Сергиевского подворья, и уже в конце моей службы в Счетной палате были начаты первые восстановительные работы. Сегодня все работы в основном завершены, переселение проведено, Сергиевское подворье восстановлено и, дав приют Императорскому Православному Палестинскому Обществу, работает в интересах паломников, которые приезжают из России на святую землю Палестины.

Сергиевское подворье возвращено России! Естественно, не только и не столько благодаря нашим с Доку Гапуровичем усилиям, сколько благодаря принципиальной позиции президента РФ В. В. Путина и грамотной отработке договоренностей на высшем уровне С. В. Степашиним. Тем не менее я очень рад и горд тем обстоятельством, что мне довелось принять участие в этой священной и патриотической миссии.

* * *

Наряду с международными делами в сферу моей компетенции входил и бюджет Союзного государства России и Беларуси. Бюджет был сравнительно небольшой — 4,5—5 миллиардов рублей, но тем сложнее его было сформировать. В течение пяти лет я принимал участие в формировании этого бюджета, проводил контрольные мероприятия, постоянно бывал в Минске и других городах Белоруссии.



Как раз в то время актер и продюсер Игорь Угольников готовился к съемкам своей кинокартины «Брестская крепость», и мы в этом ему помогали. Конечно, много больше помогал ему Степашин. Когда в Союзном государстве стали создавать свою телерадиокомпанию (ТРО), мы настойчиво порекомендовали назначить Игоря ее начальником. Причем госсекретарь Союзного государства Павел Павлович Бородин не очень-то был рад этой кандидатуре, ему явно хотелось назначить руководителем ТРО своего человека. Но Сергей Вадимович настоял на кандидатуре Игоря.

Телерадиокомпания ТРО до сих пор неплохо работает, в Москве и Подмоскovie вещает на «федеральной волне», то есть находится в свободном доступе для всех телезрителей, вне зависимости от подключения к кабельным сетям, хоть и дислоцирована в Минске.

Но Пал Палыч Бородин еще долго ставил палки в колеса Игорю, неоднократно заявлял, что Угольников неэффективно тратит средства Союзного государства как на организацию ТРО, так и на реализацию кинопроекта «Брестская крепость».

Чтобы защитить Игоря, нам пришлось провести достаточно подробный аудит расходов на этот фильм. В итоге Игорь даже ощутимо выиграл в этой тяжбе с Пал Палычем — и морально, и финансово: мы не только оправдали все его расходы, но и пришли к выводу о необходимости выделения дополнительных средств на покрытие неизбежных затрат, которые возникли в ходе съемок фильма.

Думаю, сегодня со мной согласятся все зрители, посмотревшие этот замечательный фильм, что это одна из лучших за два последних десятилетия кинокартин о войне — в ней на удивление гармонично соединились масштабность и психологизм, счастливо встретились серьезный, глубоко проработанный сценарий, талантливая режиссура, мастерство оператора, великолепные актерские работы, не говоря уже об ответственном подходе к своему делу всех цехов — художников и декораторов, гримеров и костюмеров, скрупулезно воссоздавших ту трагическую и великую эпоху. А все это вместе — несомненная заслуга человека, отвечавшего за результат, — продюсера Игоря Угольникова.

Космические угрозы

В 2012 г., когда я уже работал в Совете Федерации, Юрий Леонидович Воробьев, в то время заместитель председателя СФ, зовет меня к себе и говорит:

— Виктор, понимаешь, ну, меня достала Академия наук. Надо бы посмотреть вопросы планетарной защиты от космических рисков, угроз, понимаешь?

Я даже оторопел немножко:

— Слушайте, Юрий Леонидович, где я, где эти риски? Что вы это вдруг, к чему?..

А у нас всегда с ним были хорошие отношения, простые, неформальные.

Но он продолжает на полном серьезе меня «загружать»:

— Понимаешь, это же Академия наук ставит вопрос! А ты у нас по науке. Ты — первый зам в комитете. А кому я тогда поручу?

Я по-прежнему сопротивляюсь.

— Тогда давай так, — говорит. — Ты возьми, ну, знаешь, так не особо... Ты ж будешь руководителем рабочей группы. И я тебе, если чего-то где-то, буду помогать. Потихоньку подготовим круглый стол или конференцию проведем...

Что ж, я от работы никогда не бегал, хоть и не напрашивался.

Собираю рабочую группу, привлекаю представителей научного сообщества и всех, кого положено. Набросали план работы... И постепенно я влез с головой в эту историю. Влез так, что всем существом своим вдруг понял — это не смешная вещь.

Первое, орбиту Земли замусорили так, что уже одно это стало представлять угрозу. Второе, и самое главное, — угроза от метеоритов, комет и прочих космических тел. Отслеживать их приближение к Земле и бороться с ними не под силу какому-то одному государству. Существовали инициативы поделить нашу планету на зоны планетарного контроля, хотя бы между 5—10 развитыми государствами — чтобы каждое из них отвечало за свой сектор. И уже планировались подобные подходы. Причем мы зачастую были их инициаторами. Но каждый раз с появлением каких-то более насущных, острых или просто более понятных и осязаемых для человека проблем эти инициативы откладывались в долгий ящик, а вскоре просто забывались.

То есть первая задача нашей группы состояла в том, чтобы это дело как-то обновить, заново сформулировать ближайшие задачи «планетарной защиты» и подать служебную записку президенту.

И вот мы потихоньку занимаемся — собираем информацию, анализируем... К этому процессу я подключаю всех, кого необходимо и возможно, — директоров институтов, Роскосмос, МЧС и так далее. В итоге на руках у меня оказывается довольно внушительный материал.

И на 12 марта я назначаю круглый стол с целевым докладом и обсуждением проблемы. А перед этим мне надо было слетать в Минск на очередной форум Союзного государства России и Белоруссии. Прилетаю туда и в тот же день, сидя в минской гостинице, включаю телевизор и... смотрю, как падает возле Челябинска метеорит! Это ж бывает раз в сто (если не в тысячу) лет! То есть это был, наверно, первый к нам такой приметный гость после метеорита Тунгусского.

И надо ж такому случиться — он падает за две недели до нашего круглого стола, посвященного, строго говоря, именно его визиту.

И уже через две недели мы выходим на круглый стол с рассмотрением этих самых «планетарных рисков». Такого сбора СМИ тогда, наверно, ни у кого не было! Сто четырнадцать представителей как нашей, так и импортной прессы и телерадиокомпаний мы насчитали!

Я сделал вступление как руководитель рабочей группы, затем выступили с докладами заместитель председателя Совета Федерации Юрий

Леонидович Воробьев, Борис Михайлович Шустов — директор Института астрономии РАН, Владимир Александрович Поповкин — тогда руководитель Роскосмоса, Владимир Андреевич Пучков — министр по чрезвычайным ситуациям РФ и так далее. Все доклады были очень насыщенные и весомыми, на основе серьезной аналитики, и при этом зрелищными — с яркими красивыми слайдами, которые мы демонстрировали публике и журналистам.

Ажиотаж стоял невообразимый. Потом меня многие спрашивали:

— А как так, Виктор Семенович, у вас получилось? Такой круглый стол всего-то через две недели после этого события?

Говорю им:

— Ну-у... недешево это стоило. Сами понимаете.

И я почти не лукавил. Действительно, за два года мы начали готовиться! Естественно, поначалу думали, что это будет «проходняк». Какая-то странная тема, «да кому она нужна?» и тому подобное... Но, по мере того как мы вникали в проблему, приходило понимание, что это одна из самых животрепещущих тем для человеческой цивилизации.

В заключение

...В 1997 г. я выдвигался по своему обжитому и давно ставшему родным району, Калининскому, где я с 84-го по 87-й был первым секретарем райкома партии. Чего я только не наслушался тогда от оппонентов: и коммуняка, и бывший первый секретарь... С каким упоением либеральные СМИ (а других тогда и не было!) ноги об меня вытирали! И при этом — наберите воздуха, как говорил Задорнов, — за меня проголосовало вдвое больше избирателей, чем за самого сильного моего соперника, то есть за того, кто пришел в этой выборной гонке вторым.

Я был счастлив этим результатом — не столько потому, что меня избрали депутатом Областного Совета, а потому, что мне поверили люди.

Особые слова благодарности хочу адресовать моим «боевым» друзьям по комсомолу, членам клуба «29 октября», которые провели со мной всю выборную кампанию.

Пожалуй, впервые я тогда подумал о том, что «все возвращается». Возвращается то добро, которое тебе удалось сделать людям. Хотя мое жизненное кредо заключается в том, что если ты делаешь кому-то добро, то ты не должен заострять на этом внимания — ни своего, ни окружающих, а уж тем более рассчитывать на возвращение своих энергозатрат с прибытком. Но здесь я впервые увидел, как добро, посеянное мной когда-то, дает дружные всходы. На предвыборных встречах, а я их провел около сотни, ко мне подходили люди и обращались со словами благодарности за ту или иную помощь. Порой я не помнил ни человека, ни этого дела, но как было приятно, что люди помнят мою работу и ценят ее.

Андрей ПОДИСТОВ, Лариса ПОДИСТОВА

МУЗЫКА И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Песня жизни Алексея Бороздина

Бывает, жизненный путь человека смутен, извилист и нелегок: то через чащу каких-то проблем приходится прорываться, то выбираться из очередного провала, то подниматься в гору, но с таким трудом, что, достигнув вершины, уже и не рад... А на другого человека посмотришь — у него все иначе. Вроде и трудностей хватает — а нет ощущения надрыва, вроде и препятствия попадают — а его не остановишь! Как будто услышал такой счастливец в детстве некий волшебный мотив — и с той поры ведет его эта мелодия по жизни, придавая сил, не позволяя сбиться с пути, назначенного свыше. Что бы ни случилось, какой бы ни встал перед ним выбор, такой человек всегда интуитивно выбирает верную дорогу, верную ноту. И становится его жизнь песней...

— А я ведь курянин, курский соловей! — как будто услышав эти наши размышления, посмеивается Алексей Иванович Бороздин.

Мы уже довольно много знаем о нашем собеседнике, он человек в Новосибирске известный. Прекрасный музыкант, долго преподавал игру на виолончели в музыкальной школе № 10 в Академгородке, многие его ученики — лауреаты всевозможных конкурсов. Но больше, наверное, известна в последнее время его удивительная развивающая школа для детей с тяжелыми формами умственной отсталости. Ее так и называют — Школа Бороздина. Сам Алексей Иванович больше двадцати лет руководил ею и вел там уроки музыки, а сейчас заведует методическим центром. Кажется: где виолончель — а где дети с разной степенью отставания в развитии? Какая связь? Где логика? Как сложилось, что одно перепелось с другим?..

На этот вопрос Бороздин отвечает в своей книге воспоминаний, которая вышла в 2012 г. и оказалась настолько востребована, что ее в тот же год издали повторно. Она называется «В контексте жизни». И когда читаешь ее, понимаешь, что — да, в контексте-то все логично, все укладывается в единую картину, все уживается в этом невысоком, подвижном, усмешливом человеке.



Мы жили в своем доме в пригороде Курска, в Казацкой слободе, жили большой, веселой семьей. Каждое утро, когда я просыпался и выбежал на крыльцо, яркое солнце слепило глаза, и какая-то звонкая радость на целый день охватывала всего меня...

Так, с солнечной детской радости, начинается эта книга. Дальше в ней будут и невеселые вещи: бомбежки, и оккупация, и голод, и холод, но искре радости в душе автора уже не суждено было погаснуть — наоборот, этой солнечной энергией отныне будут заражаться и заряжаться окружающие. Эта способность сохранялась в семье Бороздиных даже в самые тяжелые и безрадостные времена.

Мать была сильным человеком, — пишет Бороздин в своей книге, вспоминая детство и родительскую семью. — Чтобы отвлечь соседок от грустных мыслей, она организовывала танки. По-украински слово «танок» — танец, а у нас это слово обозначало проход ряженных с гармошкой, с песнями, частушками и танцами по всем окрестным улицам. Мужики с войны еще не вернулись, их изображали крупные девушки с подрисованными усами, одетые в солдатские гимнастерки и офицерские галифе. Танок проходил по всем улицам и своими песнями и частушками до самого вечера веселил народ.

— В Казацкой слободе вообще песни не смолкали ни днем ни ночью, — рассказывает Алексей Иванович. — Фантастическое место! К примеру, идет мужик с работы из города домой и песни поет. Дорога длинная, репертуар обширный, голос слышно издали. Все его узнают и даже подпевают. Во время оккупации песен не пели, конечно. Голод был страшный. Но как только немцев прогнали — запели снова.

Не забыть мне и тот день, когда к нам пришла весть о Победе. Наши улицы тянутся от центра города на окраину, превращаясь в далекий деревенский пригород. День был солнечный. Вдруг со стороны города пошла ликующая волна радости, и, хотя по улицам никто не бежал, никто ничего не кричал, она, эта волна, сама летела к нам, обволакивая собой небо, землю, дома, деревья и всех нас, — Победа! Это сладкое слово весело бередило все у меня внутри, я танцевал и хохотал вместе со всеми ребятами нашей улицы, лица взрослых тоже сияли улыбками, никто не скрывал своей радости.

Солдаты приходили с фронта по-разному. Те, кто помоложе, были сплошь веселые, шумные, увешанные орденами и медалями, от них веяло какой-то неизвестной нам лихою жизнью, они были желанными гостями в любом доме, все с завистью смотрели на них.

Те же, кто постарше, приходили степенными, опытными вояками, а отец мой пришел как-то очень уж буднично: вещмешок за плечами, только военная форма выдавала в нем солдата. Мы узнали его издали, кинулись ему навстречу и повисли на нем! Вместе с ним всей гурьбой подошли к нашей калитке, он снял вещмешок, вытащил из него аккуратный длинненький мешочек и подал матери. Она развязала его, а там

оказались леденцы — солдатский паек при увольнении! Она раскрыла мешочек и поставила на лавку перед домом так, чтобы каждый мог подойти и взять. Мы и все ребяташки нашей улицы хватали конфетки и наслаждались ими до самого вечера.

Это были первые конфеты в нашей жизни, и многие, в том числе и взрослые, вспоминали эти леденцы, потому как другие приходили с войны и по-другому.

Жизнь постепенно налаживалась. Общими силами восстанавливали разрушенное хозяйство. Голод хоть медленно, но отступал. Человеческие души тоже оттаивали. Надо сказать, обитатели тогдашней Казацкой слободы сохраняли присущие этому боевому русскому сословию жизнелюбие, остроумие и смекалку. Алексей Иванович с удовольствием вспоминает своего отца. Школьное образование Ивана Бороздина закончилось после четвертого класса, как и у многих его сверстников. А дальше — не легкий сельский труд, взросление, семья с четырьмя сыновьями, потом долгая и беспощадная война, после нее — снова работа... В общем-то, предки Бороздиных так жили поколениями, будучи мастерами и в мирном, и в ратном ремесле. Может, эта постоянная готовность в любой момент сменить одно на другое и послужила причиной возникновения особой — находчивой, неунывающей и певучей — натуры.

...Мой отец был веселый человек. После войны он устроился на работу шофером на хлебозавод. Их, нескольких водителей, послали на автомобильное кладбище под Воронежем выбрать себе грузовики из трофейных машин. Ребята взяли «студебеккеры», «форды», а мой отец присмотрел «мерседес-бенц» — четырехтонный грузовик с деревянным кузовом, с огромной некрасивой кабиной — «немецкой мордой», как называл ее отец.

Самое удивительное — этот «мерседес-бенц» был самосвалом! Отец подъезжал к складу, поворачивал вентиль, кузов поднимался, и груз сам съезжал на землю. На это диво сбегались толпы зевак. По времени отец выигрывал почти полдня.

У этой машины был еще один секрет: чтобы включить задний ход, нужно было сначала поднять рычаг вверх, сантиметров на пять, потом толкнуть его влево до упора и вперед. Секрет этот отец никому не открывал, а когда спорил с шоферами на бутылку, что те не сдадут его машину назад, всегда выигрывал.

Еще одной особенностью этого грузовика был огромный и тяжелый мотор. Между мотором и приборной доской было небольшое пустое пространство. В эту нишу под капот отец запихивал буханку хлеба и вывозил ее с хлебозавода. Охранники осматривали машину вплоть до колес, знали, что отец вывозит хлеб, но найти не могли. Я поджидал отца в условленном месте, забирал буханку и шел домой. Так мы проскочили голодный 47-й год.

Когда отец ездил за торфом, разрешал всем нам, ребяташкам с нашей улицы, ехать с ним. В каких-то далеких болотах, где добывали торф, мы нагружали полный кузов.

— Гитлер довезет! — веселится отец. — Только чтоб всю дорогу песня кричала!

Ночь, кругом ни души, ровно и мощно гудит мотор, мы несемся на грузовике среди полей и поем песни!

Первой страстью маленького Алеши стала не музыка, а небо. Неподалеку располагался военный аэродром, видно было, как взлетают и садятся самолеты. А в городском Доме пионеров, до которого из Казацкой слободы приходилось идти почти пять километров пешком, был кружок авиамоделистов. Восемилетний Алеша записался туда и через два года, в 1947-м, стал чемпионом РСФСР по авиамоделному спорту. Уже тогда у него появился принцип: не брать чужих идей, придумывать свое и не бояться экспериментировать.

Авиамодели сделали его знаменитым, но они же впоследствии стали причиной его первого серьезного, даже болезненного потрясения. Курские авиамоделисты собирались на очередные всероссийские соревнования, модели уложили в кузов грузовика. На неровной и скользкой дороге водитель не смог удержать машину. Грузовик попал в кювет, половина моделей оказалась безнадежно погублена, в том числе и Алешин новенький большой планер, сконструированный специально для этих состязаний...

— Я переживал это как потерю любимого человека, — признается Бороздин. — Три месяца примерно я еще походил в Дом пионеров и ушел. Я больше не мог ничего там делать.

Но бурлящая внутри юная энергия не дала ему долго тосковать. Вскоре в Казацкую слободу вернулся его двоюродный брат, который после войны еще четыре года служил в Германии, в духовом оркестре. У брата была царь-туба — самый большой медный духовой инструмент, бас. И в раструбе этой тубы он ухитрился провезти через пограничные кордоны и таможенню ни много ни мало — скрипку, мандолину, кларнет, нотную библиотеку для духового оркестра и офицерскую шинель в придачу!

Алеша Бороздин начал с мандолины. Не зная нот, на слух, где-то с помощью брата, но в основном самостоятельно он освоил сначала ее, а потом и скрипку. И примерно через год уже организовал небольшой уличный ансамбль. Этот ансамблик стал чрезвычайно популярен в Казацкой слободе. Война закончилась, голод отступил, в местные магазины стали завозить пестрые яркие ткани. Девушки начали шить платья, и...

— Мы заиграли — и к нам поперли все! — смеется Алексей Иванович. — Знакомиться-то надо! Ну, это я сейчас говорю «знакомиться», а там все это было интуитивно. И вот мы — я на скрипке, мой старший брат на барабанах, у других ребят гитара была, аккордеон — играли танцы на улице. Выбрали ровное место около одного дома и играем. Казаки, между прочим, — это народ серьезный и задиры настоящие. Но два лета я играл на этой площадке — ни одной потасовки даже близко не было! Боялись: они подерутся — а мы уйдем, и всё. И куда им тогда деваться?

Маленький ансамбль приглашали играть на праздниках, свадьбах... До учебы ли тут? И к концу восьмого класса Алексей подошел с «рекорд-

ными» результатами: восемь двоек в таблице за год! О том, чтобы перевести такого ученика в девятый класс, не могло быть и речи. Пришлось ему устроиться на работу. Он еще не понимал в полной мере глубины своего «падения», а когда наконец осознал, испытал настоящий, не детский ужас.

Похоже, горячим головам необходимы мощные стрессы, удары судьбы, так сказать, и я такой удар получил сполна! — вспоминает Бороздин в своей книге этот потрясший его миг. — 1 сентября трое оболтусов шли на работу (мы устроились в бюро технической инвентаризации Курского горисполкома помощниками геодезиста), весело смеялись, в руках у нас длинные вешки. И тут я увидел наших девчонок, идущих в школу, в 9-й «В». Они в белых фартучках, чистенькие, красивые... И меня как громом ударило: что я с собой сделал, что сотворил, я ведь никогда уже не пойду рядом с ними! Никогда не забуду своего смятения: выхода нет и ничего уже поправить нельзя!

Вот так громко и трагически, почти как у Бетховена, постучалась к юному Алексею судьба. Видимо, хотела, чтобы урок был усвоен на всю дальнейшую жизнь. Так и вышло. Ему никогда больше не приходило в голову жертвовать учебой ради других, легкомысленных, занятий.

Техник, помощниками у которого они работали, оказался не так прост. Он сам любил музыку и, видя таланты Бороздина, убеждал юношу поступать в музыкальное училище. Алексей и сам подумывал об этом, но не знал, как это делается, а посоветоваться было не с кем: в тогдашней Казацкой слободе никто музыке не учился. Вдобавок подростку попала в руки книга о Никколо Паганини, и жизнь знаменитого скрипача произвела на него огромное впечатление. Ему уже мерещились залы с восторженной публикой, охапки цветов, овации...

Дома его решение вызвало скандал.

— Собрались у нас мать и четыре моих тетки — и на меня: «Что, по кабакам играть будешь?! Другого дела не нашел?» Одна из теток была партийная, она очень возмущалась. Но потом, когда я уже поступил и учился, она меня часто выручала — подкармливала... Когда я пришел в школу, чтобы забрать документы и перенести в училище, на меня все как-то так смотрели... пренебрежительно. Очень неприятно. Но я был тверд!

— А ноты вы уже знали тогда? — спрашиваем мы.

— Какие ноты! Нет, конечно. И на приемном экзамене это, естественно, сразу выяснилось. Но у них в училище был недобор на обучение виолончели. Меня спрашивают: «Хочешь научиться играть на виолончели?» Я соображаю: или меня берут учиться на виолончелиста, или прощай, музыка, придется мне всю жизнь работать жестянщиком на электрозаводе. Говорю: «Да, согласен!» И меня взяли.

Несмотря на то, что с мечтой о судьбе скрипача пришлось расстаться, Бороздин вспоминает годы, проведенные в училище, как очень



счастливые. А ведь ему приходилось вставать в семь утра, в любую погоду шагать пять километров до училища, а домой возвращаться только к полуночи. Виолончель — инструмент нелегкий не только в музыкальном смысле, его и физически на себе таскать непросто. Поэтому все домашние задания Алексей выполнял в училище, под лестницей. Много лет спустя, в 1989 г., он побывал там уже вместе с сыном и показал ему углубление в бетонном полу — след от виолончельного шпиля на месте своих занятий.

Заниматься пришлось очень много: Бороздин попал в класс, где учились ребята, за плечами у которых была музыкальная школа. Кто-то из них ему помогал, а кто-то и посмеивался над ним. Но Алексей уже знал, что музыка — его судьба, и старался так, что спустя четыре года на выпускном экзамене единственный из своего курса получил направление в консерваторию!

О Москве и Ленинграде он, конечно, и думать не смел: все-таки не тот уровень подготовки. Но знакомый, тоже выпускник Курского музыкального училища, написал ему из Львова: мол, приезжай сюда, места есть. Бороздин поехал.

Львов показался ему сказочным городом. Чистые площади, зеленые парки и скверы, богатые магазины, веселая толпа на улицах... Сдав экзамены, он вернулся домой ждать результатов и каждое утро выходил за ворота встречать почтальона. Наконец принесли телеграмму: «Ви зараховані на перший курс». Взволнованный юноша ничего не понял, побежал на почту — телеграфировать во Львов, переспрашивать. Следующая телеграмма уже чистым русским языком сообщала: его приняли на первый курс консерватории.

Учебке во Львове и самому городу в книге Бороздина «В контексте жизни» посвящено немало задорных и ярких историй. Здесь и юношеские влюбленности, и студенческие проказы, и дружба, и разговоры с преподавателями о жизни и творчестве. Огромная радость, переполнявшая автора, в ту пору еще совсем молодого, выплескивается со страниц на читателя вместе с солнечным светом, шелестом листвы и, конечно же, музыкой.

Великолепный светлый класс, скорее небольшой зал, на пятом этаже, замечательный рояль, и мы, первокурсники — Аллочка, скрипач Габи и я — читаем с листа «Трио» Гайдна. Под нашими пальцами оживает волшебная музыка, чарующие звуки заполняют все вокруг и через открытые окна вылетают на улицу.

Ощущение счастья! Душа моя парит где-то под потолком, я все еще не верю, что все это мое: и этот класс, и эти новые друзья, и что я студент этой самой прекрасной консерватории в мире! Я все еще не верю, что у меня все сложилось так чудесно, прошлое растворилось и исчезло и только этот миг, эта явь — моя жизнь, и она мне нравится, нравится беспредельно!



Волшебство совместной игры, как тебя объяснить?! Уже первый вместе взятый аккорд связывает нас невидимыми нитями, и мы мчимся в неизведанное, куда зовет нас великий Гайдн, он здесь, с нами, с нами его время и его сокровенные мысли; мне кажется, я даже чувствую его дыхание!

И самое удивительное, что все это звучит в двадцатом веке — так же, как звучало в восемнадцатом, девятнадцатом, и сколько еще будет звучать в последующих веках, принося ту же радость, то же ощущение полета! Никакое другое действо не сплавливает людей так, как игра в ансамбле. И тут не имеет значения ни цвет кожи, ни форма носа, ни набожность, ни атеизм — нас объединяет абсолютная красота, нами правит ритм, этот созидатель человеческих страстей, и невозможно представить себе подобный эмоциональный порыв у кульмана или в бухгалтерской группе.

Легко заметить, как много значат для молодого музыканта отношения с наставниками. Бороздин очень тепло, с благодарностью говорит о своих учителях. Об Иване Степановиче Слабакове (он преподавал в Курском училище камерный ансамбль и буквально по-отцовски опекал своего талантливого ученика) он пишет, что тот окончил с золотой медалью Московскую консерваторию, но выбрал путь не артиста, а педагога и посвятил всю свою жизнь ученикам.

Проректор Львовской консерватории Арсений Николаевич Котляревский также вызывает у него восхищение: он «и профессор, и проректор, и руководитель класса органа, класса камерной музыки и много чего еще, и не укладывается в моей голове: как успевает все это делать один человек?!»

Позже, когда Бороздин начнет преподавать в музыкальной школе в новосибирском Академгородке, для него, еще неопытного педагога, станет примером Богдан Кондратьевич Фрис. Этому человеку Алексей Иванович посвятил главу в своей книге воспоминаний и пишет о нем так:

Мне интереснее всего было наблюдать за ним на вступительных экзаменах, когда он подзывал к себе из ряда поступающих детей очередного испуганного ребенка:

— Твоя мама говорила, ты знаешь много песенок. Какую ты хочешь спеть мне?

— «Жили у бабуси...» — шепчет ему ребенок, а Богдан Кондратьевич одной рукой начинает наигрывать эту песенку, другой обнимает ребенка и вместе с ним напевает ее...

Дети доверяются ему и показывают все, что интересует приемную комиссию, а нам, молодым, он подает ярчайший пример уважения личности ученика, намекая, что именно здесь основа дальнейшей работы с ним, и многие из нас эти уроки усвоили очень хорошо.

А ведь это всё черты, которые присущи нынешнему Бороздину — уже зрелому, прожившему долгую жизнь и многое успевшему! Ведь он сам

и музыкант, и чуткий педагог, и фотограф, и писатель, и основатель необычной школы... Впрочем, не будем забегать вперед.

Во Львовской консерватории Алексея Ивановича помнят очень хорошо. Хотя бы потому, что он в годы своей учебы создал там камерный оркестр, и этот оркестр существует до сих пор. Когда у Бороздина вышла книга «В контексте жизни» и одна из его львовских знакомых принесла в консерваторию подаренный ей автором экземпляр, дирижер остановил репетицию, специально чтобы рассказать нынешним оркестрантам об «отце-основателе». Сам Бороздин тоже вспоминает об этом с удовольствием:

— В то время камерный оркестр был один — в Москве. А я во Львове студенческий организовал. Занимались мы два раза в неделю с полоннадцатого ночи, потому что к этому времени освобождался зал для репетиций. Оркестр сначала был самодеятельный, а теперь стал консерваторским и до сих пор великолепно выступает. Кстати, меня два года назад, невзирая на нынешнее политическое противостояние, объявили почетным студентом Львовской консерватории.

Там же, во Львове, у него появились первые ученики и обозначились явные педагогические способности. Хотя не обошлось без казусов.

...Вечером у меня был назначен прощальный урок с Петей. Моя работа с ним заканчивалась, завтра он должен играть на экзамене. Родители волнуются. Заволнуешься тут: Петя сидит в первом классе уже третий год и, если он завтра сыграет плохо, его на законных основаниях выгонят из школы!

Но Петя сыграл хорошо, ему поставили «четыре» и перевели во второй класс.

На другой день в консерваторию врывается мощная такая тетка (мне потом рассказывали) и требует показать ей пианиста Бороздина.

— Я хочу ответить ему башку! — кричала она. — Мне бы его только поймать!

Ей говорят, что пианиста Бороздина в консерватории нет, есть виолончелист Бороздин. Тетка не верит, обращается ко всем, даже к ректору, проходившему по коридору, но и ректор сказал ей вежливым голосом:

— Пианиста Бороздина у нас немає, е виолончелист Бороздин.

В общем, шуму она наделала много, и ребята говорили мне:

— Какая-то бешеная! Хорошо, что ты ей не попался, вполне могла изувечить!

Оказалось, это приходила пианистка из музыкальной школы № 1, у которой учился мой Петя и которая уже третий год мечтала с ним расстаться навсегда. И «счастье было так возможно, так близко», но какой-то Бороздин!..

А родители Пети на радостях премировали меня месячным гонораром, тортом величиной с Эйфелеву башню и букетом цветов.

В 1961 г. Бороздин прощается со Львовом и переезжает в Сибирь. Он и трое его товарищей по консерватории перевелись в Новосибирск с

потерей года, чтобы подольше поучиться у хороших преподавателей. Другой причиной отъезда стал усиливающийся во Львове национализм.

Уже сама дорога произвела на молодого музыканта сильное впечатление.

— Ехал я счастливым человеком. Едем день — страна... Едем два, едем три — страна... Я же не привык к таким просторам! Приехали, а тут все такое странное, незнакомое... Но люди оказались интересные.

Впрочем, не со всеми «интересными людьми» отношения складывались сразу. Еще учась в консерватории, Бороздин устроился преподавателем по классу виолончели в музыкальную школу и переехал в другое общежитие, в Академгородок. Его соседями оказались молодые физики-теоретики, не без гонора. Поначалу они приняли новоприбывшего за прораба со стройки и даже ходили к коменданту с требованием переселить его в другую комнату: дескать, слишком прост, мешает заниматься наукой. Проблема разрешилась, когда однажды Алексей принес в общежитие виолончель (обычно он оставлял ее в школе). Изумленные физики тут же его зауважали, и для него мгновенно нашлось и место, и чай с сахаром, и полбуханки хлеба. Он также стал полноправным участником местных интеллектуальных развлечений, со всеми вытекающими последствиями.

— У нас были свободные субботы, дни рождения... — вспоминает Алексей Иванович. — Мы часто устраивали всякие шуточные представления. И однажды меня заставили писать стихи. Я ужасно обиделся, потому что не любил поэзию. Но у моих физиков была целая «организация»: судья, прокурор, адвокат и палач. Да, это было веселое время! Мне присудили за ослушание три удара ремнем, ремень висел на двери. Я, понятное дело, не захотел, чтобы меня били, пошел в соседнюю комнату и написал свой первый стих. Схохмил, конечно! А потом пошло-поехало... Однажды я сочинил стихотворную «Молитву археолога» и посвятил ее академику Окладникову. А кто-то из моих друзей взял и отнес ее ему в коттедж! Окладников прочитал и спрашивает: «Почему я не знаю этого археолога?» — «Да он не археолог, он так...» — «Не верю! Это только археолог мог написать. Ведите его ко мне!» Меня искали, но не нашли...

В Академгородке для Алексея Бороздина начинается новая жизнь. В ней будут новые друзья, работа в музыкальной школе, любовь и семья, концерты, съемки в любительских фильмах, юмористическая колонка в газете «За науку в Сибири», успехи учеников, а потом и главное дело его жизни — Школа.

А ведь ему, когда он успешно окончил консерваторию, предлагали и другие, по-настоящему «хлебные» места, где зарплата была сравнима с профессорской.

— Я пошел преподавать в Академгородок, — объясняет он, — потому что мне было противно смотреть на консерваторских выпускников — пианистов, скрипачей и так далее, которые блистали во время учебы, а через два года работы поразительно изменялись: в руках сеточка, на



подходе пузичко... И где их прежний блеск? Я шел в музыкальную школу, зная, что денег там не будет. Но меня привлекала интересная жизнь. Будут физики, будут химики — и я среди них, музыкант, не опущусь так быстро... Так я рассуждал, так и получилось. Огромное количество прекрасных друзей, великолепных учеников и всего остального — того, чем тогда жил Академгородок и что его делало таким. И потом, не попал бы я сюда — никакой Школы Бороздина бы не было, это совершенно точно.

Слово «Школа», как уже заметил читатель, звучит в нашем рассказе все чаще и чаще.

Но, прежде чем заговорить о ней подробно, нужно упомянуть еще одного человека, который оставил заметный след в судьбе Бороздина. Правда, им не пришлось познакомиться лично, потому что этот человек жил и писал музыку в XVIII в., да еще и не в России, а в Европе. Он был чех, и звали его Йозеф Мысливечек.

О Мысливечеке, как когда-то о Никколо Паганини, Бороздин узнал из книг. В 60-х гг. в серии «ЖЗЛ» вышло биографическое исследование Мариэтты Шагинян «Воскрешение из мертвых». Оно было посвящено чешскому композитору, который в XVIII в. прогремел на всю Европу, писал оперы по заказу королей и вельмож, заслужил в Италии прозвище «божественный чех», вызвал восхищение самого Моцарта, а после смерти оказался почти полностью забыт даже у себя на родине. Судьба Мысливечека заинтересовала Бороздина, так что он даже провел собственное исследование и, собирая материалы по истории и культуре XVIII в., сумел заполнить почти все неизвестные места в биографии забытого гения. Но не хватало музыки. Бороздин начал собирать все, что осталось из наследия композитора, все записи его произведений на пластинках и на бумаге. Но найденные партитуры были написаны в XVIII в., их требовалось расшифровать и переписать для современного оркестра — сотни строк, тысячи нотных знаков, месяцы и годы кропотливого труда...

Бороздин начал с оперы «Беллерофонт». Он приходил с работы, дожидаясь, когда его собственные дети лягут спать, раскладывал на столе бумагу, карандаши, перья, линейки и баночки с тушью — и до двух часов ночи переписывал каллиграфическим почерком ноты «божественного чеха», восстанавливая их для современного исполнения. И так семь лет, без выходных. Результат — 6500 страниц партитур различных произведений Мысливечека! Сам Бороздин утверждает, что это был любительский труд, любительский интерес, любительское исследование. Наверное, так и есть: ведь любви в это вложено действительно много.

Любовь всегда побуждает делиться — и Бороздин знакомил с творчеством Мысливечека Новосибирск, Казань, Омск, Красноярск, Ташкент, другие города... Ездил с лекциями, помогал в организации концертов. Слух о сибиряке, увлеченном музыкой забытого чеха, добрался до Москвы, и через некоторое время скромный новосибирский учитель лично познакомился с Мариэттой Шагинян, которая в ту пору считалась уже

почти небожительницей: даже недоброжелатели называли ее «великая Мариэтта». Теперь исследования Бороздина вышли на новый уровень, он наконец поехал в Чехию, где хранятся музыкальные архивы Мысливечка...

Все это продолжалось не год и не два, а в общей сложности семнадцать лет.

— Алексей Иванович, откуда у вас силы на такие большие проекты? Ну, вначале, понятно, вперед ведет интерес... А дальше? Особенно учитывая, что вы и других своих дел не бросали.

— Это такое особенное состояние... — Бороздин подбирает слова. — Азарт... кураж... Нет, все не то! Состояние радости. Радости творчества, радости жизни. Ради денег, конечно, такого не сделаешь. Я видел, как люди ради денег пытались — ничего не выходит. А когда есть вот эта радость — то идешь и, несмотря ни на что, добиваешься успеха. Причем творчество — это не обязательно то, что сейчас имеют в виду под этим словом. Это же может быть что угодно! Например, моя мать и ее сестры были невероятно талантливые. Помню, когда немцев прогнали, нам стали давать муку, на месяц небольшой кулек. И мать с тетками пекли пироги. Они собирались к нам — у нас была русская печка — и готовили. Это песня, это радость, это творчество! Одна делает одно, другая — другое, третья — третье, и в конце концов ставят противни с пирогами в печь. Напекают сундук пирогов! Все это они делали с великим удовольствием, и у них получались произведения кулинарного искусства высочайшего класса. Вот это состояние я имею в виду — естественной радости жизни, когда творчеством становится вообще все. Откуда оно берется? Из семьи, наверное, из детства...

С этим трудно не согласиться.

Но что, если в жизни у человека такой радости нет? Что, если он в детстве почему-то оказался ее лишен? Что тогда?..

Тогда это большое несчастье.

Кроме уроков со здоровыми, талантливыми учениками в музыкальной школе, у Алексея Ивановича были еще и частные занятия с детьми, которые по разным причинам в такую школу поступить не могли: из-за проблем со слухом, с чувством ритма, с музыкальной памятью, со здоровьем... Занимаясь с ними, развивая их, он и сам учился многому. Находил подход к каждому, подбирал и изобретал интересные упражнения, стал чувствовать ребенка и ту грань, где стоит остановиться — чтобы на следующем уроке с новыми силами продвинуться дальше. И сделал для себя открытие: дети не боятся ничего, они доверяют учителю, а вот у педагога страхов предостаточно. Вдруг ученик не поймет? А если поймет, то не запомнит? А если и запомнит, то перепутает?.. И из-за этих страхов уроки превращаются в бесконечные нудные повторения одного и того же, так что и ученику, и учителю делается скучно до зевоты. А нужно взаимное доверие, взаимный интерес, ведь ребенок — неповторимая личность! Звучит банально, но следствием этого открытия и явилась знаменитая

методика Бороздина, которую он постепенно совершенствовал как на школьных, так и на частных уроках.

...И однажды его пригласили в дом, где на коврике сидела крошечная девочка, худенькая и черноглазая. Она плохо ходила, не говорила, не умела почти ничего, что положено уметь детям ее возраста, и даже специалисты в Москве и Ленинграде не смогли ей помочь.

Первая реакция, — вспоминает Бороздин в своей книге, — убежать и забыть, но я остался. Я посадил девочку рядом с собой за пианино, весело смотрю на нее, наигрывая простые песенки, девочка смотрит на меня, ударяет своими худенькими ручками по клавишам, а я поощряю ее:

— Можно, можно, играй!

Так прошел первый урок, второй, третий, а чуть позже она начала подпевать мне нечто невнятное, из этого нечто я постепенно получаю отчетливый звук, и звук этот совпадает с ноткой «фа». Ура, кричу я про себя, уж если ты попала на «фа», попадешь на «ми» и на все остальное, что в конце концов и случилось.

Я занимался с нею три раза в неделю, уроки были по полчаса, и девочка эти уроки успешно выдерживала. Мало того, она ждала их, она радовалась моему приходу! Мы начали петь гласные звуки, потом отдельные слоги, а там и до простых слов рукой подать!

Уроки постепенно усложняются, появляются ритмические упражнения. Мы прохлопываем простые ритмические рисунки, я с удивлением наблюдаю, как непросто ей хлопать вслед за мной: ручонки пока что плохо подчиняются ей...

Наступает время, и я ввожу движения под музыку. Сначала мы маршируем вместе, а чуть позже она одна под мою музыку и мой одобряющий взгляд медленно вышагивает по квартире...

Через два года регулярных, все усложняющихся занятий маленькую ученицу было не узнать. Впоследствии она училась в 130-й («английской») школе, окончила университет, аспирантуру, вышла замуж, родила двоих детей и сейчас живет с семьей во Франции.

Затем были еще несколько «тяжелых» учеников с проблемами здоровья и развития. В этих частных уроках выстраивались принципы и оттачивались приемы, которые затем лягут в основу методики Школы Бороздина. Да, Алексей Иванович уже задумывался о том, чтобы создать школу для работы с такими детьми, но пока не знал, как подступить к воплощению.

В 1991 г. судьба свела его с Тамарой Николаевной Пономаревой, которая работала в сфере обслуживания инвалидов и была хорошо знакома с районным начальством. Тамара Николаевна побывала на уроках Бороздина, и они произвели на нее сильное впечатление. Неизвестно, какие именно невидимые рычаги она привела в действие, но уже через неделю у новоиспеченной школы были помещение, инструменты и даже спонсор...

Напомним, это было начало 90-х гг. Помещением оказался барак 1953 г. постройки на окраине Академгородка. Когда-то здесь размещался детский клуб, но в результате ельцинских «реформ» он закрылся, и теперь барак пустовал, постепенно разваливаясь. Но в нем были свободные комнаты для занятий, и большего желать пока было трудно.

Представление о форме работы у Бороздина к этому времени уже созрело. Занятия должны быть индивидуальными, чтобы учитель мог легче установить контакт с учеником. Урок — тридцать минут: дети с отставанием в развитии быстро устают. Уроков будет три: музыка, рисование и движение. Занятия — дважды в неделю, чтобы ребенок за два дня успел соскучиться и шел в школу с удовольствием. И продолжаться обучение будет столько, сколько нужно ребенку — полгода, год, два, три... Для него здесь сделают все возможное.

Но кто же будет вести другие, не музыкальные, уроки? Ведь очень многое зависит от личности педагога, от его отношения к детям. Бороздин обратился к своим знакомым и друзьям. Преподавателем изо в результате стал художник-иконописец Владимир Баранов, а уроки движения согласился вести ученый-физик Владимир Алексеевич Лебедев. В его исполнении это были скорее уроки общего развития: доброжелательная беседа, развитие координации движений, диафильмы, альбомы с репродукциями, движение под музыку на пластинках и многое другое. Одной из задач Владимира Алексеевича было предложить ребенку как можно больше тем для обсуждения и занятий, чтобы он мог хоть в чем-то проявить себя. Не у всех ведь есть интерес к рисованию или музыке, некоторые дети кажутся равнодушными ко всему. А для того, чтобы ребенок начал развиваться, необходимо пробудить в нем интерес к занятиям, к творчеству.

Поначалу школа могла обучать только шесть учеников. Чтобы набрать их, Бороздин отправился на собрание районной ассоциации родителей детей-инвалидов. В конце собрания, после бурного и слезного распределения гуманитарной помощи, председатель объявила, что вот некий Алексей Иванович Бороздин организует школу для «тяжелых» детей и можно к нему записаться...

И тут произошло неожиданное: все сидящие здесь люди вздрогнули, мгновенно взметнули руки и впились в меня глазами. Боже, какие это были глаза! Смущенный этими глазами и вытянутыми ко мне руками, я, ни на кого не глядя, быстро записал тех, что сидели ближе ко мне, и выбежал на улицу.

Лицо мое горело, сердце колотилось. На морозе я стал постепенно приходить в себя, но мысль, что их так много и что помочь им всем я не в силах, до сих пор не дает мне покоя...

Вот что выписал врач школы Максим Егоров из медицинских карточек первых учеников:

Сережа К. (1982 г. р.) — детский церебральный паралич, гемипарез, эпилепсия, grand mal*, олигофрения в степени имбецильности.

Наташа К. — правосторонний гемипарез, контрактура правой руки и ноги (полностью).

Люся Б. (1983 г. р.) — моторно-сенсорная алалия, психопатия, задержка нервно-психического развития.

Петя Д. (1982 г. р.) — синдром Дауна.

Аня П. (1985 г. р.) — детский церебральный паралич.

Леня С. — мама под разными предлогами отказалась предоставить заключение районного психиатра. Сильная расторможенность.

Вместе с некоторыми из этих диагнозов ребенок автоматически получал от отечественной медицины заключение в медкарте: «Необучаем. Не развиваем». И его судьба укладывалась в один из двух сценариев: жизнь в стенах родной квартиры на весьма скромную пенсию или пребывание в психоневрологическом интернате.

К счастью, Бороздин и его соратники тогда этого не знали. Как шутит Алексей Иванович: «Нас не учили в мединститутах — бояться». Жизненные университеты Бороздина научили его другому — бороться и любить.

Практически все, кто побывал в этой школе за двадцать с лишним лет ее существования, отмечают именно это: очень теплые отношения между учениками и педагогами, уважение к личности ребенка, веру в его будущее изменение и мягкое, но настойчивое побуждение его к творчеству. Ведь творчество для ребенка — это радость, это его естественное, здоровое состояние. И чем чаще он в этом состоянии пребывает, тем больше шансов на успех.

Одна из первых публикаций в прессе принадлежала перу новосибирской журналистки Галины Фроловой (она же, кстати, автор названия «Школа Бороздина»). Вот что она пишет:

Бороздин создал школу, в которой мысль каждого ребенка на высоте радости, восторга включается напрямую на действие, в сложное общение с миром, больше — в творчество. А человек, включенный в творчество, уже счастлив. Это мощный толчок, двигатель развития: человек, которому стала доступна духовная жизнь, хочет жить и способен жить для других, потому что творчество направлено на другого, адресовано другому человеку. Опыт Бороздина показывает, что музыка и умелая организация развивающей среды дают потрясающие результаты, удивляющие и логопедов, и психиатров.

Знаменитый американский психиатр Джек Росберг, посетив в апреле 1994 г. «барак», где размещалась Школа Бороздина, оставил такой отзыв:

* Большие судорожные припадки (форма эпилепсии). — Прим. ред.

Я глубоко восхищен вашими успехами. То, что я увидел сегодня, обновило и укрепило мой оптимизм и веру в то, что всякого человека можно изменить. Очевидно, что в атмосфере доверия к человеческому потенциалу никто не остается без надежды на изменение, способное улучшить качество его жизни. Я желаю вам дальнейших успехов и прогресса.

Известный новосибирский психотерапевт А. А. Арсеньев, анализируя работу школы в своей статье «Павлов и Торндайк: тотальный контроль или эмоциональное подкрепление?»³, пишет:

В сущности, есть «здоровая» и «больная» части ребенка. В его реальном поведении можно увидеть признаки той и другой. Вопрос в том, на какую часть реагируют взрослые: на больную или здоровую? Ребенок неосознанно научается предлагать то поведение, которое вызывает у взрослого эмоциональную реакцию.

<...> Если взрослый оказался в состоянии видеть за внешними необычными проявлениями обычные и понятные вещи: желание ласки и внимания, потребность в общении и игре, то, как бы странно это ни выглядело, это проявления нормальной, здоровой части. Повседневное реагирование на эту часть и производит в ребенке «чудесные» изменения.

Ребенок постоянно изменяется, темпы его роста обычно опережают темп изменения представлений взрослого, его восприятие не успевает за бурно, не всегда предсказуемо меняющимся ребенком. Это еще одна важная проблема, осознание которой дает понимание феномена Школы Бороздина. Взрослый продолжает видеть в маленьком существе ограничения, которых уже нет. Лекарство состоит в том, чтобы постоянно ждать новых возможностей у развивающегося ребенка. Будете их ждать, они и случатся!

<...> Бороздин — реалист, который, в отличие от других, не согласился с ограничениями, наложенными медицинской наукой, мнениями окружающих, непосредственными впечатлениями от контакта с больным ребенком. Он словно глубоко убежден, что ребенок способен на гораздо большее, чем показывает своим поведением, он видит в нем способности, которые можно вырастить (открыть), и препятствия в виде молчаний или криков, пассивности или агрессии не смогут остановить его от проникновения в личное пространство ребенка. Бороздин видит скрытую от поверхностного взгляда способность ребенка общаться, учиться, целесообразно действовать. Это становится самостоятельной потребностью педагога-профессионала — раскрыть, разбудить разум и способность к развитию, скрывающиеся за бессмысленным или агрессивным поведением.

Подобных отзывов и высказываний о Бороздине и его методике множество. О его школе не раз писали в прессе, о ней снято несколько фильмов. Успехи ее педагогов удивительны. И это несмотря на то, что в пресловутые «лихие 90-е» с ней случалось всякое — порой такое, от чего другие проекты громко лопались или тихо загибались.

Школа открылась 1 декабря 1991 г., а в начале 1992-го от нее отказался спонсор, и учителя остались без зарплаты, получая деньги только тогда, когда Бороздину удавалось их у кого-нибудь раздобыть. Помощь, кстати, приходила порой из самых неожиданных источников: из фонда Сороса, от голландского посольства, из фонда Солженицына... Семь лет занятия проходили в здании, которое постепенно ветшало. Все это время школа существовала отдельно от государства и местных департаментов здравоохранения и образования: все о ней знали, но на бумаге ее не существовало. Впрочем, может, и к лучшему...

Страна разваливалась, в разгаре был передел собственности, сквозь обломки рухнувшего социализма на глазах прорастали хищные цветы капитализма. Веяли враждебные вихри, одним словом. А в Школе Бороздина, несмотря на непредсказуемо меняющийся пейзаж, продолжали работать с детьми, которых, казалось, ничего хорошего в жизни не ждет при любом раскладе.

Зачем я этим занимаюсь? — пишет в дневнике преподаватель рисования Владимир Баранов. — Ведь понятно, что многие из наших учеников никогда не станут «нормальными» в вульгарном смысле этого слова.

Я вижу, как постепенно в искореженном больном существе проявляется, реставрируется образ Божий. Для меня это смысл моей работы. Когда отдаешь себе отчет в том, насколько меняется ученик после нескольких месяцев пребывания в Школе, задаешься вопросом: работая в столь тесной связи, сливаясь в беседе и совместном творчестве с учеником, не меняешься ли и ты сам в той же степени?

Все время своего существования Школа Бороздина оставалась бесплатной. И остается сейчас.

— Неужели совсем с родителей денег не берете? — недоверчиво спрашиваем мы, когда этот вопрос всплывает в разговоре.

— Я не принимаю денег от несчастливой человека, — поясняет Алексей Иванович. — Понятно, что эти люди готовы последнюю рубашку снять и отдать, чтобы их ребенку помогли. Но я не могу брать с них деньги. Ко мне приводят — а часто и приносят — нового ученика, и я думаю: «Что же с тобой делать?» Начинаем работать. И через три года выпускаем его в школу, коррекционную или обычную. Я вам уже рассказывал про Казацкую слободу. Там такое же было бескорыстие. Там никто не был несчастливой, каждый жил, зная: если что — все придут на помощь и никто не потребует за это ни рубля. Вот эту абсолютную человеческую сплоченность, участие каждого в каждом я видел все мое детство — и, конечно, в меня это впиталось.

За двадцать с лишним лет через Школу Бороздина прошли сотни учеников. Семьдесят пять процентов потом отправлялись в разного рода школы: кто в коррекционные, а кто и в обычные. Есть, конечно, и настолько тяжелые, что дальнейшее обучение для них невозможно. Но и для таких детей занятия в Школе Бороздина были плодотворны: они на-

учились общаться с миром, обслуживать себя, помогать по дому, у них хорошие отношения с другими членами семьи.

А есть ребята, которые достигли выдающихся успехов. Мальчик с врожденным нарушением слуха, не умевший говорить, сейчас учится в богословском институте и пишет иконы. Две девочки, попавшие к Бороздину с нарушениями слуха и речи, через несколько лет занятий, в 1998 г., принимали участие в благотворительном концерте «Звезды — детям» на Красной площади в Москве — они пели в составе большого хора детей-инвалидов вместе с Монсеррат Кабалье...

В 1993 г. педагоги Школы Бороздина и сам Бороздин начали ездить по Сибири и по России — делиться своими успехами и наработками. Первая реакция на их выступления несколько обескуражила: дескать, достижения у вас замечательные, но ваш опыт передать невозможно. Просто вы вот такие гениальные, поэтому у вас все получается.

— Мы спокойно относились к этой реакции, — усмехается Бороздин. — У тех, кто так говорил, просто сохранялось старое отношение к детям-инвалидам. Ведь в Советском Союзе запрещено было с этими детьми заниматься. Дана справка — или интернат, или пенсия. Поэтому такие разговоры были, конечно, естественны. А мы вот стали заниматься и результаты получили! Это особенная работа, и в то время она была абсолютно новая. Через полгода те, кто так говорил, звонили нам, что и у них уже получается. А в 2000 г. в Томске нам Российская академия медицинских наук объявила, что мы сняли синдром страха по работе с тяжелыми детьми у специалистов всей страны!

В 1997 г. Бороздин, неожиданно для всех и для себя, получил премию Джорджа Сороса «Подвижник России», тогда только что учрежденную. Ему ее вручали в Москве в Колонном зале Дома Союзов. В своей книге он называет это «чудесным совпадением» и рассказывает об этом событии без пафоса, зато с воодушевлением описывает, как заодно побывал на московском концерте одного из своих учеников-виолончелистов. На вопрос американского телевидения, рад ли он получить премию от Сороса, Бороздин ответил в свойственной ему манере, когда за внешним простодушием можно заподозрить скрытую иронию: «Если честно, как русский учитель, я бы хотел получить эту премию из рук моего президента. Но ему сейчас не до меня, и я рад, что Джордж нашел возможность отметить мою работу».

Содержался в этих словах намек или нет, но вскоре на Бороздина обратила внимание и местная власть — в «барак» приехал мэр Новосибирска В. А. Толоконский. После его визита началось движение: комиссии, хождение по кабинетам, оформление бумаг — и спустя еще девять месяцев Школа Бороздина получила официальный статус городского образовательного центра, шестнадцать педагогических ставок и новое помещение.

Жизнь педагогов центра чрезвычайно насыщена: организационные дела, поездки по стране — конференции, семинары, мастер-классы —



и, как пишет Бороздин: «...уроки, десятки, сотни уроков с крошечными шажочками вперед, а в душе после каждого из них трепетное ожидание конечного результата». Методика Алексея Ивановича, которую он, по его собственному признанию, вырабатывал почти интуитивно, ориентируясь на потребности своих необычных учеников, официально признана и давно применяется в разных городах: Красноярске, Омске, Томске, Владивостоке, Москве... У нее теперь есть научное название — абилитация. Если реабилитация — это восстановление утраченных навыков и способностей, то абилитация — пробуждение и развитие в ребенке того, чего в нем изначально не было. В конечном итоге это включение маленького человека в людское общество, чтобы и его голос звучал в общем хоре жизни, чтобы и его песня состоялась. И чтобы это была песня радости.

Что могут учителя и родители, если знают и видят, что в лучшем случае у ребенка отмечается некоторая способность к восприятию, наличие пассивного внимания, привлекаемого движущимися предметами, звуками и пр.? — написала когда-то в отзыве о Школе Бороздина Г. Н. Жарова, завкафедрой дефектологии Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования. — Запас представлений у него крайне невелик, резко выражена двигательная недостаточность, нарушены координация движений, речь. Он не в состоянии повторить простые движения, нарисовать линию... «Он необучаем», — говорят одни. «Он многое сможет, надо искать подходы», — говорят в авторской школе Алексея Ивановича Бороздина. И открывают ребенку богатый мир. Это мир доброты, музыки, живописи, роскоши общения. Здесь одаренность отсчитывают от нуля. Никаких диагностических ярлыков. Радость за каждый новый шаг, за короткую осмысленность взгляда. Это школа искусств, в которой ребенок из «растения» понемногу превращается в человека. Не каждый так называемый благополучный ребенок сегодня имеет возможность обучаться в музыкальной школе или в школе живописи. А в Школе Бороздина это могут дети с глубокими недостатками в развитии...

Алексей Иванович бывал на многих международных конференциях, общался с зарубежными коллегами. Говорит, что на занятиях у них не хватает теплоты. Вроде и место оборудовано, и инструментарий богатый, но ученик и учитель отделены друг от друга, сидят на разных концах стола, учитель избегает лишней раз прикоснуться к ребенку. Да и творческих находок, гибкости, импровизации в зарубежных разработках, как считает Бороздин, маловато.

На одном из семинаров в Москве я смотрел записи уроков шведских специалистов. Хорошие педагоги, хорошо организован процесс, всё под рукой. Вот в ряду других заданий педагог ставит перед ребенком-дауном три блюдечка — красное, желтое и белое. Рядом кладет три фишки — красную, желтую, белую и предлагает ребенку положить нужную фишку



в нужное блюдечко. Упражнение на различение цвета, но оно повторяется с этим ребенком на протяжении нескольких лет без изменений! А что бы сделал я уже на втором уроке, если ребенок правильно разложил фишки? Я бы дал ему три блюдечка и четыре фишки; четвертую, скажем, синюю, чтобы включить малыша в поиск недостающего блюдечка!

В процессе обсуждения я сказал, что уроки их хороши, но статичны, даже механичны, в них нет собственно ребенка, на что шведы сказали, что они исполняют конституционный долг, они не будут форсировать события, да и родители могут пожаловаться директору.

Так над чем я здесь должен умиляться, просто над границей? Мне не интересно. Мне интересно, когда динамика развития малыша поднимает меня к звездам, вот тогда я полностью счастливый человек!

Счастье — это жизненный успех, считает Алексей Иванович. И добавляет: «без всяких снисхождений», тут же отменяя меркантильный смысл этого слова. Это то, что ты отдал людям — и оно оказалось им нужно. Никто тебя, скорее всего, специально об этом не попросит, это ведь работа практически духовная. Сам он хорошо запомнил услышанные когда-то слова владыки Кирилла (Гундяева) — в ту пору еще не патриарха, а митрополита Смоленского и Калининградского — в телепередаче «Слово пастыря», где тот, отвечая на вопросы верующих, сказал, что, если у Бога есть некий план, Он ищет для исполнения этого плана подходящего человека.

— Вот меня и нашли, — шутит Бороздин. — Я ведь изначально не собирался этим заниматься. А главное — за все время ни одного настоящего сильного противодействия! Ну, выступали поначалу некоторые против меня. Но я не отвечал, так они и остались ни с чем. А у меня сейчас центр — настоящий дворец, удобнейший для наших занятий. Классы небольшие, там ученик и учитель вдвоем. Где надо — пианино, а где художественные принадлежности всякие. И этот дворец великолепно работает! А я ведь никуда не ходил, кулаком не стучал, ничего не требовал...

Бороздину уже за восемьдесят, но он продолжает трудиться в методическом центре своей школы, у него по-прежнему много идей и планов.

Один из самых впечатляющих — внедрение методики абилитации в образовательный процесс еще на уровне детского сада. Выявлять ребяташек с проблемами развития в обычных детсадовских группах и работать с ними, пока маленькие проблемы не закрепились и не стали большими. Ведь есть отклонения, которые можно выправить за четыре-пять месяцев, когда ребенок еще маленький и его организм и психика очень пластичны. Тогда, глядишь, в школу пойдет уже гораздо меньше детей с проблемами речи, координации движений, концентрации внимания. Алексей Иванович выступил с этим предложением несколько лет назад и даже нашел тогда понимание в Министерстве образования Новосибирской области. Уже выбрали два детских садика для опробования ме-

тодики, придумали, как будут готовить преподавателей... Но потом дело почему-то застопорилось.

— А ведь эта моя идея связана с оздоровлением города и страны! — переживает Бороздин. — И это можно сделать, тем более что специалистов таких подготовить не трудно. Здесь главное — внимание трех педагогов к ребенку на протяжении пяти месяцев, работа с ним. И он выравнивается! А если этого не делать, то у некоторых детей проблемы как-то уходят, а у многих, наоборот, усугубляются. И потом они в школу идут, и им там трудно. Даже вся жизнь может как-то не так сложиться... Нам нужно оздоравливать Россию!

Его слова звучат очень убедительно, в полную силу.

Да и вся его жизнь — в полную силу, как правильно поставленный певческий голос. Как песня, которая поется от души, для себя и для других. Для друзей, семьи, учеников, Новосибирска — и всей России.

— Я хочу, чтобы наша страна выстояла и осталась Россией в историческом плане, — говорит он, отвечая на наш вопрос, каким ему видится будущее. — Чтобы она не подвергалась больше разрушению. Я хочу видеть Россию счастливой! Не в смысле количества кусков хлеба и бифштексов, это все наносное. А чтобы она выстояла и осталась той Россией, которой Богом предназначено быть святой землей. Я хочу, чтобы наши потомки оставались русскими людьми. Чтобы они реализовали себя, воплотили все данные им таланты. Сам я очень много сделал, как педагог, как русский человек. Я очень доволен своей судьбой.



Мария КИТАЕВА

ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

*О двух самых известных
произведениях А. Ф. Писемского*

«Тюфяк»

«Нет сомнений в том, что повесть удерживается сегодня в классическом наследии. Но удерживается ли она в круге живого чтения?» — вот о чем думаешь, когда берешь текст в руки». Так размышляет критик Л. Аннинский о «Тюфяке» А. Писемского — повести, опубликованной в 1850 г. в «Москвитяине» и принесшей автору шумный успех. И тут же пытается дать ответ (видимо, больше самому себе) на тонкий вопрос: почему, как ему кажется, повесть ушла из «живого чтения»: «Да, кое-что уже не срабатывает. Типология. Вялый Бешметев кажется наброском, по которому позднее написаны фигуры куда более яркие: Рудин, Лаврецкий... Обломов. Они его затерли в нашей литературной памяти. Точно так же сочные купчихи Островского не дают посвежу воспринять несравненную Перепегую Петровну с несравненной же Феоктистой. Точно так же Юлия и вообще все эти комнатные романы, старательно выписанные в “Тюфяке”, воспринимаются теперь как вариации на тургеневские темы».

И далее Л. Аннинский с присущей ему виртуозностью начинает подкреплять доводами уже возникшую у него еще до разговора о «Тюфяке» собственную концепцию — о Писемском как о сломленном идеалисте. Оттого-то, считает критик, главный герой «Тюфяка» дорог автору, ведь именно в нем «погребен — идеалист». И «вокруг него и стоит облако полувывысканной авторской обиды. Оскорбленность за чистоту. И еще — лейтмотивом же — чувство фатальной обреченности этой чистоты. И смирение перед обреченностью».

Мысль, бесспорно, достойная уважения, но... концепция может рассыпаться, если мы зададимся вопросом: был ли писатель Писемский действительно идеалистом?

Родившийся 11 (23) марта 1821 г. в старинной дворянской семье, Алексей Феофилактович принадлежал к ее обедневшей ветви, почти зачахшей на уровне его деда, который был неграмотен, сам обрабатывал землю, и только его сын, отец писателя, пройдя нелегкий путь военной службы от солдата до майора, сумел вернуть пусть не обеспеченность и знатность, но дворянское

самосознание и через удачный брак породниться с другим, не менее славным русским дворянским родом. Родители были уже не молоды, из родившихся детей выжил только один — будущий знаменитый писатель.

Как понятно образованному читателю, ни дед Писемского, ни отец-служака никоим образом не могли оставаться идеалистами, даже, вполне возможно, будучи к идеализму предрасположенными от рождения: иначе бы они просто не выжили и не выбрались из той колеи, в которую угодила эта родовая ветвь. Материалистами в самом практическом значении этого понятия их сделала сама жизнь. Трудная жизнь.

Алексей Феофилактович тоже отличался завидным практицизмом: известно, что он мог легко передать свое новое произведение другому журналу, отказав той редакции, которой роман или повесть были обещаны, за более высокий гонорар. Однако, будучи человеком весьма доброжелательным, он думал о благосостоянии не только своем: именно Писемский был одним из основателей Литературного фонда — его подпись стояла под протоколом первого собрания вновь учрежденного общества 8 ноября 1859 г. И это несмотря на его весьма резкую — не идеалистическую! — оценку современной ему литературной атмосферы: «В литературе везде и всюду происходит полнейшая мерзость: все перегрызлись, перессорились, все уличают и обличают друг друга», — писал он Тургеневу.

А вот как отзывался об Алексее Феофилактовиче один из наиболее умных биографов — П. Анненков: в Писемском нельзя «было подметить ничего вычитанного, затверженного на память, захваченного со стороны в его речах и мнениях. Все суждения при-

надлежали ему, природе его практического ума».

Этот «практический ум» — в те годы, когда слава писателя пойдет на убыль, но романы и повести будут продолжать публиковаться и хорошо оплачиваться, — сделает интересный поворот, причем опять же отнюдь не в идеалистическую сторону: Писемский будет все гонорары вкладывать, говоря современным языком, в приобретение небольшой городской недвижимости, которую станет сдавать внаем...

Это же крепкое и трезвое начало проглядывает в произведениях писателя: все идеальное ставится под сомнение, более того, освещается лампой иронии. Вот, на первый взгляд, идеалист и романтик из романа «Люди сороковых годов» (годов идеализма!) Еспер Иванович Имплев, о котором говорится, что он чересчур чадолюбив — однако одновременно мы узнаем, что этот тонкий чадолюбец свою родную дочь, родившуюся от прислуги, держит вдалеке от дома в семье крестьянина и даже (из идеализма!) не только не произносит ее имени, но и слово «дочь» у них с ключницей под запретом... Особой иронией удостаивает Писемский «тонкие отношения» Имплева с княгиней, которая потом, из любви к Есперу Ивановичу, возьмет его дочь в воспитанницы. Имплев же ведет себя так, будто все телесное не только ему чуждо, но даже и унижительно. И это при многолетней любовной связи со своей прислугой... Двойная мораль Имплева — психологически признак слабости, а в литературном плане — рудимент романтизма, весьма скептически оцениваемого Писемским.

Именно ирония — очень сильное и отчетливое свойство повести А. Писемского «Тюфяк», свойство, сближа-

ющее этого «выдающегося реалиста» (определение критика М. Еремина) с... постмодернизмом! (При всей сомнительности для меня термина «постмодернизм» — «а был ли мальчик?»), — некое литературное пространство он все-таки очерчивает.) Потому что ирония Писемского в «Тюфяке» равно далека как от мудро-добро-насмешливой улыбки Пушкина, так и от гоголевского смеха сквозь слезы — ирония Писемского отстраненная и, можно сказать, тотальная. Почти за любым описанием, почти за любым персонажем «Тюфяка» у Писемского угадывается его собственная ироничная оценка. Он равно усмехается и над идеалистами, и над практиками, — он не верит и самой жизни: она скучна ему в свете обыденности, без режиссерского замысла и актерства, преобразующих действительность *игрой*. И это все-таки не тот смех, который усматривает в произведениях Писемского отличный современный его биограф С. Плеханов, написавший, что «народная смеховая культура нашла в Писемском своего яркого выразителя, одного из первых в нашей новейшей словесности», нет, даже при некотором родстве с народной смеховой культурой ирония Писемского другая, это именно та отстраненная ирония, которую мы находим уже только в литературе XX в. у постмодернистов.

А. Ф. Писемский строит повесть «Тюфяк», соблюдая не принцип реализма (хотя произведение и создает мнимый эффект достоверности и правдоподобия), но принцип условной театрализации (тоже черта прозы XX века!) — писатель как бы перебрасывает мостик от прозы к драме: диалоги у него удивительно хороши, порой в них можно заметить тот элемент сатирического абсурдизма, который,

бытовым характером напомнив Гоголя, сразу откликается сходным абсурдом в литературе наших дней.

Вот, к примеру, крошечный разговор из того же «Тюфяка»:

«— Нет, матушка, это так.

— Какое, дура, так! Паша, видна у меня юбка-то?»

— Я ничего не вижу.

— Наклонись, батька, понижее, осмотри хорошенько; нехорошо... рстрепой-то приедешь.

— Я ничего не вижу.

— Ну уж и этого-то не умеешь сделать порядочно; экий какой! Еще кавалер!»

П. Анненков вспоминал: «Хорошо помню впечатление, произведенное на меня, в глуши провинциального города, — который если и занимался политикой и литературой, то единственно сплетнической их историей, — первыми рассказами Писемского “Тюфяк” (1850) и “Брак по страсти” (1851) в “Москвитяине”. Какой веселостью, каким обилием комических мотивов они отличались и притом без претензий на какой-либо скороспелый вывод из уморительных типов и характеров, этими рассказами выводимых».

Диалоги в прозе Писемского настолько сценичны, что даже не очень опытный читатель заподозрит в авторе не просто любителя театра, но — *человека театра*.

Да, Писемский был по своему сопутствующему писательскому (а возможно, и главному) дарованию — талантливый актер: в любительских спектаклях он так прославился в роли Подколесина, что поклонники утверждали: играет молодой самостоятельный актер лучше самого Щепкина! И все эти длинные бесконечные описания театральных репетиций в его прозе —

оттуда же, от страстной любви автора к театру, от недоовоплощенного таланта артистического, который являл себя только в мастерском авторском чтении романов, повестей и пьес друзьям, знакомым и высокопоставленным лицам (последним — с прямой практической целью). И вся как бы простонародность Писемского, в которой усматривали полную естественность, более похожа — если оценивать ретроспективно — на удобную роль, созданный образ, потому только производящий такое натуральное впечатление, что носитель его не играл роль «простого мужика из дворян», а вживался в образ, как вживается в любую роль настоящий талантливый актер.

Актеры не бывают идеалистами, они жизненные практики, и самые одаренные из них, будучи копиистами по сути, преобразуют копию, создавая из нее образ и выделяя те черты, в которых зрителями будет угадан определенный социальный тип.

И Писемского современники относили к «социальным писателям», Добролюбов увидел в Писемском даже «учителя жизни» и вот что он записал в своем дневнике: «...чтение “Богатого жениха” <...> пробудило и определило для меня спавшую во мне и смутно понимаемую мною мысль о необходимости труда и показало все безобразие, пустоту и несчастье Шамиловых. Я от души поблагодарил Писемского. Кто знает, может быть, он помог мне, чтобы я со временем лучше мог поблагодарить его?!»

Идеализм Добролюбова виден даже из этого отрывка — ведь необходимость труда ради семьи и, так сказать, ради куска хлеба для Писемского всегда была только тяжелой ношей. «...Я несу многотрудную и серьезную

службу; для литературных занятий моих у меня остается одна только ночь, надобно много благоприятных обстоятельств, чтобы человек при подобных условиях собрал силы для труда», — писал он в одном из писем из Костромы, где служил чиновником особых поручений. И если Салтыков-Щедрин вскрыл механизм государственной чиновничьей машины и показал, что машина уже не способна более к движению, Писемский — как анти-идеалист — не увидел выхода ни в перспективе отмены крепостного права, ни в ломке самого бюрократического механизма. Он, практик, везде натываясь на «замкнутые углы», надеялся, что разомкнуть хоть один из них могут не реформы, не усилия «прогрессивных деятелей», но идущее изнутри самой жизни стремление к улучшению ее, как бы имманентно присущая обществу тенденция к обновлению. И оттого-то в итоге Писемский оказался ближе к консерваторам. Но он не был им. Он, повторю, был практиком. Причем наделенным колоссальным артистическим талантом, включающим интуитивную неосознанную наблюдательность.

Конечно, он бы хотел, чтобы общество строилось на высоких нравственных идеалах, но прекрасно понимал, что это нереально, и вот здесь мысль критика Л. Аннинского о фатальной «обреченности чистоты» — чистоты идеалистической, обреченности, которую чувствуют герои Писемского, упираясь в свои замкнутые углы, оказывается справедливой. Но справедливой именно в отношении героев Алексея Феофилактовича, но отнюдь не его самого.

Герой «Тюфяка» Павел Бешметев, действительно, может показаться идеалистом. Но не в философском смысле, а в чисто нравственном: он чист (и здесь

снова Л. Аннинский совершенно прав, выделив этот лейтмотив чистоты в прозе Писемского). Но идеализм Бешметева настолько аморфен, что носит скорее характер первичного ощущения, как бы первого наивного, доверчивого шага в волны жизни.

Очень интересно о повести «Тюфяк» высказался в 1852 г. А. Григорьев: «Тюфяк» — «самое прямое и художественное противодействие болезненному бреду писателей натуральной школы; герой романа, то есть сам Тюфяк, с его любовью из-за угла, с его неясными и не уясненными ему самому благородными побуждениями пополам с самыми грубыми наклонностями, с самым диким эгоизмом, этот герой, несмотря на то, что вам его глубоко, болезненно жаль, тем не менее — Немезида всех этих героев замкнутых углов, с их не понятым никем и им самим не понятными стремлениями, проводящих “белые ночи” в бреду о каких-то идеальных существах...».

Отметим в его характеристике «прямое и художественное противодействие» натуральной школе и попытаемся взглянуть на повесть глазами читателя XXI в. В повести как бы намеренно обыгрывается «Женитьба» Гоголя (такой прямой игры с чужим текстом вы не найдете ни у Тургенева, ни у Гончарова, ни у Толстого, здесь Писемский — первооткрыватель): Павел Бешметев — на самом деле тот же Подколесин, только не выпрыгнувший в окно, а женившийся на девице «тонкой материи». В повести есть и сваха, и выступающий в роли Кочкарева отец невесты. Причем мотивы поступков, как бы самые прагматичные, разбиваются, точнее, тонут в аморфности самого главного героя — он проводит время точно так же, как Подколесин и как потом будет проводить

время Обломов: лежа у себя дома и предаваясь неопределенным душевным помыслам и туманным мечтаниям.

«Тюфяк» — это доведенный до трагической развязки абсурд жизни, столкнувшийся с идеализмом (который в повести дважды или трижды устами других персонажей назван просто «глупостью»). Нам, читателям, жаль в конце повести бедного Павла Бешметева, а над Подколесиним мы ведь просто смеемся. А. Ф. Писемский, с его стремлением довести до конца, то есть как бы до «правды жизни» дорогу, по которой ведет бешметовская «идеалистичность», неожиданно делает в конце некий постмодернистский ход: наскоро соединив одних персонажей и разобшив других, он отправляет Бешметева в небытие не потому, что он пережил трагедию любви, а *случайно*.

Писатель, который весьма расчетливо выстраивал отношения с издателями, устраивал «нужные читки» своих произведений перед «нужными людьми», — носил в себе этот не поддающийся рационализации вечный абсурд случайной трагедии, который несет в себе и наиболее близкий ему герой — талантливый, но спившийся актер из его рассказа «Комик».

Романтическая линия в «Тюфяке» столь же абсурдна: Бахтияров, в котором критики усматривали пародию на Печорина, это *случайный* Печорин, без всякой идейной основы. Он, как бы генетически (мать — француженка) выводимый из европейского романтизма, на фоне русской провинциальной жизни, с точки зрения Писемского, экзотичен и смешон, а совсем не привлекателен, но главное — опасен, поскольку является носителем чуждого здоровому и правильному укладу жизни «романтического» клише.

Писарев в статье «Стоячая вода» (1861 г., журнал «Русское слово»), посвященной повести «Тюфяк», считая Писемского *реалистом* и характеризую его героев как жертв затягивающего омута среды, на самом-то деле абсолютно точно обозначает в Писемском как писателе главное: выявление абсурда рутинного существования — этого замкнутого тупика, который не могут разомкнуть никакие социальные, самые глобальные перемены.

Но вернемся к тому вопросу, который прозвучал в начале заметок: почему когда-то нашумевшая повесть Писемского «Тюфяк» выпала из круга живого чтения?

Тот же Л. Аннинский, рассуждая о «Тюфяке», пишет: «Но брезжит и смутная догадка: а если эта фактурная рыхлость, как бы “недоведенность” до полной четкости, — есть не “недобор” того или иного качества, а само качество, собственно, и составляющее здесь суть художества? Словно не вполне ясно, зачем рассказано. Словно все эти люди: плохие ли, хорошие ли, — равно вызывают некую трудноуловимую усмешку. И не мотивирует автор их сумасбродств, словно бы полагая, что их и не мотивируешь».

Все, что отметил критик, очень точно. И, я считаю, догадка его о сути художественного метода Писемского верна. Ведь и главный герой обладает той же «рыхлостью»! Так продвинемся еще дальше и дадим ответ, почему все же когда-то знаменитая повесть «Тюфяк» выпала из современного живого чтения? Произошло это, на мой взгляд, потому, что, несмотря на некие признаки средней прозы XIX в. (морализаторские авторские комментарии, длинноты и прочее), в главном Писемский опередил современную ему прозу,

совершив прыжок из натуральной школы в то еще неизвестное никому в годы его творчества направление, которое в XX в. будет условно обозначено как «постмодернизм». И оттого он оказался гораздо дальше от главного направления советской прозы, социалистического реализма, чем Тургенев или Гончаров. И не *вписался*. Время Писемского наступает только сейчас. Только сейчас мы можем увидеть, что «Тюфяк» — это анти-«Женитьба», только сейчас мы способны оценить антиидеалистическую позицию автора.

«Тысяча душ»

«...Начал новый и очень длинный, длинный роман, написал две главы — сюжет долго рассказывать, я говорил об нем Панаеву, спроси, если любопытно, у него, но только выведется литератор не по призванию, а из самолюбия» (А. Ф. Писемский — А. Н. Майкову). «Литератор не по призванию» в романе «Тысяча душ» бросает писательство, женится по расчету на очень богатой уродливой немолодой девице и в конце концов становится вице-губернатором...

Но на самом деле роман получился у Писемского совсем не о литераторе. Если коротко, главная тема романа — деловые отношения и тотальная власть денег.

И сам Писемский видел, что тема романа эволюционирует. Тому же А. Н. Майкову он пишет чуть позже: «Не знаю, писал ли я тебе об основной мысли романа, но во всяком случае вот она: что бы про наш век ни говорили, какие бы в нем ни были частные проявления, главное и отличительное его направление — практическое: составить себе карьеру, устроить себя покомфортнее, обеспечить будущность свою

и потомства своего — вот божки, которым поклоняются герои нашего времени, — все это даже очень недурно, если ты хочешь: стремление к карьере производит полезное трудолюбие, из частного комфорта слагается общий комфорт и так далее, но дело в том, что человеку, идущему, не оглядываясь и не обертываясь никуда, по этому пути, приходится убивать в себе самые благородные, самые справедливые требования сердца, а потом, когда цель достигается, то всегда почти он видит, что стремился к пустякам, видит, что по всей прошедшей жизни подлец и подлец черт знает для чего!»

И если брать социальный срез романа, здесь, в общем-то, все окажется понятным: Писемский отчетливо показывает, что власть и деньги — вечная пара: обладание одним дает другое — и наоборот. Однако образ делающего карьеру Калиновича, пытающегося отомстить миру за унижения детства и юности, дан очень точно и совершенно по-новому.

Тема литературы, правда, тоже проходит сквозь роман: писатель сетует, что редакторы публикуют тех авторов, которые способны пополнить редакторский личный карман, горько отмечая, что без увесистой протекции пробиться в литературу почти невозможно, что место писателя и художника в обществе, пока он не знаменит, весьма плачевное — ни денег, ни уважения — по причине неуважения к искусству вообще и необразованности: даже дворянство в его сладком сне показано Писемским почти ничего не читающим... А, в общем, это ведь те же проблемы, которые актуальны и сейчас. И остальные социальные черты узнаваемы: коррумпированность чиновничества, распутство, интриги, обман «высшего света», «са-

лона Анны Павловны Шерер», где у Писемского напрочь отсутствуют Андрей Болконские и Пьеры Безуховы, — и показано все это писателем очень трезво. Это фон, на котором разворачивается история любви двух умных небогатых людей. И как раз их отношения, то есть психологический пласт «Тысячи душ», на мой взгляд, гораздо интереснее социального. Почему? Да потому, что критика устройства государственной чиновничьей машины очень актуальна для всей русской классики, а вот психология отношений двух любящих людей дана Писемским совершенно нестандартно. Если в «Тюфяке» автор выступил почти что предтечей постмодернизма, то роман «Тысяча душ» вписывается полностью в направление, традиционно обозначаемое как «реализм», хотя, как самобытный художник, Писемский придал ему свой оттенок, что точно подметил Н. Страхов: «Но сказать, что г-н Писемский — реалист, значило бы сказать очень мало; потому что, как нам кажется, реализм его отличается чрезвычайною индивидуальностью, резкими особенностями, в которых, как это всегда бывает, заключается и его сила и его слабость».

И в романе «Тысяча душ» Писемский дал именно, на первый взгляд, странное, нестандартное решение психологической коллизии, о которой чуть ниже. Совершенно уникален и образ Настасьи, русской интеллигентной девушки, в характере которой видны признаки начинающейся женской эмансипации — она переступает однажды через моральные нормы ради любви. Но Писемский — не мертвый моралист и порыва ее не осуждает, ведь она сохранила чистоту души и ту настоящую нравственность, которая присуща была ей и всей ее семье не как нечто

привитое, но как подлинная душевная атмосфера, в которой Настя выросла и воздухом которой дышала. Героиня свободолюбива. Ей тесно в той ватной провинциальной сновидности, которую легко и по-доброму принимает ее отец.

Образ Жорж Санд в романе, конечно же, не случаен.

«— Вы видели портрет Жорж Занд? — спросила Настенька, ходя по аллее с Калиновичем.

— Видел, — отвечал тот.

— Хороша она собой? Молода?

— Нет, не очень молода, но хороша еще.

— А правда ли, что она ходит в мужском платье?

— Не думаю, на портрете она в амазонке».

Портрет Жорж Санд, по воспоминаниям современников, висел над столом в кабинете у Алексея Феофилактовича Писемского.

Сюжет романа «Тысяча душ» прост: «Увольняется штатный смотритель энского уездного училища, коллежский ассессор Годнев с мундиром и пенсией, службе присвоенными»... «Определяется смотрителем энского училища кандидат Калинович».

У Годнева Михаила Петровича (удивительно хороший, кстати, образ настоящего русского интеллигента, простого, казалось бы, но образованного и добрейшего) есть дочь Настасья, умная, своенравная, много читающая девушка, полюбившая всем сердцем нового смотрителя, выделяющегося на фоне окружающей социальной среды суждениями, интеллектом и образованностью. И он полюбил ее тоже. Но, несмотря на взаимное чувство, герой с помощью князя-интригана, получающего за удачное сводничество крупное вознаграждение, женится по холод-

ному расчету на очень богатой кривобокой немолодой девушке (бывшей любовнице того же князя) и благодаря финансовому положению жены делает блестящую карьеру. Однако нельзя не добавить, что итог карьеры неутешителен: «Более сорока лет живу я теперь на свете и что же вижу, что выдвигается вперед: труд ли почтенный, дарованье ли блестящее, ум ли большой? Ничуть не бывало! Какая-нибудь выгодная наружность, случайность породы или, наконец, деньги. Я избрал последнее: отвратительнейшим образом продал себя в женитьбе и сделался миллионером. Тогда сразу горизонт прояснился и дорога всюду открылась», — так признается он Насте при их встрече через много лет. Очень жестко в 1858 г. в своей статье, посвященной роману Писемского, оценил Калиновича П. В. Анненков, восприняв «Тысячу душ» как чисто «деловой роман»: «...общественная важность новых чиновничьих идей, приносимых им с собой, оценка их и изображение неспособности их возвысить характер, лишенный от природы нравственного достоинства, а затем описание способов, какими непризнанные реформаторы стараются доставить торжество своим воззрениям, скрывая за ними бедность и моральное ничтожество своей натуры, — вот где истинный смысл романа и его исходная точка: тут и настоящее содержание его, тут и единственная его «интрига». Все прочее имеет только обманчивый вид дела».

И еще: «В первой части романа Калинович по ненасытному, но мелкому честолюбию, по сухости сердца, способного на отвратительное лицемерие, по эгоизму, приносящему в жертву доброе имя и честь его любовницы Настеньки и не отступающему даже перед самой

безобразной ложью, Калинович является нам гораздо ниже того грубого, но добродушного общества, которое его окружает и перед которым он гордится своей приличной физиономией».

С этими суждениями прекрасного критика нельзя не согласиться.

А героиня, пережив трагедию отвергнутой любви, не накладывает на себя руки и не уходит по-тургеневски в монастырь, а становится актрисой. Причем — примой. У нее открывается настоящий большой артистический талант. И, когда бывшие влюбленные встречаются через много лет, они соединяются в спокойном браке. Правда, Писемский уходит от традиционной романной концовки, замечая, что никак не может «подобно старым повествователям, сказать, что главные герои... после долговременных тревожений пристали, наконец, в мирную пристань тихого семейного счастья». Калинович оказывается сломленным «нравственно, больным физически», а Настенька «оставила театр и сделалась действительной статской советницей скорее из сознания какого-то долга, что она одна осталась в мире для этого человека и обязана хоть сколько-нибудь поддерживать и усладить жизнь этой разбитой, но все-таки любезной для нее силы».

Но здесь Писемский противоречит сам себе, потому что несколькими страницами ранее подтверждает: герои по-прежнему, встретившись через много лет, все-таки любят друг друга. И если посмотреть на их жизнь ретроспективно, то картина будет значительно оптимистичнее, ведь их таланты реализованы: он жаждал больших дел, она — чего-то необыкновенного, отличающегося от серой рутины провинциальной жизни. И пусть его начинания встречали почти всегда только сопро-

тивление и непонимание, а она оставалась одинокой, но их главные дарования, которые затонули бы при раннем браке в семейной бедности и заботах, — воплощены. А не будь они воплощены, погибла бы и любовь, которая все-таки сохранилась:

« — ...Такие ли мы были прежде?»

— Да; но что ж? Мы любим друг друга не меньше прежнего!

— Я больше... »

И тут Писемский подводит читателя к просто удивительному, парадоксальному выводу (вот оно, нестандартное завершение коллизии!): любовь сохранилась благодаря тому, что, бросив свою любимую, герой смог реализовать свои дарования сам и дать возможность героине стать актрисой... То есть, если называть вещи своими именами, любовь сохранилась именно вследствие подлого и низкого поступка героя: «Поступок с тобой и женитьба моя — единственные случаи, в которых я считаю себя сделавшим подлость». Но Писемский пытается тут же героя оправдать: «... но к этому привело меня то же милое общество, которое приносит мне теперь проклятие и которое с ребячьих лет давило меня; а я... что ж мне делать? Я по натуре большой корабль, и мне всегда было надобно большое плаванье».

А. Ф. Писемский, по-своему разыгрывающий в «Тюфяке» гоголевскую «Женитьбу», дает там трагедийную, причем случайную развязку несчастливой семейной жизни героя (за него невеста тоже вышла замуж по расчету, так же, как женился на несчастной Полине герой «Тысячи душ»), но трагедия в «Тюфяке» становится трагедией — если сравнивать сюжетные линии двух произведений — совсем не потому, что заключен рассудочный брак, выгодный

одной стороне, а оттого, что герой «Тюфяка» ничего в жизни не хочет, у него нет жажды больших дел. Мы, читатели, можем предположить в нем дремлющий артистический талант. Но как было идти в артисты дворянину? Тогда это было равно социальному самоуничтожению. Настя кидается в актрисы как в омут — то есть ее поступок для Писемского как бы закономерен. И этот омут оказывается не просто ее спасением, но, говоря языком психологии, точкой ее самоактуализации.

И вот здесь я позволю себе высказать литературно-психологическую гипотезу. На мой взгляд, Настя Годнева для Писемского — идеал женщины. Не ставшая многодетной матерью Наташа Ростова, не Татьяна Ларина, хранящая верность нелюбимому, но уважаемому мужу, не умирающие от любовной драмы сентиментально-романтические героини, а новая, эмансипированная (Настя даже немного курит), одаренная, свободная женщина, честная, искренняя — вот кого показывает и любит Писемский.

Алексей Феофилактович обладал большим актерским дарованием. Но, играя на любительской сцене, причем блестяще, профессиональным актером не стал. Полагаю, что по названной выше причине. Настя оказывается вне прокрустова ложа фальшивой общественной морали, она женщина, живущая любимой профессией, свободна, но чиста, потому что ведут ее к свободе ум и единственная любовь, а не поиск острых ощущений или стремление возвыситься над мужчиной. Нравственный образ жизни Насти — несмотря на профессию, которая в обществе того времени связывалась с легкодоступностью, — Писемский подчеркивает. Вот что говорит о ней, ведущей актрисе театра,

суфлер: «При них, ваше превосходительство, старичок добрейший (родной дядя. — М. К.). Уж как Настасью Петровну любят, так хоть бы отцу родному так беречь и лелеять их; хоть и про барышню нашу грех что-нибудь сказать: не ветреница! <...> В другой раз, видючи, как их молодость втуне пропадает, жалко даже становится, ну, и тоже, по нашему смелому, театральному обращению, прямо говоришь: “Что это, Настасья Петровна, ни с кем вы себе удовольствия не хотите сделать, хоть бы насчет этой любви или самых амуров себя развлекли!” Оне только и скажут на то: “Ах, говорит, дружок мой, Михеич, много, говорит, я в жизни моей перенесла горя и перестрадала, ничего я теперь не желаю”».

И профессия Насти — это тайная мечта, невоплощенный дар самого Писемского. Вся его проза полна очень живых и сценичных диалогов, а самые пространные страницы посвящены театральным репетициям.

И вот, толкая главную героиню «Тысячи душ» в актрисы, а значит, обрекая ее на то, что она будет вынесена за скобки «приличного общества», Писемский как бы воплощал в ней, в ее судьбе свою мечту, свое артистическое дарование, которое проявлялось только в его публичных чтениях собственных прозаических и драматических произведений.

Писатель создал образ покинутой, но не сломленной, а, наоборот, нашедшей свое призвание женщины — женщины нового времени, однако, что очень важно — не потерявшей своей женственности, мягкости, доброты, то есть тех качеств, которых часто лишались в погоне за мужскими моделями поведения и демократическими свободами

дами даже самые тонкие женщины конца XIX — начала XX в.

В первой части романа Настасья предстает перед читателями юной девушкой, чем-то похожей на любимую героиню Льва Толстого Наташу Ростову, — порывистой, чувствительной, очень эмоциональной, но и самолюбивой до болезненности, возможно, в силу невысокого положения в обществе ее отца. Он зовет ее «дикарочкой», но гордится ее большими способностями к учебе, начитанностью и острым язычком. Уже тогда в Насте виден характер: она самостоятельно упорно учит французский (у отца не было денег на гувернеров) и после неудачного для нее первого бала, когда в пару ей для танцев достался самый ничтожный кавалер, перестает бывать в обществе, все свободное время отдавая только чтению. Она обожает романы Жорж Санд. Но читает и любит Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Она умеет спорить, имеет свое собственное мнение и, вдохновляясь, в разговорах о литературе высказывает свои мысли как настоящий критик.

Такой — порывистой и умной, немного сентиментальной и одновременно ироничной, честной, открытой, — и очень хорошенькой (это автор тоже подчеркивает) полюбил ее главный герой. И не могут не полюбить читатели! И не могут не почувствовать: Настенька — дорога автору. Она — в чем-то его alter ego.

Но Настенька — еще и рыцарственный идеал Писемского, в котором слились свобода и чистота. И потому, соглашаясь с П. Анненковым, что «автор... будучи опытным художником, не

мог обойтись без поэтического образа, смягчающего темные краски действительности, и повторил его в лице Настеньки, — любящей и страстной Настеньки», не соглашусь с его выводом: «Так как все, что попадает в сферу Калиновича, принимает особенный, угловатый и непривлекательный характер, то и она подверглась той же участи. Избранная на великое призвание — стать отрадой для нравственного чувства читателя, она оказывается ниже своей задачи, весьма легко и скоро оттирается деловыми интересами на задний план, потом свыкается со своим положением и, наконец, утрачивает совсем первоначальный свой характер, перерождаясь почти в искательницу приключений, правда, еще живущую воспоминаниями, но уже без страсти, без веры и убеждений».

В конце романа в манере поведения Настасьи уже проскальзывают профессиональные приемы актрисы. Но главному герою (и, как вытекает из всего вышесказанного, самому Писемскому!) это очень нравится. Теперь она анализирует уже не книги, а людей, давая им точные, меткие характеристики. И, конечно, более всего она ценит служение искусству:

« — Чем же он отличнейший?»

— Тем, что художник в душе, — возразила Настенька. — Кто тогда первый открыл и поддержал во мне призвание актрисы и дал мне этот, что называется, кусок хлеба на всю жизнь? За одну его страсть к театру можно бог знает как любить его...»

Вот они — и страсть, и вера, и убеждения главной героини «Тысячи душ», которых не увидел П. В. Анненков.

Тамара ДРАНИЦА

ИРКУТСКИЙ ПОРТРЕТ

Равноудаленная от Запада и Востока, расположенная между северной тайгой и великими степями Евразии, Иркутская «провинция» занимает особое место среди других регионов Сибири. Формировавшаяся на протяжении трех столетий культурная среда Иркутска оказалась очень благоприятной для появления самобытных личностей, но и достаточно суровой в отношении их жизненных путей. В ее художественном пространстве динамично, но не конфликтно пересекаются разные стилевые и стилистические интересы, балансирующие иногда на грани реалистических и поставангардных концепций, но не выходящие в целом за пределы вечных ценностей классической эстетики.

Стабильная динамика художественной ситуации Иркутска, укорененная в исторических и культурных традициях с их здоровым и умеренным консерватизмом, имеет еще одну, может быть, главную причину — уникальную природу, напоенную созидательной энергетикой Байкала.

Освоение Сибири в XVII в. — это цивилизационный прорыв, сравнимый с Великими географическими открытиями. Изменение мироощущения русского человека, связанное с обживанием огромного пространства, обусловило своеобразие сибирской культуры, в основе которой преобладало жизнеутверждающее, оптимистическое нача-

ло православной традиции. XVIII в. в Иркутске — это продолжение истории сибирской иконы (так называемое «иркутское барокко»), написание парсун и робкие попытки изобразить реалистический облик человека.

В XIX в. коллективными усилиями прогрессивной интеллигенции, духовенства и просвещенного купечества Иркутск обрел статус культурно-просветительского центра Сибири. Портреты «сиятельных» особ, купцов, духовенства и простых горожан создавали невольные ссыльнопоселенцы — декабристы, путешествующие с дипломатическими миссиями столичные академики живописи и талантливые местные мастера, прошедшие прекрасную академическую школу: *П. И. Старцев* (1842—1903), *М. И. Песков* (1834—1864), *Н. И. Верховуров* (1862—1942), а также самобытный самоучка — «купеческий портретист» *М. А. Васильев* (1784—1839).

Образ сибиряка как носителя особого типа русского национального характера во всем своеобразии его этнокультурного облика, совмещающего азиатские и чисто русские черты, нашел отражение в творчестве сибирских художников разных поколений. Случилось это, однако, далеко не сразу: сначала облик сибиряка фиксировался во всем своем типическом правдоподобии, и только много позднее — в первой трети XX в. — был запечатлен художниками как образ.

В 1927 г. на Первом Всесибирском съезде художников, проходившем на фоне Первой Всесибирской выставки, его главный теоретик, художник-педагог И. Л. Копылов объявил о рождении «сибирского стиля» в советском изобразительном искусстве: «Сибирь даст в будущем и Венеции, и Флоренции, и Мюнхену, — Сибирь для развития большого искусства я считаю самым удачным местом в СССР». Однако «сибирский стиль» не стал явлением коллективным. Как отмечала иркутская газета «Власть труда»: «Настоящая, подлинная душа еще не вскрыта нашими художниками, есть пока только сибирский материал, с которым многие... обращаются бережно и умело». Между тем «сибирский стиль» уже существовал... В горячих дискуссиях о его задачах и путях развития никто из художников не обратил внимания, что экспрессивный, неоклассический стиль *Николая Андреевича Андреева* (1889—1938) и есть выражение идейно-эстетических идеалов нового сибирского искусства.

Во внешне и психологически достоверных образах чалдонов и аборигенов Сибири Н. А. Андреев выразил глубинные основы человеческого бытования в сложном переплетении его родовых, природных, социальных связей. Торжественно ясный и одновременно тревожный строй живописных повествований художника имеет смысловую и эмоциональную многосложность: на размышления художника о вечном времени и краткости человеческой жизни, о вселенской красоте природы и прозе каждодневных людских будней наслаивается ностальгия по обетованной земле и недостижимой гармонии.

Искусство *Алексея Петровича Жибинова* (1905—1955) не лишено противоречий и напряженных внутренних конфликтов. Художник пробовал

себя в символизме, обращался к «синтетическому реализму» Павла Филонова, а в поздний период — к реалистической традиции. Его светлые мечты о возможном счастье разбивались о горькие разочарования в действительном мироустройстве. Только, пожалуй, в редких по исповедальной силе автопортретах художник обретал искомое равновесие между возвышенным идеалом и драматическими реалиями времени.

В конце 1950-х гг. на необъятные сибирские просторы «за туманом и за запахом тайги» хлынул широкий поток строителей новой социалистической Сибири. Вслед за ними в неведомые, почти экзотические края устремились творческие бригады «суровых» романтиков в искусстве. То, чем занимались местные художники, столичной, авангардно настроенной молодежи казалось слишком традиционным и провинциальным. Между тем иркутских мастеров привлекала не внешняя новизна трактовок, а новизна внутренних мироощущений современников. Избегая пафосности, они писали свои русские характеры, обыкновенные в повседневной жизни и замечательные в моменты редкого душевного самораскрытия.

Военное лихолетье, полугодовое студенческое время, обманчивые свободы оттепели, тихая рутина застоя сформировали особый жизнестойкий и жизнелюбивый тип художника: личность нравственно здоровую, открытую миру, ответственную за свое предназначение и ремесло. Именно в 1950—1980-е гг. появились самые светлые, искренние, человеческие портретные образы современников.

Когда выпускник Харьковского художественного института А. И. Вычугжанин (1929—1984) вместе с однокурсниками А. И. Алексеевым (род. 1929) и Г. В. Богдановым (1926—1991) при-

ехали в Иркутск, здесь уже существовала своя художественная традиция и начинали свой творческий путь замечательные мастера портрета В. В. Тетенькин, А. Г. Костовский, А. Ф. Рубцов и другие.

На иркутской почве раскрылся яркий самобытный талант портретиста *Аркадия Ивановича Вычугжанина*. Он был философом и мудрецом, человеком немногословным и скупым на внешние проявления эмоций. Так же сдержанны и благородны, исполнены чувства собственного достоинства образы творческой интеллигенции и простых тружеников в его портретах. Для Вычугжанина, внимательного и тонкого психолога, не существовало внутренних тайников личности. Его камерные, лаконичные по исполнению портреты («Автопортрет») или развернутые в пространстве портретные композиции («Портрет скульптора Ряшенцева») исполнены искренней веры в нравственное, созидательное предназначение человека.

В магических пространствах портретов *Владимира Владимировича Тетенькина* (1929—2009), словно сотканых из чарующих вибраций и нюансов цвета, легко, свободно, естественно пребывают скромные и обаятельные женщины, умудренные жизнью художники и простые деревенские жители, чистые в своей душевной открытости («Студентка»). Во внутреннем мире его моделей есть некий отзвук живой природы, поскольку В. В. Тетенькин, как и другие иркутские мастера, был великодушным пейзажистом, понимающим, что природа не только гармонизирует внутренний мир личности, но и обостряет ее реакцию на духовно-нравственный климат общества.

В портретных образах *Анатолия Георгиевича Костовского* (1928—2018), пожалуй, самого сибирского по

духу мастера, как бы сконцентрирована духовная энергетика его героев, их витальная, природная сила, мужественное приятие жизни, неизбывная вера в творческое предназначение человека («Портрет художника Леви»). Гибкий, выразительный пластический язык художника, почти избыточный по богатству цветовой палитры, всегда подчинен портретной ситуации, каждый раз новой и неожиданной.

В портретах *Галины Евгеньевны Новиковой* (1940—2000) как бы соединились два времени: советское, в котором сформировался духовный облик художника, и настоящее, остро предчувствующее драматические катаклизмы техногенной цивилизации. Пронзительно, глубоко воспринятая чужая жизнь или драматические изломы собственной судьбы словно бы не изображаются, а впрессовываются в жестковато-прочную, вибрирующую под напором образной информации форму ее портретов и автопортретов. Рационально-прагматическое, отчужденное существование человека в мире Г. Новикова не приняла, предпочитая добровольный уход в спасительный мир метафоры или «бездеятельное» творческое созерцание жизни («Автопортрет с бабушкой», «Портрет артиста М. Ульянова»).

Г. Новикова была соавтором одного из самых драматических сюжетов иркутской истории изобразительного искусства рубежа XX—XXI вв. и невольным свидетелем преждевременного завершения творческих биографий тогда еще молодых прижизненных классиков Сергея Коренева, Бориса Десяткина и Юрия Митькина.

«Потерянное поколение» художников не стало поколением нигилистов и ниспровергателей. В их коротком творческом времени царил культ учителей и духовных наставников. Интеллекту-

ально-метафорические (С. Корнев), субъективно-романтические (Б. Десяткин, Н. Вершинин), лирико-психологические (Д. Лысяков, Ю. Карнаухов) портретные концепции возникали в недрах «старого» реалистического метода, обретавшего в потоке времени новые неожиданные черты и свойства.

Остро чувствуя неровный, болезненный пульс своего времени, *Сергей Ананьевич Корнев (1953—1999)* созерцал человеческие судьбы из своего сокровенного поэтического далека. Случайный осколок Серебряного века, эстет и поклонник изящного стиля, он писал портреты, поражающие странным сочетанием пронзительного обаяния, душевной чистоты и нездешней задумчивой печали. Свободный и одинокий, художник наполнял свои портретные элегии «горьким, пьянящим вкусом жизни» (Ш. Бодлер).

Если в этом рубежном времени С. Корнев был случайным «очарованным странником», то его соратники Б. Десяткин и Н. Вершинин оказались бунтарями и живописными экстремистами.

Мироощущение *Бориса Васильевича Десяткина (1948—1996)* было фаталистическим. Обратные стороны его напряженных по цветовой палитре портретов содержали странные комментарии: «Все, конец, я победил». Б. Десяткин пытался расшифровать сакральный рисунок собственной личности, чтобы через напряженное самопознание понять и принять другого человека. Портреты Б. Десяткина сравнимы с театральными постановками, в которых каждый персонаж играет предначертанную ему роль: смешную, нелепую, трагическую. В его портретных пророчествах угадывались неясные контуры будущего, лишённого эсхатологического исхода.

Подобно Б. Десяткину, *Николай Николаевич Вершинин (1957—2007)* был творчески одержимым живописцем. Его портретные образы часто перерастали в бессюжетные повествования и почти не подлежали внятному пересказу. Жизненные пути его мятущихся, снедаемых сильными и возвышенными страстями героев словно были предначертаны свыше: не случайно событийное пространство его портретов было насыщено сакральной символикой (пламя свечи, луна, икона, палитра) и астрологическими знаками.

Портретная живопись нового поколения художников, следуя закону вечного возвращения, вновь обретает спокойный и сосредоточенный психологизм, свободный от конфликтов и борьбы противоположностей. На фоне отвлеченно-рациональных потоков современного поставангарда *Юрий Карнаухов (род. 1957)* и *Дмитрий Лысяков (род. 1967)* останавливают свой сознательный выбор на неуязвимых традициях портретного реализма. «В искусстве ценю... искренность, а не оригинальность. С этих позиций я и выстраиваю свой диалог с окружающим миром» (Д. Лысяков). Ему вторит Ю. Карнаухов: «Общество вернется к одухотворенному великому искусству... Только реалистическое искусство имеет широкий диапазон и жизненную силу».

Таковы самые характерные признаки и узловые моменты эволюции иркутского живописного портрета. Время, в котором существует и творит художник, находится в непростых отношениях со временем художественного образа. Творческое сознание, воля и интуиция художника позволяют видеть человека не только «здесь и сейчас», но и «над временем» — в контексте выработанных культурной традицией идеалов, моральных норм и философско-эстетических категорий.

АВТОРЫ НОМЕРА

Васильев Иван Александрович родился в 1980 г. в Москве. Учился на философском, экономическом, биологическом и других факультетах разных вузов разных городов. Работал экскурсоводом, редактором в рекламных и новостных СМИ, музыкантом в баре. В настоящее время путешественник-фрилансер. Публикуется впервые.

Денисенко Александр Иванович родился в 1947 г. в с. Мотково Мошковского района Новосибирской области. Учился в Новосибирском педагогическом институте. Работал телеоператором, журналистом в новосибирских газетах, редактором в издательствах «Детская литература», «Мангазея». Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Сибирская горница», «Литературная учеба», «Волга», «Знамя» и др. Автор книг «Аминь» (1990), «Пепел» (2000). Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Драница Тамара Григорьевна родилась в 1948 г. в Улан-Удэ. В 1979 г. окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. Искусствовед, старший научный сотрудник Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева. Живет в Иркутске.

Егельский Святослав Дмитриевич родился в 1995 г. в Макеевке Донецкой области. Работал пианистом в ресторанах, концертмейстером в музыкальной школе и хореографическом колледже. В настоящее время студент композиторского факультета Национальной музыкальной академии Украины. Публикуется впервые. Живет в Киеве.

Зулкарнаева Сагидаш родилась в 1968 г. в с. Большая Черниговка Самарской области. Публиковалась в «Литературной газете», в журналах «День и ночь», «Волга», «Наш современник», «Дальний Восток», «Простор» и др. Автор книги «Выпив ночь из синей чашки». Лауреат нескольких поэтических конкурсов. Член Союза писателей России. Живет в с. Большая Глушица Самарской области.

Ибрагимов Александр Гумерович родился в 1947 г. в д. Спиченково Кемеровской области. Выпускник филологического факультета Кемеровского государственного университета. Автор девяти книг поэзии и поэтической прозы. Член Союза писателей России. Литературный редактор журнала поэзии «После 12». Живет в Кемерове.

Косоуров Виктор Семенович родился в 1948 г. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Работал сменным мастером, технологом Черепановского комбината стеновых материалов (Новосибирская область). С 1972 г. — на комсомольской, а затем партийной работе. Был первым секретарем обкома комсомо-

ла, первым секретарем Калининского райкома КПСС (г. Новосибирск). Работал заместителем председателя Новосибирского обласполкома, первым заместителем главы администрации области. Избирался депутатом Государственной думы, работал аудитором Счетной палаты. Представлял Новосибирскую область в Совете Федерации. Живет в Москве.

Кузичкин Сергей Николаевич родился в 1958 г. в Тайшете Иркутской области. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького. Работал журналистом в газете. Автор девяти книг прозы и сборника стихов. Редактор альманаха «Новый енисейский литератор». Живет в Красноярске.

Куницын Владимир Георгиевич родился в 1948 г. в Тамбове. Окончил философский факультет и аспирантуру МГУ. Автор множества статей, рецензий и трех книг. Работал на «Мосфильме», во ВНИИ теории и истории кино. Вел авторские передачи в эфире радио «Маяк». С 1998 по 2014 г. работал на Центральном телевидении. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Ливинский Станислав родился в Ставрополе. По образованию фотограф. Работал фотокорреспондентом, видеооператором и звукорежиссером. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Сибирские огни» и др. Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2012). Автор книги стихов «А где здесь наши?» (2013). Живет в Ставрополе.

Подистов Андрей Владимирович родился в 1957 г. во Ржеве. Окончил филологический факультет Новосибирского государственного педагогического института. Писатель, журналист, редактор. Публиковался в журналах «Порог», «Уральский следопыт», «Новосибирск» и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Подистова Лариса Николаевна родилась в 1967 г. в Алма-Ате. Окончила Новосибирский государственный университет, филолог. Много лет преподавала русский язык и литературу, а также иностранный язык в школе. Стихи и проза публиковались в журналах «Новосибирск», «Невский альманах», «Дальний Восток», «Север» и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Хайрюзов Валерий Николаевич родился в 1944 г. в Иркутске. Окончил Бугурусланское летное училище и факультет журналистики Иркутского государственного университета. Работал командиром пассажирских и транспортных самолетов, пилотом-инструктором. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Новый мир», «Наш современник» и др. Живет в Москве.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 20.02.2018 г. Дата выхода № 3 за 2018 г. в свет 26.03.2018 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.